

51
+

Андрей Вознесенский

Андрей

Вознесенский



Андрей БЗКЕЦЕВ



Собрание сочинений
том пятый ✦

**Андрей
Вознесенский**

ПЯТЬ С ПЛЮСОМ



ВАГРИУС
Москва 2003

УДК 882-82
ББК 84Р7
В 64

Федеральная программа книгоиздания России

На странице 219 помещен рисунок работы Франческо Клементе

Охраняется Законом РФ об авторском праве

ISBN 5-264-00547-8
ISBN 5-264-00859-0 (Т.5+)

© А.Вознесенский, автор, 2003
© К.Заев, дизайн, 2003

Автограф второго

Добавок-том назвал я впопыхах

«Пять с плюсом».

Отличен он и неприличен как

блядь с флюсом.

Плюс общий вкус, с которым, как ни бьюсь,
не сдвинешь.

Плюс драки вкус, который тоже плюс —
не минус.

Плюс — Ты, к которой тороплюсь.

Плюс Времени

моя неподсудимость!

Я жить любил, где глухомань и плющ,
но и на баррикадах не был трусом.

Плюс главное, о коем не треплюсь, —
трансляция иных незримых уст —
жизнь с плюсом.

Стиль новорусский непонятен мне —
икона с плюшем.

Я крестик Твой в расжатой пятерне —
пять с плюсом.

Автореквием

Памяти У. Б. Йейтса

Дай, Господи, еще мне десять лет!
Воздвигну Храм. И возведу алтарь.
Так некогда просил другой поэт:
«Мне, Господи, еще лет десять дай!»

Сквозь лай клевет, оправданных вполне,
дай, Господи, еще лет десять мне.

За эти годы будешь Ты воспет.
Ты — органист, а я — Твоя педаль.
Мне, Господи, еще лет десять дай.
Ну, что Тебе каких-то десять лет?

Я понял: жизнь прошла как бы вчерне,
несладко жил — но все же не в Чечне.
Червонец дай. Не жмись, как вертухай!

Земля — для серафимов туалет.
И женщина — жемчужина в дерьме.
Будь я — Господь, а Ты, Господь, — поэт,
я б дал тебе сколько угодно лет.

Во мне живет непостижимый свет.
Кишки проверил — батареек нет.
Зверек безумья вьелся в мой скелет.

Поэт внутри безумен, не извне...
Во сне
я вижу храмовый проект
в Захарово. Оторопел
автопортретный парапет...
Спасибо Алексу Сосне
за помощь. Дай осуществить проект,
чтоб искупить вину греховных лет!..

Я выбегаю на проспект.
 На свет
 летят ночные бабочки: «Привет!»
 Мне мент орет: «Переключайте свет!»
 Народ духовный делает минет.
 Скинхед
 пугает сходством с ламою-далай.
 Мне, Господи, еще лет десять дай
 транслировать Тебя сквозь наш раздрай!

Поэту Кисти Ты ответил «нет».
 Другой был, как Любимов, юн и сед,
 дружил с Блаватской, гений, разгильдяй.
 Поэт внутри безумен, не вовне —
 в занудно-шизанутой стороне,
 где даже хлеб мы называем «бред».
 Дух падших листьев — как «Martini» Dry.

Уехать бы с Тобою на Валдай!
 Там, где Башмет играет на сосне.
 У красных листьев запах каберне.

Люблю Арбат, набитый, как трамвай,
 проспекта посиневшее яйцо.
 Люблю, когда Ты дышишь горячо.
 Мне, Господи, еще лет десять дай!

Какой ты будешь через десять лет,
 Россия, с отключенным светом край?
 Кто победит — Господь или кастет?
 Мне, Господи, еще лет десять дай!

Вдруг пригодится мой никчемный свет,
 взвив к небу купол,
 где сейчас сарай...
 Безумье жить. За десять лет почти
 безумье мысли может нас спасти.
 Меня от слова не освободи —
 хотя бы десять лет дай, Господи.

Постскриптум

Двадцатилетнюю несут — наверно, в Рай?
За что заплатим новыми «Норд-Остами»?
О, Господи, Ты нас не покидай!
Хотя бы Ты не покидай нас,
Господи!

Можно и не быть поэтом,
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемленная дверьми!

Тема

Жизнь вдохните в школьницу лежащую!
Дозы газа, веры и стыда.
И чеченка, губы облизавшая,
не успела. Двух цивилизаций
не соединила провода.

Два навстречу мчащихся состава.
Машинист сигает на ходу!
В толпах душ, рванувшихся к астралу,
в Конце света, как Тебя найду?

Что творится!..
Может, ложь стокгольмская права,
если убиенному убийца
пишет в Рай ведущие слова?!

Нет страданья в оправданье тяги,
отвергающей дар Божий — жизнь.
Даже в Бухенвальде и в ГУЛАГе
не было самоубийств.

Чудо жизни, земляничное, грибное,
выше политических эскапад.
Оркестровой ямой выгребною
музыку в дерьме не закопать!

Победили? Но гнетет нас что-то,
что еще не поняли в себе —
смысл октябрьского переворота,
некое смеркание в судьбе.
(У американцев — в сентябре.)

Кто-то выжил и домой вернулся
и тусуется по вечерам —

все равно душой перевернулся.
Все равно он остается т а м.

Христиане и магометане.
Два народа вдавлены в «Норд-Ост».
Сокрушенно разведет руками
Магометом признаваемый Христос.

Он враждующих соединил руками.
В новую Столетнюю войну,
ненависть собою замыкая.
В землю ток уходит по Немю.

Шел в гору от цветочного ларька.
Вдруг машинально повернул налево.
Взгляд пригвоздила медная доска —
за каламбур простите — «Цвета Ева».

Зачем я езжу третий раз подряд
в Лозанну? Положить два георгина
к дверям, где пела сотни лет назад —
за каламбур простите — субМарина.
С балкона на лагуну брошу взгляд,
на улочку с афишей «Vagina».
Есть звукоряд. Он непереводимый.

Нет девочки. Ее слова болят.
И слава Богу, что прошла ангина.

Нам, продавшим в себе человека,
не помогут ни травка, ни бром.
Мы бодем Серебряным веком,
как Иуда балдел серебром.

Одной женщине

Я, конечно, не подарок.
Тренируй, дорогая, глаза:
машет крылышками, как байдарка,
стрекоза.

Ты одна меня понимаешь.
Взгляд распахнутого окна.
Пахнешь персиковым мякишем.
Ты — одна.

Мы с Тобой одной игрались
в новозвездную реальность.
Красить щеки — тривиальность.
Ты бледна.

Месяц выбрит, как Ринальдо.
Все, что ты не любишь, — на люди.
Презираешь ордена.
Мне искать других не надо.
Ты — одна.

Правили страной кухарки.
Может, власть возьмут кухацкеры.
Их возможности — без дна.
Нижние заполнив ниши,
мчат миллионерши нищие
на всемирный съезд дерьма.

Боже мой! А Ты — одна
против хамства и химчисток,
против гибели мальчишек.
Бедствий множится орда.
Ты — одна. За всех — одна.

Просят «в лапу» эскулапы.
Клоп лесной похож на Папу.
Что за странная страна?
Все красавицы, как мымы.
Ты — единственная в мире
мне нужна.

Интеллект Твой упакован.
А душа облучена.
Дай Ей, Господи, покоя!
И не трогай, Сатана!

Грех — работать на лекарства.
Стрекоза плывет байдаркой.
Я кончаю: «Благодарствуй!
Ты — одна. Как жизнь — одна!»

Явления с начинкой

*раДИОРынок беременен Диором,
 МаЯКОВский беременен Яковом
 (именем первородства),
 ноВОРусские беременны воровством.*

Изумляя кардиологов,
 мчится черный «ситроен»,
 как футляр аккордеона.
 В нем скрывается Карден.

Как и скорость, он — под восемьдесят.
 Мчится по пожару он.
 Он «Юноной и Авосью»
 четверть жизни поражен.

*Ребро беременно Евой,
 Рембо — «Пьяным кораблем».
 В коРАБЛЕкрушении виноват Рабле.
 Карт-блани. Кара, бля!*

Он, забыв про бремя скорбное,
 полпланеты огулял.
 Нам на сумасшедшей скорости
 усмехается: «Я стар!»

Сбросив временные ноши,
 он порхает, невесом,
 стиль Варпургиевой ночи
 превращается в фасон.

*Элегантелью по мозгам!
 МАГИЯ интеллектуалетной бу-
 МАГГИ несет колымагу вашей судьбы
 за РУБЛенная старушка...
 инТЕРАКТивный Ипатьев.*

От беременности спятив,
дача светится с горы,
как стеклянные опята
иль древесные грибы.

*Кем беременны гробы?
ПоМИДорами по фраку МИДа.
кУМир — это недуг ума.*

Стены, как коровки божии,
вылезают из земли,
возникают юбки-бочки
и жилеты-пузыри.

Дом идет сдавать бутылки.
И Карден вздыхает мне:
«Хорошо б открыть бутики
на Луне».

Эта дача озадачивает,
выпукла, как окуляр
или планетарный датчик.
Он ей формы округлял.

*В доме нет ни одной прямой линии
Точно внутренности
или утренний поцелуй
пЛАСТИКа ласк
дреВЕСНЫЙ гриб пахнет весной
раДуга беременна адом
диск кровавый меж молотом и наковАЛЬней
Авторучки трещат как стручки
беременные словом
ТролЛЕЙБ-ус — о лейб-гвардии тоска.*

Не на погребу публике,
как Достоевский бред,
лечу в остаток лет —
собой в куски разрубленный
АВтопортрет.

Лето олигарха

Опаловый «линкольн».
Полмира огуляв,
скажите: вам легко ль,
опальный олигарх?

Весь в черном, как хасид,
легко ль дружить с Христом?
Под Нобеля косить?
Слыть антивеществом?

Напялив на мосла
Ставрогина тавро,
слыть эпицентром зла,
чтобы творить добро?

Бежит по Бейкер-стрит
твой оголец, Москва.
Но время состоит
из антивещества.

Тоскует олигарх.
Чтоб мозг не выкипал,
арбатский хулиган
надвинет свой кепарь.

Кар взорван. Бог вас спас.
Вас плющит сноуборд.
С экрана ваш палас
летит, как в рожу торт.

То Босх Иероним,
то элегантно остр,
но, Боже, как раним,
когда лягают, «монстр»!

Как беркут поугрюмев,
вы жертвуете взнос,
чтобы в российских тюрьмах
исчез туберкулез.

Жизнь — не олиограф
по шелку с фильдеперсом.
И женщин, олигарх,
вы отбивали сердцем.

И пьете вы не квас,
враг формул и лекал,
Люблю безумства в вас,
аллегро-олигарх!

Люблю вместо молитв
отдачу сноуборду,
и ваш максимализм —
похмельную свободу!

Господь нахулиганил?
Все имиджи сворованы.
Но кто вы — «черный ангел»?
Иль белая ворона?

Над Темзой день потух.
Шевелит мирозданье —
печальный Демон, дух
изгнания.

Надежда или смерть?
Предверие греха?
Рубаю Божью снедь
я, олигарх стиха.

Вторичные люди

I

Мы — вторичные люди, мы — тень первачей,
белых, красных, коричневых.
Исторических мы не имеем идей.
Мы — вторичные!

Нашу землю больную сосут, как клопы,
новозамки кирпичные.
Истеричные вкусы толпы.
Мы — вторичные.

Второгодники прошлых эпох,
мы — не личности.
Почему это Бог спрессовал в коробок
отсыревшие спички?

Не "кингсайт" же потомкам от нас перенять?
Наши брифинги?
Неужели престол наш придут принимать
боевикинги?

Ты, потомок, о предке своем не суди:
"Пил, не смешивал".
Повторя чужие зады —
гомосекшуал...

В Тарантино душа наша явлена.
Спорт — в Тарпищеве...
Негу Бога в нас, негу дьявола...
Мы — вторичные.

Ты, потомок, возьми пару спичек,
если ядерная зима,
обогрейся страничками спичей,
писаниной вторичной ума.

По зарницам внимательных вспышек
я пойму, что судьба удалась.
Мы с тобой не выдумывали спичек.
Спички выдумали нас.

II

При инквизиции цвели «Капричиос».
На Чистых Прудах стоит наш Примус,
Демократическая вторичность —
в этом наша неповторимость.

Зачем тревожите отошедшее?
Стремитесь в рыночные отношения?
Потом в опричнину? К Еккаторинам?
Полет вторичный неповторимый!

И в жизни личной
живут, красуясь:
демократическая вторичность —
авторитарная непредсказуемость.

Лежим, похожие на авторалли.
Пускай капризна ты, пускай обидчива —
твое мгновение неповторяемое
дороже тыщи минут обычных.

Авторитарность рождает стадность.
Спорить не стану.
Но уважаю за первозданность
мечом обрезанного Тристана.

25-й кадр

Явление 25-го кадра!

Вырванные ногти Яроша Каддара.
 Я помню жаркое без затей
 рукопожатие
 без ногтей.

Ноктюрн?
 Пожалуйста, не надо!
 Ногтюрьмы.
 ШопениАда.

Тасуйте пластиковые карты!

Явление 25-го кадра

Не проходите мимо!
 В криминале спрятана...

Растяжка «Полиграфинтера» парит графинчик запотелый.

Пришел на рандевушка ушла.

Жасминули мои денечки.

Свидания — тюрьма.

Несут антисоветчину на блюде.

Лорд Байрон инсестру — тру-ля-ля!

Телки-метелки,
вишь, Невского кадры.

Африкомендовали борьбу со СПИДом.

Африкаделька —
не для белых зубов.

Дельфинспектора
подкормили?

Явление кадра 25-го

— Микстура с повязочкой Арафата
— Объевреили русопятого.
Интим — домашняя интифада.

Не тормози пяткой Истории колесо!

25-е кадры решают все

Аксенов Васо — российский Руссо.
Сексуальд получает «Оскара», бля...
Маяковского — с корабля!

Похороны — это путь к Храму.

Прихрамывая музыкой, бреду

Сияющей Бахромой дождя.

У Циклопа нет фуражки. На лбу кокарда.
Отвечает попа рту:

«Будущее принадлежит поп-арту!»

Закреть бы глаза руками, забыться.
Ты научил нас, кадр двадцать пятый,
глядеть на все земные события
сквозь пару дырочек от распятия.

Подводные «Курски» всплывут эскадрой.
Скрываем правду. Живем жестоко.

Когда слышу упрек,
что народ прост,
или просто с бабой иду в театр —
над городом вижу слова: «Норд-Ост»
и «Театр».

Видеом ли мой давний глаза протер
и накаркал страшный антракт?
Из окошка выпрыгивает актер
актерактерактерактерактер —
сквозь него проступает
слово: «ТЕРАКТ».

Что творится!.. Опустите мне веки!

Чечевица — гарантия от катара.

Вы — очевидцы двадцать первого века.
Я — человек двадцать пятого кадра.

А может, Иов — и.о. Шестова?
Я — поэт кадра двадцать шестого.

Перед стеклом — ЛОМ!

- Блокбастер. Смак!
— Макс?
Валет пиковый,
венец пеньковский

РЕЙТИНГ ПОДЫМАЕТСЯ

- Развратники!
— Мат в Сахаре!
— Харизматические хари!
- «Чероки» — виллис экстаза.

ЭКСКРИМЕНТАЛИТЕТ.

- Мент полетел,
тсс, как шагаловские «влюбленные».

- Ад муки!
— Редьки бы... под маслице

- Малолетки! но умельцы.
Экстра-падла.
От рожениц до попсы:
— Спаси нас, Христос!
— За что Олю вырубили?
— Вы ее б под Шабли...
— У, вредина, оклемается!

Глухо во дворе,
Боккаччио — богачей тюрьма.

Стояк конский
Идеалы потоптаны

«За стеклом» «Здрасьте, клон!»

Блок. Пастернак.

Олег Пеньковский
(Олег Янковский)

В замке Рединг Оскар Уайльд мается
«Брат-2» для Ники
Мата Хари

Писатель вылез из унитаза

тет на тет

За один голос шесть тыщ зеленых

Мудаки

РЕЙТИНГ ПОДЫМАЕТСЯ

Клетка Емельки
Эзра Паунд
Отражение толпы
Квартирный вопрос
А пошто лыбилаась?
Пли!

РЕЙТИНГ ПОДЫМАЕТСЯ

Муха в янтаре
Чума!

Маяковский
Мы — подопытные

- Предков слоганы первомайския
 Погулять хотца. Затекали члены.
 Тебе?! Да никогда...
 — Кир коров
 — Террариум интимных мест
 — Опоросили отчий дом!
 — Половина перед

 — Редко подмывается
 — Предложение на дуэт

РЕЙТИНГ ПОДЫМАЕТСЯ

Смотрите Ван Гог «Прогулки заключенных»

ТВ — наркота
 Киркоров
 Теряем невест
 Пол-России за стеклом
 Зад — перед, зад — перед

РЕЙТИНГ ПОДЫМАЕТСЯ

(Продолжение следует)

Огни габаритные
 замело
 Антиглобалисты,
 бейте стекло!

Квартира вдребезги!
 Всмятку мечты,
 циферблаты, ребусы,
 видео Ты —
 видеоты — идиоты — ИДИОТЫ!

В экспериментальном блядстве
 наша жизнь произошла.
**ЧЕЙ ЗА НАМИ ГЛАЗ
 ПОДГЛЯДЫВАЕТ
 ИЗ НЕБЕСНОГО СТЕКЛА?**

Облака

О. Меньшикову

Улети моя боль, утеки!
А пока
надо мною плывут утюги,
плоскодонные как облака.

Днища струйкой плюют на граждан,
на Москву, на Великий Устюг,
для отпарки их и для глажки
и других сердобольных услуг.

Коченеет цветочной капустой
их великая белая мощь —
снизу срезанная, как бюсты
париков мукомольных вельмож.

Где-то их безголовые торсы?
За какую рекой и горой
ищет в небе над Краматорском
установленный трижды герой?

И границы заката расширя,
полыхает, как дьявольский план,
карта огненная России,
перерезанная пополам.

Она в наших грехах неповинна.
Отражаясь в реке, как валет,
всюду ищет свою половину.
Но другой половины — нет.

Верим мы, что огорчительно...
 в евро-доллары-рубли.
Но Резанов и Кончита
 говорят, что смысл в любви.
20 лет, как нас захавала
 зрительская толкотня —
Рыбникова, и Захарова,
 и актеров, и меня.

20 лет, как раскоряченных
 политических слепцов
дразнит с юною горячностью
 Николай Караченцов.
Сероглазый зайчик Шанина
 начала парад Кончит.
Музыка непослушания
 в зале молодым звучит.
Минет век, но со слезами
 будут спрашивать билет,
пока зрительницам в зале
 будет по 16 лет.
Пусть Резанов и Кончита
 продолжают шквал премьер.
 Для Тарзана и для Читы
поучительный пример.

Экспромт Вл. Войновичу

Похож на ежика Войнович.
Румяный ежик — это новость!
«Чиво?! — читаю. — Чи вон йов?»

Античиновничий Войнович
считает: «Повесть — это совесть».
Тропинок пыль не восстановишь.
Целует девку Иванов.

Ничего иного

Зачем он, человек, из мрака к мраку
летит, гоним?
И тень его, как черная собака,
вцепившись в пятку, носится за ним?

Остановите раж рожениц!
Рождаться — бред
в мир, где победы станут пораженьем.
И ничего иного в жизни нет.

Что значит «жить»? Недоедать, метаться,
ища просвет
меж христианством и магометанством.
И ничего иного в жизни нет.

За что нас небеса карают, пестуя?
Трейд-центра след
поднимет, как Морозова двуперстие.
И ничего другого в жизни нет.

Зачем искать себя? Ты сам всему виною.
Тошней всего,
что нету в жизни ничего иного,
иного в жизни нету ничего.

Но дышит воротник Твой бумазейный.
Совпасть с Тобой сквозь миллионы лет,
чтоб повстречаться в улочке весенней.
Жизнь — это гениальное везенье.
И ничего иного в жизни нет.

Зачитываюсь Махамбетом.
Заслышу Азию во мне.
Антенной вздрогнет в кабинете
стрела, торчащая в стене.

Что в моей жизни эта женщина?
Погибель, спасшая меня?
Забьется под стрелой трещина,
как пригвожденная змея.

И почему в эпоху лунников
нам, людям атомной поры,
все снятся силуэты лучников,
сутулые, как топоры?

Летучий «Варяг»

Годы муки, работы годы,
слезы, смешанные с трудом
Николаевского завода,
продают на металлолом.

Корабел — человек железный.
Неоплаченная, сползла
по небритой щеке, как лезвие,
металлическая слеза.

Корабел не сентиментален,
просто хватит стакан, скорбя.
Но найдет металлоискатель
в сердце унцию корабля.

Знаю, Родине нужны средства.
Но ни золотом, ни серебром
не оплатишь кусочки сердца,
превращенного в металлолом!

И хочу, чтобы нас простила,
сдуру проданная в бардак,
николаевская Россия
и святитель ее «Варяг».

Чья вина? Я тру перенощицу.
Снится мне: самолеты в ряд,
взмыв с китайского авианосца,
к Николаеву полетят.

На Лимане луна, как клавиши,
а сама кругла, как печать.
Всем прощаете, николаевцы.
Только рано еще прощать.

Заздравная песня

А. Пономареву

Прошлый век — дилетант и миляга.
Нас спасают при катастрофе
два креста, два Андреевских флага
и две чашки черного кофе...

Думал я — распад прекратится
в новом веке, будет легко.
Что таит в себе единица?
минарет? или флага древко?

Мир зачеркивают с отвагой
XXI-го века профи.
Два креста, два Андреевских флага.
И еще один, третий — в профиль.

Он страдал, модернистски дуря,
сикось-накось распятый толпой.
Но кресты Святого Андрея,
точно стропы, несут нас с Тобой.

Жизнь сильнее, чем нож отморозка.
Но по краю всех наших зол
вертикально осталась полоска,
по которой Он в небо ушел.

Пустыня

по горизонту не задев пустыни
дождь пробегает юбки подобрал

я говорю с тобою из верблюда
похожего на первый телефон

Ши-ша

I

Не на саксе в элегантном ресторане,
а в подвальчике по имени Ши-ша
я тебе сыграю на кальяне,
называемая женщиной душа.

На кальяне разыграюсь, на кальяне,
у шахидов есть на музыку запрет.
На Коране поклянитесь, на Коране —
гениальный написал его поэт.

О Коляне, что зарезали в Афгане,
воют демоны отмщенья и стыда.
Струйка тоненькая булькает в кальяне —
дым горячий и вода.

Под чадрами души женские и девичьи
не кадрят — следят внимательно за мной.
Как на выставке квадратов от Малевича
или зеркало обратной стороной.

Если призадумаясь маленечко —
как живешь ты, всем себя дая?
По интерпретации Малевича,
женщина — черная дыра.

В этом, верно, правда мусульманская?
Ты румянишься, страдалица,
спрятав под красивой маскою
смысл Беспредметного лица...

Чаровница, чья фигурка офигительна,
подняла фруктовый ножик,
как кинжал.
Где теперь ты, моя рижская курильщица?
Позабыла, что Минздрав предупреждал?

На колени б пред тобою, на колени...
Запах Рая. Запах яблок. Мушмула.
Заменяющие музыку куренья
я вдохну, слюну смахнувши с мундштука.

Голос хрипнет. Ужасают разговоры.
Стал я молчалив, как Кароян.
Гуманисты — переделкинские воры
прихватили вредоносный мой кальян.

П

Согреши душа — в
Ши-
ша.

Ты без паранджи
кошкою пришла.
По-английски She,
по-французски — Chat.

Мягче Ци Бай Ши
ластисься, шурша,
Ши-
ша.

А зрочки больши,
значит — анаша.
Ши-
ша.

Смотрят из души
два карандаша.
Ши-
ша.

У Тюрбан Баши
сторожа из США.
Где же я, крепыши,
наши кореша?

Вашим барыши,
нашим — ни шиша?
Ши-
ша.

Марш в Манеж! Страши-
лица хороша!..

Ши-
ша.

Хлопья анаши?

Мокрая лапша?

Ши-
ша.

Тихий порошок
падал не спеша —
снег босой пошел,
как Иешуа.

III

Будущее стухло и прогоркло.
Не горюй. Покурим. Переждем.
Что-то булькает в кальяне, словно горло,
перерезанное праведным ножом.

Я вернусь под утро. Месяц выплыл.
Люди скажут — я нетрезвый. На весу
я под мышкой, усмехаясь, как голкипер,
свою срезанную голову несущу.

В миг отлива микроскопично
перед чистым моим Четвергом
на песке отражается птичка —
точно ложечка с черенком.

Эту ложечку вертикальную
осторожненько собирая,
ты отложишь себе в телекамеру
для фамильного серебра.

С тобой мы вечность целую лежим.
Над нами ветви с небом голубым.

Ты помнишь — продолженьем рук и ног
тянулась нега тропок и дорог.

Щекой ползут щекотные жуки.
«Ты помнишь, милый?» Только нет щеки.

Желудок помнит корочку котлет.
«Милая, помнишь?» Но желудка нет.

Темакамет

Чту звездопадную систему.
Летим, чиркнув по небу след.
Во тьме единственная тема —
тема комет, тема комет!

Успевши прохрипеть молитвы
Коран иль Новый Завет.
На наших лицах отсвет бритвы —
тема комет, тема комет!

Куда ж ты, незаконный гений?!
No problem. Жизнь — не фейерверк.
Звезда обратных притяжений,
кометы — вниз, а эта — вверх!

Тебя при жизни похоронят,
тебя давно на свете нет.
Ты кажешь бред нам, как термометр.
Тема комет, тема комет!

В горах у озера упав,
в нем отразишься, как валет.
На бывших прочитав губах:
«Темакамет, темакамет».

Озеро всегда над нами,
даже если под ногами.
Выпукло, как целлофановый
нашу жизнь накрывший зонт.

Женщина всегда над вами,
смотрит из-под вас, нагая,
но, едва отцеловала,
уплывет за горизонт.

Повторный ангел

Валторна
блуждает в эфире. Мы снова одни.
Повторно
меня обними.
Оторвой
тебя называют, не ведая суть.
Повторный,
мой ангел повторный, со мною побудь.

Бессмертие спорно,
бесспорное — это ты.
Нет порно,
в любви все поступки чисты.
Из спорта
была наша встреча. Мы парные, как «Reebok».
Повторная встреча
лифтершей котируется как любовь.
Бесспорно.

Мы — это повторы. Луна через шторы
рассыпала спичечный коробок.
Мой ангел повторный,
храни тебя Бог!

Притворно
примеришь берет набекрень — вальтово.
Ты слышишь валторну? Сквозь всю дребедень —
валторна...

Введение в видеодраму

1. И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток, и начертай на нем человеческим письмом: Магер-шелал-хаш-баз...¹
3. И приступил я к пророчице, и она зачала, и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя: Магер-шелал-хаш-баз.

Книга пророка Исаяи, глава 8

Из Харькова как хвороба
пришло мне книгой письмо.
«Пошли мне, Господь, второго!» —
Казалось, звало оно.

Харьковчаночка, эхо Гиппиус,
выстукивала, как пароль.
И я, ощущая гибельность,
пьесу назвал «Второй».

Была в ней печаль такая!
Я Господа стон узнал,
как будто сквозь текст Исаяи
себе Он второго звал.

Как одиноко Богу!
Подмаргивает напоказ,
ведя за Второго склоку,
Магер-шелал-хаш-баз.

Пошли тебе, Бог, Второго!
Найди подобного, Бог!
Поцеловать на дорогу
и высказаться чтоб мог...

И женщины, и народы
вопят, не веря, в ответ:
«Пошли тебе, Бог, Второго!»
Но Бога другого нет.

Читая пророка Исаяю

Ерушаламовский фантомас!

Магер-шелал-хаш-баз!

Дьяволы шевелятся среди нас.

Не знал пророк Исаяя про антивещество.

Что обозначает имя Его?

Мария Шелл показывает экс-таз Шиллер швеллеру не указ

Мальчика назвали **Еммануил**.

Маркес раскошелился на foire gras маркер брызгает на матрас

Другого Бог именем наградил

Гомер — сублимация глаз выдворен бестселлер про ЛОГОВАЗ

Магер-шелел-хаш-баз.

Машка не обижена на спецназ маршалу велено на Кавказ

Почему у мальчика боевой окрас?

мегеру украшает противогаз в Грузии есть хаши, но нету баз

Не чаёт булгаковская Марго,

намажь человечество под намаз шмалер шмалает ради сберкасс

Что означает имя Его?

миллион роз — миллион раз Макаревич в «Смаке» шинкует бас

Шумахер на «феррари» — чума! атас!

Магрит в будущем «педерас» Макс Галкин Баскову отдал пасс

Наглый, inferнальнейший ловелас

магарыч разделен баш на баш маргинал — ас!

Флейта, застрелившийся Маяко...

Гюнтер Грасс ударился в перепляс

Что обозначает имя Его?

Ты над кофеварочкой напряглась

Душа обозначает. Статус-кво.

закрой варежку, ИТАР—ТАСС!

Губы фиолетовые светло.

чашечка-малютка в мире громадном Магермания. Хамас.

Шлягер флейты утопит нас.

черный, молитвенный, ароматный

Что обозначает флейта Его?

коленками на Голгофе парикмахер сбреет память вместо влас

Он в следы Христовые ступал, Второй,
чашечка кофе могилку свою сгорбясь несем мы отродясь
Флейтист ли, киллер ли молодой?
кофе — жизнь, как турочка, пролилась «миллионы вас?»
Взгляд как у покойника. Душа пуста,
пофигизмом, дурочка, увлеклась? «нас — тьмы, тьмыть-мыть»
как упаковочная крышка креста.
за кофеим нужен глаз да глаз
Второе пришествие? Гибель рас.
подожди, мировой пожар! опять не спас
Боже сумасшедший, помилуй нас!
лишь бы кофе не убежал христианства грезящий хризопраз
Тема Гершвина — хошь джаз?
Твоя джезвочка удалась
Боже грешный, помилуй нас!
мир спасется на этот раз

<p>МИРОВОЙ МАРКЕТИНГ — НОРД-ОСТ — ЛИШЬ МАКЕТИК!</p>

Исайя продолжает свой рассказ.

Что обозначает «Помилуй нас»?

Магер-шелал-хаш-баз.

«Добыча» переводится и «грабеж».

В библейской периодике Норд-Ост найдешь.

Зачем в слова забытые ведешь, пророк?

Сегодняшних событий они пролог.

Имечко несбыточное бычит глаз...

Мы с Тобой добыча — но чья сейчас?

Тень, как флаг, цепляется за древко...

Что обозначает имя Его?

Самодобыча? Самограбеж?

Не ради обычных богатств живешь...

Возрадуйся оплеухам!

**(Блаженный — магический ананас,
и Кремль зимой как яичница с луком...)**

**Не маклер — отшельник и богомаз,
не слышно живи как горящий газ,
помарочка лишняя синих глаз
открыта душевным разрухам...**

Магер-шелал-хаш-баз.

Мать Волшебная, помилуй нас!

Стань, мастер, блаженным не напоказ.

БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ!

Устраивали Ватерлоо.
Считали: Наполеон
годился на роль Второго.
Но уклонился он.

Кто не ушел в торговлю,
вторую тысячу лет
Второго ищет, второго.
Но все ускользает след.

Безумствуют экстрасенсы.
И харьковская Марго
вздохнет: «Второй — Вознесенский.
Секите его!
Он хам. Не хлопочет наседкой.
Бросил трубку, травя со мной.
Вознесенский — Второй, Вознесенский —
Второй».

Пропала моя фазенда.
Взорвались трубы зимой.
Сорвало силой подземной,
что было жизнью второй.

Почему ж Господь меня именно
отыскал в слепых временах?
Чтобы мог начертать это имя
в человеческих письменах?

Мешаем пепел и перлы.
Отвечу я на письмо:
«Поэт всегда — или Первый
или дерьмо».

Не ешьте изделия мучные!
Вам шах? Рокируйтесь турой...
У женщины каждый мужчина —
второй.

Нельзя, да и нету причины
считать, сколько шли чередой.
Со мной каждый новый мужчина —
второй.

Мне завтра поправит цирюльник
прическу, что сбита тобой.
Из глубинных твоих поцелуев
мой самый любимый — второй.

Двое

Если вдруг ненастьем замело
под Бореем —
Ты схватись за сердце. За мое.
Отогреем.

А когда мне будет «не того»,
я схвачусь за сердце. За Твое!

На берегу

В лучах заката меж морского скарба,
раздавленного кем-то, на спине,
нашел я умирающего краба.
Перевернул и возвратил волне.

Над ним всплывала белая медуза,
а он, горя клешнями под водой,
со дна, как герб Советского Союза,
вздымался, от заката золотой.

Ледяное одиночество

Я один. Я их всех победил.
По степи позвоночники носятся.
Я остался один на один
с одиночеством.

Жизнь — погоня за лидером.
Тень, вцепившись в древко, полощется.
Больше чем друзей блядовитых
я люблю одиночество.

Диссидент умоляет власть:
«Орденочка бы...»
Лучше в лагерь, лишь бы не в пасть
одиночества.

Даже станешь кумиром местным,
всюду чавкает «жизнь званская».
Одиночество. Молвить не с кем.
Окромя тебя, самозваночка!

Сколько женщин низал на шампуры,
но нанизывались нули.
Гениальная моя дура,
одиночество утоли.

Мне в ответ в телефонных жилах
слышу голос твой обесточенный:
«Я люблю тебя. Так сложилось.
Я — твое одиночество...»

За тебя, как кривые ножницы,
скрестим в воздухе наши сабли.
Страсть — не средство от одиночества.
Но немножечко боль ослабла.

Пострашнее мышеловок,
за решеткою стены
воет дом умалишенных,
санаторий сатаны.

Что же делать, что же делать,
если милая больна
и над ней в халате белом
санитарит сатана?

Тень

День и ночь. Ночь и день.
Странно подумать, страшной — to speak.
От невидимой червы ложится тень —
туз пик.

Меня очаровывал алый вспых
в пиковых чреслах красивых стерв.
Но если имеется туз пик,
значит, есть где-нибудь туз черв.

Сплошная пиковка и дребедень
мне выпадает. Иду, упрямя.
Но если есть луковичная тень,
то где-то сияет червонный храм.

Шляпу напялив, пиковый туз
Наполеона напоминал.
Но если на полке чугунный бюст —
то где-то бродит оригинал.

Пиковки виснут на каждый нерв.
Иммитирует попка туз черв.
Мне сердце сказало: «Ты — не тиней-
джер, чтоб сублимировать смысл теней».

Я ножницы взял. И тень обстриг.
Предметы в ужасе взмыли вверх.
Чугунный остался туз пик.
Под ним — красной лужицей — туз черв.

В Нью-йоркском ресторане

Моей жизни часть эмигрировала.
Здесь жила. Пустила корня.
С интересом сейчас игривым
рассматривает меня.

Ты алмазно сияешь — краешком
глаза, носа — как в нашу рань.
Но сейчас ты — граненый камушек.
Как далась тебе эта грань!

Расшибалась всмятку, в восьмерки.
Пропасть пробовала на боках.
Держишь русский кабак в Нью-Йорке
на отчаянных каблучках.

В этой темной шикарной яме
я узнаю — тебя потом —
неполоманное твое сиянье,
словно малый алмазный фонд.

Узнаю, что никто не знает,
что таю, от себя храня.
Вышибала, тобою нанят,
усмехается на меня.

Якиманкой бежала шибко,
в мировой провал сорвалась.
И сияешь. И не расшиблась.
Доказала, что ты — алмаз.

Косово

Образумь неразумных, Господи!
Задержи ракетный бросок...

На трибуне игрок бесовский,
подавивши сытый зевок,
говорит о трагедии в Косово.
Косово — КОСОВОКОСОВОКОСОВОК.
О, о совок — о совокосовокосовок...

Чьи, разрытые, стонут кости?

Не попал я из Струги в Косово
с поэтессою абрикосовой.
Сербиянка с черными косами,
погадай на ладошке дорог!

Все машины несутся в госпиталь.

Остуди сумасшедших, Господи!
Пощади неубитых, Бог.

Измерение

Высморкайте глаза,
чтобы глубже дышать глазами!
Вы ж не попса,
чтобы видеть ушами.

И когда на рецепции вы сдаете ключи от чего-то —
это лишь репетиция иного вида отлета.

Выньте из карманчика платонические платочки,
сотрите с морщин ваши мысли проточные.
Всматривайтесь в голоса.

Сумрак пахнет закатом и «Дукатом»
Виктора Платоновича.
Его вы не знали. Высморкайте глаза.

И если вы потеряли ключи от двери —
это лишь репетиция иного вида потери.

Красный пахнет зеленым.
Синий пахнет оранжевым.
У жасмина запах измены
и спелых
и душистых снов.
Пускай соперник утрет сопельник
и учит пеленг цветов!

Мелодия пахнет разводом лабуха.
У Стравинского запах козла.
Ева дала нам глазное яблоко.
Высморкайте глаза!

Прощенье пахнет возмездьем,
ментолом — взлетная полоса.
У вас глаза на мокром месте?
Выключите глаза.

Я шел в темной комнате. Я щупал
ноздриями угол, как усами кот.
Самкой пахла изнанка туфель
и тем, что скоро произойдет.
Стол пах спиртом. Здравый смысл пах луком.
И, как включенный кондиционер,
металлически пахла разлука.
Я нащупывал чью-то мысль.

Стол пах спиритизмом.
Небытие — материнством. А если общее,
жизнь — лишь репетиция предстоящей формы общения.

Песнь Пенсильванская

Что вы спросите
с поселянина
University
of Pennsylvania?

Унавозите
мною познания
University of Pennsylvania?

Прилетел я не пофилонить —
а постигнуть, что не достиг
архитектор из Вавилона
поэтический надъязык.

Осы Осипа,
«Си» Северянина
в University
of Pennsylvania?

Вслед пружинки
летят золотые —
осы мертвые
из России.

Семинар осенний мой.
Люди из шрифта.
Yes, Есенин!
Деррида — да!

Сыплют нотным семенем
липы на «форда».
Yes, Есенин.
Данкен — да?

Мы — тени супертекста.
Езда в бездну, — но
Yes, Достоевский!
А г...но — по!

Колесо, версти
Селифаново,
в University
of Pennsylvania

Музы носятся —
Pants off
над University
Penns of.

Дай мне, Господи,
образования
в University
of Pennsylvania.

Неужто это будет все забыто —
как свет за Апенниннами погас:
людские государства и события,
и божество, что пело в нас,
и нежный шрамик от аппендицита
из черточки и точек с боков —
как знак процента жизни ненасытной,
небытия невнятных языков?..

Давай от Краснопресненской
отправимся с тобой —
где старомодно пенится
и бреется прибой.

Купальная элита
привязана к доске,
как шнур электробритвы,
привязанный к ноге.

Памяти Артема

Над тобой молитву
батюшка прочел.
Был ты ладно сбитый,
как боровичок.

Тёма, где же Жучка?
Для чего живем?
Тёма, жизнь все жутче!
Идеалолом.

Тебя феи смерти
наоборот прочли...
Артем — значит три метра
сырой земли.

Тёмка, тьма валютная!
Скрежет челюстей...
Жрет криминальная революция
лучших своих детей.

Демонстрация языка

Констатирует Кедров
поэтический ход декретов.
Констатирует Кедров
недра пройденных километров.

Так, беся современников,
как кулич на лопате,
констатирует Мельников
особняк на Арбате.

Бог поэту сказал: «Мужик,
покажите язык!»
Покажите язык свой, нежить!
Но не бомбу, не штык —
в волдырях, обожженный, нежный —
покажите язык!

Ржет похабнейшая эпоха.
У нее медицинский бзик.
Ей с наивностью скомороха
покажите язык.

Монстры ходят на демонстрации.
Демонстрирует блядь шелка.
А поэт — это только страстная
демонстрация языка...

Поэтического скинхеда
череп в компьютерной мыши.
Мысль — это константа Кедрова.
Кедров — это константа мысли.

Анти-анти

От Питера до Пелевина
все подпитием объюбилеены

**Каждый в бренности своей,
справьте антиюбилей!**
(анти-ю, анти-би, анти-лей)

Анти-уоц

Слово дали юбиляру:

«Всем спасибо.

Я — говно».

(юмор черныи. Против вас.
Вас ползет антитопор,
как вас веровав Ругая.
Как из рога изобилия,
компроматов. — унизая!
Обезвали. Обезали:
Атакующие лярвы
на тачанке, как Махано...)

Анти-би

в результате подарили
персональное «би-би».

(be or not to be —
that is a question
ты, как Иов, безутешен.
«Души мертвые» сожги,
нет своих — сожги чулке
мозг печалью заюби...)

Анти-лей

значит
пей!

На ладонь мою ты дунешь,
тучки нет дождя.
Я не жду нежду нежду нежду неж...
Я люблю тебя.

Я не жду нежду нежду нежду неж...
Только свирищу.
Дунешь дунешь дунешь дунешь —
не задуй свечу.

В Думе, вдумевдумевдуме
мордобой опять...
А между между между между
нами — благодать.

От меня ты дунешь-дунешь —
думаешь, стерплю?
Я не жду нежду нежду нежду неж...
Я тебя люблю.

Вдребезги*М. Жванецкому*

Элизиум Елизаветы,
иллюзии ее теней
в доме пустующем поэта
остались на закате дней.

В дом без меня войдут грабители,
все разгромят, утрут ножи,
ища наряды габардиновые.
От ярости, что не нашли,

залапают, как идеологи,
чем жили, мучились и бредили,
всем водопадам книжных полок —
вдребезги!

Как оценить добро заветное?
Я вас прощу. Но что ж вы, трезвые,
зарезали Елизавету?
Вдребезги.

Время мчится бумерангом
прошлых бед, обид и ссор.
Я опять — поэт Таганки,
вы — великий режиссер.

Вы учили Рим и Англию
по-тагански понимать.
Вы у сборной Таракангелов
выиграли 8 : 5.

Но душа всего не спела...
Где опять тряхнете вы
лебединой песней белой
окрыленной головы?

Щ

Однажды Гия Кончелли, композитор, в бархатной темно-синей тужурке и с такими же бархатными глазами, после премьеры, на которую он приехал из Германии, говорил мне о Родионе Щедрина: «Это большой композитор, может быть, крупнейший в мире сейчас». Привыкнув к ревнивому лепету моих коллег, я был поражен.

Щедрин — большое «Щ» русской музыки. Такой буквы нет ни в одном алфавите — ни в английском, ни в немецком. Беспощадная новая его музыка — мощная, щемящая, прищуренная от боли или от смеха. Великие Шостакович, Шёнберг, Шнитке, Штокгаузен работали в реалиях XX века, Щедрин же прыгнул с нами физически в XXI век. Что означает его палка? Минарет? Колокольня? Или вертикальный шпагат невозмутимой Волочковой?

Накануне пожара, за сутки до этого, я слушал в Малом зале Консерватории его новую сонату. Какой надо иметь таланты-ЩЕ, чтобы из нашего дерьма и ужаса создать сокровиЩЕ! В первом ряду сидела Майя, напряженно в профиль, вытянув вперед подбородок и шею, похожую на букву «Щ» с запятыми уха. Спасибо ему за «Поэторию», за то, что он, как никто, понял строки «ты молилась ли на ночь, Россия? Как тебя мы любили». Конечно, лучше бы, если бы он жил не в Германии...

Еще, Щедрин!

Я вижу, как затруднительная для компьютерного набора буква «Щ» перевортывается, сжавшись в кулак и выставив вверх торжествующий большой палец.



Есть много версий консерваторского пожара. И неисправная проводка, и обида незадачливого ученика. И я допускаю, что стены вспыхнули, восприняв серьезно призыв пожарной сирены, которую так любит вставлять в свои произведения композитор.

Он еще дороже вроде бы.
Что грозит ему пожар —
деревянной малой родине.
Обожаю малый зал

Еще, Щедрин, еще!

М. Плисецкой

Тема русских и американов —
термоядерный Темирканов!

Он в ухе не носил кольцо.
Но нервно, вопреки банальности,
лицо сверкает, как яйцо
кавказской интернациональности.

Жауһ

—втидэжээд шдээнэм—

Заболеваю. Заболеванье
имеет имя — Авалиани.

На Алексеевской плетет лианы
для новой серии Авалиани.

На стульчаке он читает Юма,
самый лунный из бородачей.
Жгут лиловые две безумины
набывчившихся очей...

Чай, после бурного возлияния
летят над булочной авиалани.

Пугая горничных спиной овальнойю,
мчит велогонщиком Авалиани.

Раскройте длани, Авалиани!
Что тебе в имени моем?
— Это могём:

**оидей
возмемский :**

**бинмарков
детство**

**унижэенюя
девятка**

**кряжжясы
девятка?**

Дурачьё!

А этот дух наоборотных лет!..
Бутылъ Моет.
Обмоют перевертыши — Пилаты
двойное золото Олимпиады.

...и набожно
выпорхнула

БОЯОЧКА

СНИЗВЯ ОЧРЦКА

Тигр, как машина поливальная,
ведет усами. Авалиани,
в сравнении с Вами все — графоманы.

Весталка ииуэлзатая

— Вы слышали о шарлатане
по имени Авалиани?!

Его описать я вряд ли смогу.
Нос высится импозантно.
Лицо — словно варежка на меху.
Но вывернуто наизнанку.

Себе гадаю, в конверт поверив:

Синозая оялоу уверкев

Крлмала кюоя

забыту

признажкает втубяне

Вы гениальны, Авалиани.
Пахнуло лермонтовской Таманью.

Он тяжело дышит, укутан шалью
с тесемками, как на воздушном шаре.
Вертер оказывается экстравертом.

Сийн нэзизов

вдасне

Сушусь, подвешенный вверх ногами.
 Как купола, надо мною ямы.
 Явился бешеный Авалиани,
 по-рачьи пяться в ночном бешмете,
 он подарил мне Конверт бессмертья.

Что в том конверте?

надо мне узнать нет

Шелестят листоверты.
 Конвертируемое время,
 конвертируемая вера,
 конвертируемый суверенитет,
 конвертируемые суеверия,
 рентген Вергинского и звезд влияние
 конвертирует Авалиани.

Авалиани, сменяйте money!
 Так вот в чем причина нашего дефолта!

Я положу в конверт Твое фото.
 И отсылаю Тебя в Майами.

Вера — валюта Авалиани.

взятки мне надо

Вишу. Затекает шея.
 В котелке моем горделиво
 закипает прощение.

Транснациональное пойло наливо.
 Слабость гаишника —
 яичница из лиц кавказской национальности.
 На предмет гашиша.

Чем детство дорого? Наивным добрым?
 И велосипед не лишний...

Теперь он сбоку похож на \$.
 (Когда доллар встает на лыжи.)

Летим конвертами до востребования!
 Но остановочки нет «по требованию».
 Алаверды к Вам пошел снежок.
 Хорошо еще, что не белый порошок!

На посошок?
 Горит в письменах абажур пакета.
 Бонжур! Покедова!

Шалит, землянами повелевая,
 воздушный шарик Авалиани.

P.S.

Где брат твой, Авель, Авалиани?
 Ты — мой Каин.
 Замочили нас павианы.
 Отмокаем.

Мы — слов хирургии маниакальные,
 жизнь скурили.
 Я не слышал, чтобы делали каины
 харакири!

Красной кровью налита ванна.
 Кокаин — на кафель.
 Я — твой Каин, Авалиани.
 Каин — Авель.

АВЕУ

Каин — Авель.

ВТОРОЙ

Видеодрам

Музыкальная смута

в 2-х частях с прологами и эпилогами

Исполнительный лист

МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ — исполняет роль Второго,

посланца Божьего, иногда Фальконе и Автора

ЧУРИКОВА — исполняет роль Екатерины II

ЕКАТЕРИНА II — исполняет роль Матушки России

РОССИЯ — исторически исполняет роль Мессии

КАРАЧЕНЦОВ — исполнен чести и достоинства

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО — исполнены Караченцовым

ПЕВЦОВ — исполнен желания

ЖЕЛАНИЕ — исполнено Певцовым

ЗАХАРОВ — исполняет роль Ленкома

ЛЕНКОМ — исполняет роль Захарова

Музыка А. Рыбникова в исполнении Максимовского. И наоборот.

Вторая скрипка. Беспартийная партия фортепиано.

Кроме Магер-шелал-хаш-база и, вероятно, Фальконе, персонажи не имеют реальных прототипов.

Вступление

Я — русская смута.
Я — пьяная баба.
Российская муза,
я клеюсь у паба.

Российская мать — не немецкая «муттер».
Без мата нам муторно.
Мы — дети Малевича и Малюты.
Плюс плохо с валютой.

Бог занят. Мобильники не прозваниваются.
Жизнь — самоубийство.
Народному сердцу милы самозванцы —
хоть чем-то забыться!

Мы страшно устали от нищего Рая,
хохмя, озоруя,
мы знаем — есть где-то Россия вторая,
мы ищем Вторую.

На вернисажах одни гениталии.
Российская смута,
спасибо тебе: твой прикол гениальный
не стал русским бунтом!

Ищу самородков среди отморозков.
Мне мил почему-то
предшественник Мусоргского Максимовский —
продукт русской смуты.

Влечешь почему ты, российская смута?
— А вот потому-то...

ПОЭТ: Русь, куда несешься? Дай ответ!

— В Интернет.

— Ты куда ведешь нас, Интернет?

— В эпоху двух Елизавет.

Пролог

Странная мастерская состоит из двух залов. В первом зале бесы играют в компьютерные игры.

Экраны дисплеев, на которых возникают слова. Вечность — это слово. Слова умирают и возрождаются. Они беременны жизнью, как стручки гороха. В них, как в гробы,

помещаются люди и отплывают в вечность. Возникает слово АКТЕР — АКТЕР — АКТЕРАКТЕРАКТЕРТЕРАКТ — ТЕРАКТ. На других экранах проступает ПИТЕР — ПИТЕР — ПИТЕРПИ — ТЕРПИ,

МАТЬ — МАТЬ — ТЬМАТЬМАТЬМА,

ШАЛАНДЫ — ЛАНДЫША,

О, ПАЖ — ЖОПАЖОПА,

МОБЕЛЬ — МОБЕЛЬ — БЕЛЬМОБЕЛЬМО...

Но опять настойчиво повторяется ТЕАТР, ТЕАТР,

АКТЕРАКТЕРАКТЕРАКТ

Появляется Магер-шелал-хаш-баз (см. стр. 48). Он не лишьне харизмы, лицо порочное вне возраста, ноги обуты в зеленые сапоги с золотыми шпорами. С ним рядом красный кот по имени Фальконе.

Во втором зале игра на тесты вроде «Миллионера». На дисплее тесты. Идет инТЕРАКТивный опрос.

I. Кто такая Екатерина II-я?

а) любительница русского тарана	с) путешественница к Бахчисараю
в) немка, образец морали	д) подружка жеребца Самурая

(подсказка зала): Жизнь показала... В письмах Вольтеру исправляла нравы. Это Фурцева эпохи крепостного права. ФАЛЬКОНЕ (обиженно обращаясь к залу): А Агузарова? Песенка про кота? С группой «Браво»?

II. Кто такой Николай II-й?

а) национальный герой	с) кровавый
в) еврей (1/32 крови своей)	д) святой

(подсказка зала): Горстка пыльных костей... Потерянная лобная кость. Горбачев, сам оставивший свой Пост.

III. Что для вас эта Елизавета?

а) дочь Елизаветы	с) мне по барабану
в) б... полусвета	д) княжна Тараканова

(подсказка зала): Лизавета, жертва Раскольникова. Ах, голенькая... Не отключайте света! Авантюристка Анастасия — престолонаследница России XXI века.

IV. Чем будет ваша жизнь вторая?

а) жертвою ада или рая	с) звуком саундрека
в) ромашкой в горах Алтая	д) композитором XVII века

Внезапно экран мигает и гаснет. БЕС: Шеф, ток отключили! МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ: Выверните kota наизнанку! Бесы ловят Фальконе, выворачивают. Кот вопит. Появляется ТОК. Ток-шоу продолжается. Show must go on! Шоу — угон. Ноги — уош. Магдалина моет ноги. Пейте шампанское Моет!

V. Что сейчас значит Магер-шелал-хаш-баз?

а) шлягер	с) хамас
в) ерушаламовский фантомас	д) Камаз

ИГРОЧИШКА: Пять минут на размышление. Что означают инициалы МСХВ? МС значит по римскому летоисчислению 1100 год от ХВ, от «Христос воскрес», то есть год, когда крестоносцы разграбили Иерусалим и Константинополь. Опять же год «Слова о полку Игореве» и набегов Чингисхана на Русь. Тут что-то есть.

(подсказка зала): Инфернальный ловелас... Шахер-махер... Миллион раз... Не засоряйте унитаза! Баш на баш...

Игрочишка не угадывает и проваливается в тартарары под смех бесов.

Он летит по желудочному тракту времени. Как просвет лифта мелькают века XX, XIX, XVIII.

МАГЕР-ШЕЛЛАЛ-ХАШ-БАЗ: Ну, послушай, Фальконе, почему Он уже второе тысячелетие не выходит на контакт со мной? Что я ни делал, как ни провоцировал его, все тщетно. Был ассирийским царем, пролил реки крови, горе и мрак, был Наполеоном, Сталиным был, устроил ГУЛАГИ, опять миллионы убитых — Ему все нипочем. Попытаюсь разбудить Его терактами. Свел погоду с ума. Все тщетно. Он меня не замечает. А ведь я не простой дьяволишка какой-нибудь. Я Второй, Его тень, карающая длань Божья, альтернатива, так сказать, что ж делать, мой Фальконе? ФАЛЬКОНЕ: Мяу. Мало.

МАГЕР-ШЕЛЛАЛ-ХАШ-БАЗ: Есть идея. Может, изменить миропорядок? Не убивать буду, а подарю кому-нибудь вторую жизнь. Может, Он опомнится от такого шока? Чистюля чертов...

Эй, бесы, верните этого растяпу, который что-то там не отгадал.

Игрочишка, летящий, замирает на том уровне, где его застала реплика.

Это XVIII век. Кринолины. Менюэты. Однако вместе с ним, как микробы, проникают словечки и наша ненормативная лексика. Например, архаичное уже сейчас слово «блин» в значении, которое ранее не употреблялось. Что касается лексики Магер-шеллал-хаш-база, то она вне времени, вне языковых барьеров. Для менталитета его не имеет значения одно или два столетия — он мыслит тысячами лет. Поэтому исторические события сегодняшние и XVIII века стоят рядом. В нем спарены: Парнас и порнуха, Антиной и антивещество, сановники и санузлы. Рифмуются: парная и паранойя.

МАГЕР-ШЕЛЛАЛ-ХАШ-БАЗ: В кого мы его впарим, мой Фальконе?

ФАЛЬКОНЕ: Есть тут один Максимовский Максим.

Композитор.

МАГЕР-ШЕЛЛАЛ-ХАШ-БАЗ: Ну, валяй. Надо самому лично присмотреть, чтобы не напутали.

Ссуди-ка мне
ты свою шкуру, Фальконе.

Напяливает на себя Фальконе и уходит, звеня шпорами.

Картина первая

БЕСЫ (*впережку с толпой*):
Вы слышали? — К нам заслали Второго!
Мойте хари. Собирайтесь в дорогу.
Он мужик — одновременно Мата Хари.
Вы слышали? Его кушали в Сахаре.
Агнец он. И не умеет кланяться.
Ловите засланца!

Второй пролог

Русское поле. Над полем летят на конях Алексей Орлов и Фальконе в зеленых сапогах. Они парят, как Фауст с Мефистофелем.

ОРЛОВ: Поле чисто. Где же он, второй?
ФАЛЬКОНЕ: Нечистивец, видно, под землей?
ОРЛОВ: Поле, поле, кто тебя усеял
мертвыми костями?
ПОЛЕ: Ты и усеял.
ОРЛОВ (*удивившись*): Это кто?
ПОЛЕ: Я — Россия впережку с незваными гостями.
ОРЛОВ (*смешавшись, спешивается, подходит к холмику;*
холмик кольшется): А ты кто? Имя?
ХОЛМИК: Я Недотыкин, солдат. Погиб во имя.
ОРЛОВ: Молоток! Не видал здесь второго?
СОЛДАТ: Ась?.. Я и говорю: в Торонто.
ФАЛЬКОНЕ (*вспоминает*): Была на мне рука Господа,
и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля,
и оно было полно костей... И сказал мне: сын человеческий!
оживут ли кости сии? я сказал: Господи Боже! Ты знаешь
это. Произошел шум, и вот движение, и стали сближаться
кости, кость с костью своею. И видел я: и вот жилы были
на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху.
(*Следующий холм шевелится под снеговой простынькой.*)
ОРЛОВ: С кем спишь, моя Екатерина?
(*Снежок — как вспоротая перина.*)

ЕКАТЕРИНА: Орать — не плюс для дворянина.

Чего, милый, разорался-то?!

Ну, сплю, сплю, сплю-с, сплю-с, сплю-с, сплю-с
со всей Европой-плюс.

ОРЛОВ: А это кто? Безумные глаза. Щека прозрачней
парафина.

ПОЭТ: Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до половины.

ФАЛЬКОНЕ: Спи. Невинный.

ОРЛОВ: Не вижу. Куда же канула княжна Тараканова?

ФАЛЬКОНЕ: Запредельная философия!

Передозировка наркоманная!

МАКС-2: Благодарствую, простоволосая,
просто женщина — Тараканова!

Тараканова, благодарствуй.

Вновь сердечко в тебе живет.

Жизнь похожа на душ контрастный —
жар и лед!

Помнишь, капли дрожат неспешно?

Как тебя я к ним ревновал!..

В ванной, в зеркале запотевшем,
сквозь тебя проступал Ренуар.

Жизнь помазанников — временна.

Страсть сильнее, чем государство.

Самозванцы — сопротивление
надоевшему. Благодарствуй!

Тараканова, льдины лютые!

Мы заврались непоправимо
под февральскую революцией
Равелина.

Да жила ли ты? Знать желаю.

Неужели ты бред Флавицкого?

ЕЛИЗАВЕТА: Я жила. Я еще живая.

Я — российская жизнь провинции!

Сирота я. Зовут Августой.
 Меня долей смутили царской.
 Наш ребенок не спит — «агусеньки».
 Господи, благодарствуй!

ХОР: Жизнь — это конкурс двойников.
 Ты кто таков? Ты не таков!
 Зеркален карточный король.
 Я — Марков Второй.
 Я — Рокосовский XII века.
 Раскосый. Вместо Бутырок — клетка.
 Мы — двойняшки Ильича,
 бродим, подлинник ища.
 Живешь — бежишь под шепот во дворе:
 «Ишь, баба как Симона Синьоре!»
 Я — второй Лермонтов. Но в прозе.
 Я — оса, желтая как ул. Росси.
 Вам из могилы голова
 послала пузырек Oz.

Звучит хор Вторичных людей, стр. 24.

ОРЛОВ: Да спите вы.
 ХОР: Покой нам только снится.
 Предсмертная игра.
 Мы все самоубивцы,
 не завтра, так вчера.
 Меня сожрала пицца.
 Я побежден икрой.
 Мы все самоубивцы.
 Привет, Второй.
 ФАЛЬКОНЕ: Второй я!
 Во мне ревность пела
 над Гефсиманскою горой.
 Христос был первый.
 Я Второй.

(Орлов не верит своим ушам.)

Второй я. Молоком и медом
 Меня вскормил кормилиц рой.

Во мне страшная свобода.
 Я — Второй.
 Второй. Я был царем Ассирии.
 Как хлюпала кровь под травой!
 Приглядываюсь к России
 с Екатериною II-й.
 Мы, если бы не обоняние,
 короновали бы коров.
 Лидеров догоняют.
 Я — Второй.
 Души субстанция транзитна.
 Привет, наш будущий герой.
 Со второй жизнью, композитор,
 будешь Второй.

С тех пор, как Игровичка стал Максимовским, он весь сонный. Удивляется сонному царству. Дирижирует руками. Он уже композитор. Обращается к зрительному залу.

МАКС-2 (*зрителю*): А ты что не спишь?
 ЗРИТЕЛЬ: Оркестр мешает. Распумелся ишь.
 ВТОРОЙ РЯД. ПОКЛОННИЦА: У меня хроническая
 бессонница.

Звучит колыбельная.

Колыбельная Фальконе

Баю-бай, баю-бай,
 продавай и покупай.
 Спит Россия, как Самсон,
 видит сон:
 к Богу в рай или в Дюбай?
 Лодочку не колебай.
 Спят министр и разгильдяй.
 Спит собака. Клоп куснул.
 И уснул.
 У хирурга на столе
 спит царевна в хрустале.
 Баю-бай, баю-бай,
 только ты не погибай.
 В сновидении порой
 жизнь нам кажется второй.
 Все простишь

и все проспишь,
тебе бок прогрызламышь,
в телепузиков играй, —
музыку не продавай!
Баю-бай, баю-бай
Баю-бай, баю-бай
Бай ю бай. Бай ю бай

Buy you buy...

BUY YOU BUY...

МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ: Никуда не годится! И эта массовка до Него не доходит. Давайте реальнее, как все было в жизни.

Могилы захлопываются. Как ящерицы ныряют в них призраки. Сцена опустела.

I Действие

Картина 1

Два брата Орловы, а может быть, их души, беседуют на Итальянских холмах. Алексей разливает. Макс-2 плюхается рядом с ним.

А.: Ну что, брат Гриша, выпьем, блин.

Ты помнишь битву за Берлин?

Г.: А помнишь аромат, брательник, императрицыных бретелек?

А.: Брат, не ревнуй. Объект оставлен.

Г.: Оса, блин!

Служил у нас полковник Саблин.

Они царицу всем ансамблем...

С Божьей помощью мы, братец, с ее мужем разобрались!

Я, помнится, стряхнул с руки его сопливые зрачки.

Рука надежней, чем удавка.

Сейчас у ней в алькове давка.

Куда до нас заморским цаплям!

А.: Ей в спальню вводят жеребца, блин.

Г.: Орловского?

А.: Гы... Идея есть —

распутнице устроить месть.

Живет здесь дочь Елизаветы...

Г.: Она в гостинице «Чек Аут».

МАКС-2 (*чихает*).

А. (*хватает пистолеты*): Кто здесь?

Подслушивать государственные секреты!

(*Хватает Макса-2 за грудки.*)

Г. (*узнав*): Ба! Композитор!

Максим Сазонтыч Максимовский!

МАКС-2: Как вы сказали? Да я... Максимовский.

Я здесь транзитом.

Г.: Ведет в Болонье семинар.

А.: А тема?

МАКС-2: Си-минор.

(*От напряжения описался.*)

А. (*покровительственно*): Ссы, милорд.

(*Нравоучительно*): Интеллигенты-паразиты.

Все Русь зовете к топору,

а сами жметесь ко Двору.

Так ты композитор?

А, слабо сварганить оперу?

МАКС-2: Есть текст, цензурою зарублен.

А.: Под покровительство беру, блин.

Картина 2

Ливорно. Студия Оп-арта. Большая вывеска «ДОМ МОД».

МОД в зеркале прихорашивается, проходят люди, отражаются. Подходят оперы, отражаются: ДОМ ОПЕРА.

Это первый русский оперный дом в Ливорно. Кабинет

директора театра. На стене афиша: премьера оперы

«Демофонт». Из-за стены слышен оркестр и аплодисменты.

В кабинете сидит Макс-2 и красный кот Фальконе в зеленых сапогах. Въезжает, как на роликах, на золотых шпорах.

МАКС-2: Скажи мне, Фальконе, без дриблингов —
целку не строй!

Кто первый, я или Рыбников,

а кто второй?

Для наших критиков-корытников

вопрос простой.

Но кто же первый композитор — Рыбников?

А я второй?

ФАЛЬКОНЕ: Узнаешь — шиш...

МАКС-2: На черта мне вторая жизнь?!

Я самозванец. Соглядатай.
 Во мне живут чужие даты
 из школьного учебника истории —
 когда, кто, где, с кем и которые...

Меня никто не понимает.
 Башка двоится. Сердце манит
 Елизавете не верна
 еле советская страна.
 Съели советского хоккея
 взлет бескорыстный мастерства.
 Еле советского елеля
 поем под музыку слова.

Еле бандитски, еле светски
 живем. Куда б ни полетел,
 все вижу я еле советский
 наш мнительный менталитет.

(Прислушивается.)

А что это за крики законные?

ФАЛЬКОНЕ: Супружница ваша законная,
 в девичестве Ефросинья Карловна Ибершер.

СУП-2: Сволочь! Дебошир! Дыр-бул-щыл!

Ради него я забросила карьеру балерины!

Моя бельсер устроила ему указ Екатерины Второй.

А наш герой

попал в лапы самозванки, «дочери Елизаветы».

Ну, ладно бы «дочь Майи Плисецкой» —

самозванка высокого мастер-класса!

До сих пор судья полысевший
 заикается, ставя кляксу.

Самозванка пока что в розыске.

Но когда-нибудь в страшный миг

отольются ей наши слезоньки,

и она захлебнется в них.

Обещал ты мне Сальвадордальность,

окаянный кокаинист!

Мы с подругами обрыдались.

(Вбегают пять одинаковых девиц,

стандартно подстриженных. Делают канкан.)

У нас женская солидарность!

МАКС-2: Да — жена... Но какая из?

Фальконе выпихивает гостей.

Впархивает Али-Заура. Мы узнаем в ней Тараканову. Она

же — девица Франк, девица Шель, графиня, госпожа

Тремуйль, принцесса Гали, княжна Алина, Али-Эмер,

графиня Евдокия, княжна Дуняша Силински, принцесса

Елизавета Владимирская, княжна Августа Тимофеевна Тагакаhoff, и так до бесконечности. Вносят за ней огромный букет чайных роз. На каждой розе написано ее имя.

ФАЛЬКОНЕ: Сейчас это Елизавета — дочь Елизаветы.

ЕЛИЗАВЕТА: Я поздравляю вас. Вы — гений!

МАКС-2: Ах, полноте...

ЕЛИЗАВЕТА: Вы помните? Вы помните? Не помните?

Сто лет назад, а может быть, вчера
писали с вами мы Державный Понте,
не помните? Письмо это при вас?

Вы помните? Вы помните? Не помните?
Царице ваш концерт в Янтарной комнате?

С тех пор ребенком я влюбилась в вас.

А пончики? Мы после ели пончики...

С чем пончики? Забыли, ловелас?

Вы ветрены, вы ветрены, вы ветрены!

Совсем как Разумовский, мой отец.

Елизавета — дочь Елизаветы,

я вам дарю царство и венец.

Е. ∞ : Я действительно не забуду вас мальчуганом кудрявым
и резвым.

МАКС-2: Неужели я был кудрявым?

Е. ∞ : Да, кудрявым и длинноволосым, как маленький Ленин.

МАКС-2 (*вспоминает*): Играю царице. Янтарная комната.

Янтарное утро. Янтарный талант.

Сердечко дрожало, как стрелочка компаса.

И ваш васильковый подрагивал бант.

Престолонаследница Елизавета,

Зачем же все рухнуло, сорвалось?

Осталось отечество безответное.

Трещит — электричества вместо — мороз.

Разграблена комната. Музыка скомкана.

Но, может, той музыке благодаря

мы ищем по свету Янтарную комнату.

И в душах сияют куски янтаря.

(*Обращаясь к гостю*):

Мой ангел, вы откуда?

Е.∞: Я из Пизы.

МАКС-2: В Москву?

Е.∞: Она не даст мне визы.

Вся в складках, как шар-пей, царица
юной соперницы страшится.

ФАЛЬКОНЕ: Пизаночки меня не радуют.

Как башня, клонятся — не падают.

Е.∞: Я танцовка беззаветная.

Безотцовщина тесна.

Я в душе — Елизаветишна,

Петра III-го сестра.

Всенародно четвертован
брат мой — груды ног, глаз, рук.

Кубик клетки Пугачева —
это кубик-рубик мук.

Также в римской клетке падал
пред толпой в наши века
страшный грешник Эзра Паунд
кубик-рубиком стиха.

Мне кубически запомнился
твой мучительный хорал
музыки в Янтарной комнате,
где царице ты играл.

Косточками винограда
сквозь кубическую кисть
проступали многократно
ты, царица, оба брата...
Господи, не удались!

Разворована бездарно
на кусочки янтаря —
в Лете? в озере Онтарио? —
тайной комнатой Янтарной
светит музыка твоя.

А меня наив Флавицкого,
как безумное антре,
выставит красивой фикцией
мою муку в янтаре.
Вайорицею музея
сквозь картинное стекло,

сплющив нос, на вас глазею:
что без нас произошло?

МАКС-2: Вопросов избежать — есть путь
ей ротик чем-нибудь заткнуть.
(*Целует ее, объятия, звучит музыка первой любви «Я люблю».*)

ФАЛЬКОНЕ: Какая барыня ни будь,
все равно ее гребуть.

(*Пристраивается к парочке. Объятия.*)

ФАЛЬКОНЕ: Мои любимые, хани, как говорят американцы,
хотите, обучу вас китайской игре «Ни ха»? «Ни ха»
обозначает «здравствуйте». Так вот, повторяйте за мной...
«Ни ха, ни ха — без греха и стиха, жизнь чепуха — ни ха,
ни ха — учащается дыхание — хани, хани, хани! —
сладкая сеть Арахны — ахни, ахни!»

Поняли? Ну, начали!

Е.∞ : (*грозя пальчиком*): Ну, кот в сапогах...

МАКС-2: Кот в сапогах,
среди житейских бурищ...

ФАЛЬКОНЕ (*обращаясь к сидящему внутри Магер-шелла-
хаи-базу*): Вторым будешь?

Е.∞ : Сколько вам лет, мой котик?

ФАЛЬКОНЕ: Двести тридцать годиков.
(*Поет подлинный романс Максимовского.*)

Романс

Я не прячу голову вроде страуса.
Идут страшные времена,
не отвержи меня во время старости,
не отвержи меня!

Не отвержи моей молодой страсти.
Дух мой крепче кремня.
Прости измены, презренье к стадности,
не отвержи меня!

Прости мне вольности в Пажеском корпусе.
Среди Судного дня
не отвержи души моей грешной, Господи!
Не отвержи меня!

Романс второй

Не дари мне часы Сальвадора Дали,
подари мне себя, частый пульс подари.

Все имеет маршрут — города и года.
Циферблаты сокрут. Нагота — никогда.

Так тик-так... I love you
Так тик-так... Я люблю

Есть единственный плюс в страшной доле земной —
этот слившийся пульс нашей жизни с тобой.

Так тик-так...

Чем бы жизнь ни была, но Господь из дали
сводит наши тела, словно стрелки любви.

Так тик-так...

Хорошо ли ребру? Ева вместо ребра.
Потому и люблю я тебя, как себя.

Так тик-так... I love you.
Так тик-так... Я люблю.

ФАЛЬКОНЕ: Подумать! Прямо на диване...
Прелюбодеяние, прелюбодеяние!

(Вспоминает.)

Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь
Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница!
У тебя в благодеяниях твоих было противное тому, что
бывает с женщинами: не за тобою гонялись, но ты давала
подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в
противность другим.

(Поет монолог «Ледяное одиночество», стр. 56.)

Е.∞: Мой кисик!

МАКС-2: Я вижу твой интимный пирсинг.

Е.∞: Это не пирсинг, это вариант царского знака.

МАКС-2: Наколочка свежа, однако.

ФАЛЬКОНЕ: Скажи на милость!

И мне чего-то обломилось.

Опасная она, блудница.

Как бы не влюбиться!

МАКС-2: Портреты твоей матери развешены.

Отца ж никто не видел наяву.

Елизаветою Елизаветишной

Тебя, моя любимая, зову.

Чужую жизнь я на себя наматываю.

И чем-то на тебя похож,

когда Максимом Самозвантовичем
меня в отместку назовешь.

Машину обтирая ветошью,
в заснеженный взгляните сад:
Елизавета Елизаветишна
с Макс Самозвантычем летят.

МАКС-2: Елизавета Елизаветишна,
что же на мужчин так вешаетесь?

Е.∞: Политика, Макс Самозвантович, политика внешняя...

МАКС-2: Елизавета Елизаветишна,
к чему поляки вам конные, пешие?

Е.∞: Любит польку-бабочку танцевать,
Елизавета Елизаветишна.

МАКС-2: Елизавета Елизаветишна,
зачем вам турок с плешинной?

Е.∞: Люблю кофе в турочке. Видали дурочку?

МАКС-2: Елизавета Елизаветишна,
есть у вас в жизни фетиши?

Ах, проспали мы. Сюда идут. Уже заутрениа.

Е.∞: Марш под юбку! Ты будешь мой голос внутренний...

Входит Радзивилл.

РАДЗИВИЛЛ: Вчера бочонок чачи раздавил.

(Понимания не находит, выходит.)

Г-жа ПЕРЕКУСИХИНА *(входит)*: Я мадам де Пробир,
пробую Кате пломбир.

На палочке.

(Понимания не находит, выходит.)

СЛАДКАЯ ПАРОЧКА

(понимания не находит, выходит.)

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ *(входит без стука)*: Я громовеержец,
граф Орлов —

из екатерининских орлов.

Я Чесменский Орлов — второй,
национальный я герой.

*(Был первый с Ней без аллегорий
мой брат Григорий.)*

Меня по всей России чествуют,
героя Чесмы.

Трепещите турки —

я раздавлю вас как окурки!

Врагов отрубленные чресла
летят над Чесмой.

Я подл, но я слуга народа,
свежая голова...

ФАЛЬКОНЕ: Он весь под знаком кислорода — Оз.

Оз: О да...

ЕКАТЕРИНА: Ваш брат Орлов был гений смелости, —
а ум от куриц и баранов.

Я поручаю Вашей светлости
авантюристку Tarakanoff.

Оз (*находит глазами Елизавету, переходит на светский тон*):

Очаровательные губки!

Как вы оцениваете, блин...

МАКС-2 (*из-под юбки*): Успехи группы «Цепелин»?

Оз: Вот именно. Я б эти группы...

Кг тротила. И все — трупы.

МАКС-2: Ах, как интересно!

Узнаю героя Чесмы.

Е.: Вы фаворит Екатерины?!

А.: Увы, лишь только друг старинный.

МАКС-2: А чем же

не подошел воитель Чесмы?

Оз: На партии императрице

я предложил подбриться,
сбрить шаловливые седины...

Народ и партия едины.

Нас выперли.

Е.: Героя Чесмы?

МАКС-2: Не честно.

(*Переводит беседу.*)

Чай, на войне без женщин пресно?

Оз: Да нет, черкешенку в блиндаж,
блин, дашь?

Оз: Что это голос у вас низок?..

МАКС-2 (*из-под кринолина*): Ангина. Ем тетрациклин.

Оз: Заедайте луком.

МАКС-2: А как у вас с музыкальным слухом?

Е.: Что-то дует.

Оз (*запирает дверь*).

МАКС-2: Граф, не хотите ли дуэт?

Поют.

Романс

Одалиской пришла на два дня.

Боже мой, не удались от меня.

Удалые идут времена.
Боже мой, не удались от меня.

Барбарисовый ларчик храня.
Боже мой, не удались от меня.

Удавилась бы — без твоего огня.
Боже мой, не удались от меня.

МАКС-2: Любезный граф, вы «си» поете вместо «ля».
Ну, спойте «ля».
О: Бля...

Макс-2, воспользовавшись замешательством, выскальзывает из-под кринолина и аккомпанирует уже из другой комнаты.

ФАЛЬКОНЕ (*выходя из тени*):

Я тень Его.

Его сияющая тень — как черные миткалевые брюки,
спавшие с Его ног, волочусь за ним по земле, по кочкам,
по битому стеклу, навзничь, по дерьму, по лужам...

А вы пробовали быть тенью?

Ведь даже, когда он спит,
нельзя сомкнуть глаз, ибо вы должны повторить Его
движение даже во сне.

Ночь — это групповой секс теней кошачьих, людских,
лиственных. Они сливаются друг с другом.

Penis — это тень Sapiens — сапиенс, сапиенс — пенис...

Тени столбов и стволов стоят наперевес, как солнечные часы.

Тени — это Время.

(*См. стихотворение «Тень» на стр. 58.*)

Я был царем Ассирии. Я повелел прибить тени гвоздями к
земле, как крылья мельницы в небе.

Мир содрогнулся, как при остановке поезда, задребезжали
стаканы, с полок посыпались любовники и мешочники.

Потом гвозди с мясом вырвало и опять все потекло.

Теперь я повелеваю рабам тянуть бревна теней назад, как
бурлаки тянут перекладину.

Так мы докатились до XVII века...

А вы, глядите из проруби,
вы пробовали?

На кресте Он, весь в поту, как в патоке,
 простирает ладони мук.
 Я тень Его на палящей каторге,
 Совершаю мельничный круг.

Мы с Тобой — сумасшедшая запонка
 на манжете Господних рук.

Почему ж Твое сердце заперто?
 Ну, ответь, ну хотя бы звук
 произнеси...

Ведь мы же не чужие с Тобой,
 помнишь, мы играли тинейджерами?
 Что ж ты брезгуешь мной?

*(Уходит в Тень.
 Замечает Максимовского.
 Опять развязно):*

Я Фальконе — флакон для Духа.
 Кругом чернуха.
 Откуда вы, Макс Максимовский?
 Оккультный или сенсимонский?
 МАКС-2: Мой Фальконе,
 авторитетно

прямого жду ответа:
 вы человек Екатерины?
 Иль человек Елизаветы?

ФАЛЬКОНЕ: Я медиум. Мне врать не нужно.
 Мне дали государевы спецслужбы
 мандат на золото и на кровь.

Но наша нежность и наша дружба
 сильнее страсти, больше, чем любовь.

МАКС-2: Но я люблю Елизавету.

ФАЛЬКОНЕ: Эту?!..

Она отбила Радзивилла.

Орлова у меня отбила.

У бабы есть одна лишь внешность.

А наша дружба и наша нежность...

(Берет Макса за зад.)

И нет для вас пути назад.

Ваш жребий — написать и поставить Первую русскую
 оперу.

Как вы ее назвали? «Домофон»?

МАКС-2 (*обиженно*): «Демофонт».

ФАЛЬКОНЕ: Ну, все равно, «Литфонд» или
«Демократический фонд»,
судьба ее в ваших руках.

Через пару веков вас вспомнят и
композитор Алексей Рыбников
возродит ее в московском Ленкоме.

Вы в коме?

Цена небольшая — вето
на имя Елизавета.

Вы насыплете вместо пуль конфеты
в ее личные пистолеты.

МАКС-2: Какая вы, однако, гнусь!

ФАЛЬКОНЕ: Клянись музыкой.

МАКС-2: Клянусь!

ФАЛЬКОНЕ: Ну, вот так-то лучше.

Из-за сцены доносится Песенка княжны Дуняши, стр. 71.

Фальконе поет в ответ:

Фалька

не свезешь в катафалке.

Фальконе

означает «факанье».

Мы в тюрьме,

но пахнем фиалками.

ФАЛЬКОНЕ (*глядит на Макса-2*): Пустой человечиска!

И что в нем бабы находят?

А я-то думал ревновать к нему...

Политика ниже художника.

Кто знает, кем были черные гвельфы,

испортившие кровь Данте?

Или кто такой гибелин?

Оз (*услышав из другой комнаты*): Гитлер, блин!

ФАЛЬКОНЕ: Ну, вот видите. Беда мне с ним.

(*Убегает. Оставшись один.*)

Меж пропастей и терриконов,

авантюристка Тагаканoff,

я презирал тебя.

Жизнь — это спор секунды с Вечностью.

Я породнен с полчеловечеством.

Я полюбил тебя.

Я снова голоден и молод.
Ты пахнешь яблоками Голден.
Я полюбил тебя.

Сияю, как буклет туризма.
Любовь — полет авантюризма.
Я полюбил тебя.

Мне светское обрыдло быдло.
Все это было, было, было,
но было без тебя.

Конец терактам для болванов.
Авантюристка Tarakanoff —
я полюбил тебя.

Звучит Песенка Елизаветы, стр. 53.

МАКС-2 (*возвращается к Елизавете и Орлову*).

Оз: Опять этот наглец! Я чую, вы не тот, за кого себя выдаете.
Может, вы и есть тот самый Второй, объявленный в розыске?

МАКС-2: Все мы подобия. Божьи. Дубовый лист похож на
виолончель. Ермак Тимофеевич и Степан Тимофеевич —
родичи, да и вы, принцесса, в прошлой жизни Тимофеевна,
почему вы слали писульки к самозванцу Пугачеву?

Самозванцы — это сопротивление.

Клубок похож на место Лобное, ваше преподобие!

Оз: В этом месте поподробнее.

МАКС-2: Есть и вторичные половые признаки истории.

Ирод — это пол Полпота. У вас болит живот. Может быть,
где-нибудь в Австралии или в другом столетии ваш прототип
жует лист слабительного?

Со мной и Максимовским произошли метаморфозы, которых
с вами мы познать (пока), увы, не сможем. Перед вами
двойник Максимовского и вместе с тем совсем не он!

Е.∞ (*в смятении прерывает беседу*): Граф, расскажите про
Москву.

МАКС-2: Москва, как много в этом слове...

Оз: Люблю я Воробьевых гор трамплин.

Налево храм, блин...

Направо посмотришь, а там — блин!..

Е.∞: И мы под звон колоколов
в Москву въезжаем, мой Орлов.

Оз: Ура, моя Елизавета!

Е. ∞ : Так сбудется? Душа заобмирала.

Пусть содрогнутся аморалы!

(Берет ножницы и отрезает тени. Фигуры, освободившиеся от земного притяжения, взвиваются вверх, как воздушные колбасы.)

О₂: Так будет. Слово адмирала.

Бонжур, покедова.

(Входит фельдъегерь с пакетом.)

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ *(картинно)*: Пакет графу Орлову от императрицы Екатерины.

О₂ *(читает)*: «Привет тебе, Орлов любезный.

Новостей бездна...

...Авантюристку — арестовать,

пока не четверговать.

Есть два варианта:

1) заточить на корабль (что вероятно)

2) кораблекрушение...»

Круто, блеск! Но душевно.

«...И шлю фельдмаршальский вам чин.

Твоя Катрин».

(Приземляется.)

Е. ∞ : Какой хрустальный замысел угроблен!

О₂ *(мгновенно оценив ситуацию)*: В ружье, блин!

Вбегают солдаты с ружьями и автоматами, десантники в киверах и на танках.

Арестовать самозванку!

Перед фельдмаршалом во фронт!

Е. ∞ : Ну, вы и фронт!

ФАЛЬКОНЕ: Ко мне!

Хорош Орлов — орел двуглавый,

любовник в роли палача!

Ты получай свое, шалава...

Эй, Максимовскому врача!

Обморок — на руку Катрин.

О₂: Ветеринара ему, блин.

Е. ∞ : Арестуйте меня, отвезите!

И вообще...

Я люблю лишь тебя, композитор,

академик в болонском плаще.

Не была я модной болонкой.

Гений ты. Тебе я верна.

Академик в плаще из болоньи,
напиши про меня.

Пусть, доказывая, что вера
и любовь отнюдь не детсад,
два заряженных револьвера
над пустой постелью висят.

Встреть мое отсутствие с мужеством.
Я твой сломанный карандаш.
Заведи себе новую музу.
Может, хоть ее не предашь.

Пролетят снега лазаретные.
Но никто среди тишины
не шепнет мне: «Елизаветишна...»
Нету Елизаветишны.

*(П. Мельников-Печерский: Княжна Тараканова окончила
жизнь свою тихо в стенах Ивановского монастыря под
именем монахини Досифеи.)*

Так хотелось мне женской свободы!
Но единственный из мужчин
отпоеет меня половодьем
Петропавловский равелин.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ: Для бабы нужен Домострой.
Да где же все-таки Второй?

Вторая смерть княжны Таракановой в народном сознании
Петропавловский равелин

ЕЛИЗАВЕТА: Вода прибывает, трусливо пощипывает —
по щиколотку.

Все женские слезы, как острые иглы,
вонзаются в икры.

Эй, стража, скорее на помощь! Измена!

Вода по колено!

Тону в вашей страсти, бесчисленные мужчины!

До места причинного

вся ложь мировая и наша, и прежних эпох —
залазит в пупок.

Сынок не рожденный мой, омут тоски
берет за соски.

Скользнувшая по лбу несчастная, мокрая крыска,
нам крышка!

Стиральная, грязная, пена шипящая —
 так вот ты какая, эмансипация!
 Шипят как уютг мой щеки, до ласки охочие,
 горячечные, чахоточные!
 Как страшно, что рядом в бушующей ваксе
 нет Макса!
 Максимка, спаси! Кто-то там, точно в смазанном
 снимке —
 Максимка?!

Появляется Магер-шелал-хаш-баз в облике Фальконе.

МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ: Спасайся! Прелестница!
 Вот лестница портативная...
 E.∞: Не касайся! Противно...
 Тебя я не знаю, блудливый котище...
 МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ (*обиженно*): Но как же там на
 диване?
 E.∞: Диванчик — не повод. Один из тыщи!
 Усатая секс-машина,
 люблю я Максима!
 МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ: У Макса твоего запой...
 E.∞: Мотивчик мне его напой...
 МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ (*поет*):
 «Яко реже врази».
 (*Подлинный романс Максимовского.*)
 E.∞ (*уже безумная*):

День штормяги Судный.
 «Яко реже врази».
 Не удержишь судно —
 якорь грешен разве?
 Коряги да овраги.
 Все решаем сами:
 где здесь Бабы Яги —
 Яго с корешами?

Дуэт.

Вместо фразы яркой —
 «Реже врази яко».
 Подымайте якорь
 и грешите ярко!

E.∞: Ну и песенка... О, по мне лучше в воду.

По ком вы подымете тосты стаканов?
 Все имена мои сгинут дотла,
 я гибну под кличкой «княжна Tarakanoff»,
 сама я не помню, кем я была.

МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ: Бежим! Я слышу дробь
 барабанов.

Е.∞: Прудят туалеты великого города —
 по горло!..

Крыша поехала. И захлопывается.
 Елизавета захлебывается.

ЕКАТЕРИНА: Повелим
 отремонтировать рavelин.

II Действие

Картина 1

МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ *(на облаке. Под ним огоньки
 городов и фосфоресцирующих мошек. Фальконе подъезжает по
 проходам, как на роликах, на золотых шпорах. Вверх ногами):*

Прощай, иудина осина!
 Питаюсь с неба, как троллейбусы.
 Прощайся небо с блудным сыном —
 вдребезги!

Однополярное пространство.
 Обрыдли ребусы.
 Мне не с кем даже попрощаться —
 вдребезги.

И Ты, мой нежный, мой небесный,
 Ты мною брезговал.
 Людей последняя надежда —
 вдребезги!

Кому оставлю свою миссию,
 чтобы для мира и для города —
 спеть недозволенные мысли,
 мои и Господа?!

Какая моя смерть позорная!..
 Давил подошвой вражьи крепости.

Когда Ван Гог себе отрезал ухо,
то в тот же миг в столетии другом
по-римски крикнул матерно и глухо
солдатик, обезушенный Петром.

Прости мне смерть. Мы жили миражами.
Мы умира...

ФАЛЬКОНЕ: Дубль. Наезжаем. Камера.

*Звучат четыре последних подлинных романса Макса
Максимовского. В них проступает трагическая тема.*

Романс первый

Помоги мне, уверенность сохраняя,
ибо враги твои говорят против тебя.

В смерти твоей меня обвиня,
всюду враги мои говорят против меня.

Рыбой вверх брюхом всплываю со дна,
ибо враги мои говорят против меня.

Из зеркала рожа — противная...
Ибо враги мои говорят против меня.

Не отвернулась лишь ты одна,
ибо враги мои говорят против меня.

Сказала: «Ты прав. И верна тропа.
Ибо враги твои говорят против тебя».

Романс второй

О чем ты плачешь, сняв кринолины,
Екатерина?

Петр тебе крикнул неукротимо:
«Екатерина!»
И стала немка великой русской.
У хана крымского заживок хрустнул.

Баба слабая — Екатерина...
Неужто Крым отдадут мужчины?

И с бодуна, как урок потомкам,
из будуара летел Потемкин!
Тряся морщинами, перед ней
бежал Шафирка, будто шарпей...

Стой, с постамента страну охватывая,
тяжеловесная, как Ахматова.

А на закате — клин журавлиный...
Ах, Катя, Катя, Екатерина.

Романс третий

Мы снова встретились. И нас
везла машина грузовая.
Влюбились мы — в который раз.
Но ты меня не узнавала.

Меня ты привела домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой.
Но ты меня не узнавала!

Романс четвертый

Жизнь первая опостылела,
вторая жизнь не новой.
ДА ПОСТЫДЯТСЯ
И ИСЧЕЗНУТ ВРАЖДУЮЩИЕ ПРОТИВ ДУШИ МОЕЙ

Я не был героем Чесмы.
В душе моей суховой —
ДА ПОСТЫДЯТСЯ И ИСЧЕЗНУТ
ВРАЖДУЮЩИЕ ПРОТИВ ДУШИ МОЕЙ

Души во мне нет, если честно,
ушла со смертью твоей.
ДА ПОСТЫДЯТСЯ И ИСЧЕЗНУТ
ВРАЖДУЮЩИЕ ПРОТИВ ДУШИ МОЕЙ

Душа моя, может, дурища,
но ангел общался с ней.
ДА ПОСТЫДЯТСЯ И ИСЧЕЗНУТ ВРАЖДУЮЩИЕ
ПРОТИВ ДУШИ МОЕЙ

Вдвоем на простынке тесно,
одному же, напротив, тесней.

ДА ПОСТЫДЯТСЯ И ИСЧЕЗНУТ
ВРАЖДУЮЩИЕ ПРОТИВ ДУШИ МОЕЙ

Россия во дворцах и в лачугах,
но ты не туши свечей!

ДА ПОСТЫДЯТСЯ И ИСЧЕЗНУТ ВРАЖДУЮЩИЕ
ПРОТИВ ДУШИ ТВОЕЙ

Над бездной земных уродов
услышу сквозь стон морей:

ДА ПОСТЫДЯТСЯ И ИСЧЕЗНУТ ВРАЖДУЮЩИЕ
ПРОТИВ
ДУШИ МОЕЙ

Картина 3

*Запертые двери особняка Максимовского. Пресса.
Журналисты в желтых и золотых камзолах. У дверей
дежурит Фальконе в зеленых сапогах, в ливрее привратника.*

ПРЕССА: Разрешите пройти к Максиму Сазонтовичу! Как он сейчас? Наверное, воеет, как Иов из страны Уц?

ФАЛЬКОНЕ: Пьют-с.

ПРЕССА: Связана ли смерть автюристки с появлением летающих блюдц?

ФАЛЬКОНЕ: Пьют-с.

ПРЕССА: Что же пьет маэстро? — водку с пивом? — джин с тайной? — шампанское Брют-с?

ФАЛЬКОНЕ: Пьют-с.

ПРЕССА: Засунем ему в душу вопросы, как подошвы футбольных бутц!

ФАЛЬКОНЕ: Пьют-с.

Картина 4

Москва. Собрание великосветской черни.

ГОЛОСА: Он сошел с ума! Он с ума сошел!
Он не пьет рассол! Он хулит престол!

ПИСАТЕЛЬ: Он вместо стула использовал стол.

Отекла мордень. Он совсем сдурел.

Собственную тень вызвал на дуэль.

Не закрыл ворот. Возмущен толпой.

Кто из нас второй? Кто из вас второй?

МАКС-2 (стоит в глубине сцены и выкрикивает кажущиеся бессвязными современные слова; он как бы пытается пробиться к себе, в перевозданность, но слова разбиваются о стекло непонимания публики).

МАКС-2:

- Додекакофония!
- «Мерседес»!
- Козлы!
- Княжна Тараканова
- Самозванец
- Елизавета
- Предатель
- Мультка
- Подстава
- Сострадания!
- Захлебывается

ГОЛОСА:

- Додик Кауфман... декафеин...
ДК... капут кайфу.
- Мерзкий бес... медресе...
Мисс Сердце...
- Золото клозета...
из казны... казни!
- Кинжал для тирана...
рука Талевана...
а вона карат...
- «Жизнь Званская»...
звонница... цена... в зо...
- Съели заветную...
на лизание вето...
- Еда... дактиль... бред...
даты...
- Люлька... мульти... мука...
- Полтава... полставки...
пост-слава... поц справа...
- Наша страна — не Дания...
эстрада... сос... соска драная...
- За... хлеб... еб... бывает...
ется...

*Макс-2 в бешеном озарении ударяет головой в стекло. Звон разбитого стекла. Макс-2 режется осколками. Весь в крови. Умирает.
Гости продолжают свой раут.*

Выходит пикетчица. Выносит плакат, который мы часто видим на московских улицах: «НЕТ ТАРАКАНОВ».

Прощальная песня

Августа Тимофеевна Тараканова,
нас с тобой метель заарканила!

Лик с чахоточными румянами...
До свидания, Тараканова!

Как в тюрьме вызывает зависть
авантюрная жизнь красавиц!

Управляет теракт сердцами.
Не стянуть амазонских кафтанов
сырчаковыми кушаками.
Прощаемся, Tarakanoff.

До свидания, Тараканова.
Баба крутится в барокамере.

Хвост кометы сгорит над Каннами.
До свидания, Тараканова!

Нас вторая смерть Таракановой
достаёт сейчас ураганами.

До свидания, Елизавета,
до свидания, моя мания.
«В чемодане семь пар пистолетов,
в том числе одни маленькие...»

Что ж глядишь ты? Досье посеяли.
Дышит шаль твоя домотканая.
Тимофеевна? Досифея?
До свидания, Тараканова.

До свидания. Имя кануло.
Да святая ты, Тараканова.

Эпилог

ХОР (*скорбно*):
А пристав, сдув в чернила мошку,
писал: «Убит, но не ограблен
Максим Сазонтыч Максимовский.
Был псих».

Оз: «Зарезал сам себя, блин».

ЕЛИЗАВЕТА ЕЛИЗАВЕТИШНА:

Занавес. Тишина.

МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ: Не получилось.

ФАЛЬКОНЕ: Господь, опять нам сделай милость!

МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ (*обращаясь к зрителям*):

Эй, новые, кому дарю

я жизнь вторую?

Одномоментно звучат бурные аплодисменты.

Эпилог дубль

ГОЛЮСА: Шлиман убежал в Перово.

МАКС-2: Пошли меня, Бог, второго!

БОГ (*сурово*): Пошли в тартарары!

МАГЕР-ШЕЛАЛ-ХАШ-БАЗ: Бац! Выходим из игры.

Пошляки — наш залог здоровья.

Сцена пустеет. Предметы теряют свою сдвоенность. Двойки и вопросительные знаки вытягиваются в знаки восклицательные. Лебеди вытягивают шеи, как единицы, и улетают. На сцене остается один Игрочишка.

ИГРОЧИШКА (*шепотом*): Пошли Тебе, Бог, Второго!

Занавес.

Хроника приключений крестиков и ноликов

Пролог



+++

Летели две палки. Одна — на Север, другая — на Запад.
На асфальте их тени совместились — получился крестик.

— Палки, не разлетайтесь, пожалуйста, а то я исчезну!
— Извини, крестик, нам пора.

+++

Микроскоп открыл мир из микробов. Дисплей открыл, что
мир состоит из крестиков.

+++

Шел крестик по дорожке.
Видит, толпа крестиков на ветке.
— Вы районное совещание крестиков?
— Нет, мы — сирень.
Загрустил крестик. Только развел руками. Пошел дальше.

+++

Идет, видит — черные крестики встали друг на друга, гимна-
стическую фигуру составляют.
— Физкульт-привет, миру — мир! Можно, я с вами встану на
минутку?
— Пожалуйста! Мы — тюремная решетка. Присоединяйтесь.
— Извините, я тороплюсь.
Он только развел руками.

+++

Я чувствую, как кто-то передвигает меня. Иногда я даже ощу-
щаю тепло движущей руки.

+++

Нолик проглотил Сатурн и все его не переварит.

+++

— Сколько стоит картошка?
— 7 руб.
— Когда к власти придет нолик, будет стоить 70.
— А если придет второй, будет стоить 700.

+ + +

Когда к власти придет крестик, он перечеркнет все достижения.

+ + +

Но мы забыли рассказать, что случилось с нашим крестиком за минувший год. Крестик развелся. От его брака с ноликом остались две дочки и сын. Вылитые родители. Особенно в профиль.

Старшая была зонтик. Она работала в уличном кафе зонтиком, а летом на пляже и после закрытия опускала юбочку. Младшая работала так же вазочкой для мороженого. В нее помещалась порция из четырех ноликов. В анкете дочки писали: «полукрестики-полунолики».

Сынок выходил на бульвар с заточенной спицей. Когда он протыкал спицей прохожих, те становились крестиками.

+ + +

Мимо проехал Большой крестик в «Волге». Неумещающийся кончик торчал как антенка над крышей.

+ + +

Когда «Волгу» отобрали, Большой стал ездить на троллейбусе. Кончик загибался над крышей, как дуга. Искрило.

+ + +

Цены росли. К ним, как очередь, пристраивались нолики. Крестик все больше худел, нолик округлялся.

+ + +

Нолики катались на роликах. Крестик на одной ноге крутился по ледяному полю, расставив руки. Делал фуэте.

+ + +

Когда делили Черноморский флот, нолик предложил разделить якорь на крестик и полнолика. Разрубили. Корабли унесло к берегам Турции.

+ + +

О вечный бой двух начал! Структура мира состоит из крестиков и ноликов. Остальное — видимость. Есть и смешанные особи.

+ + +

Теннисная ракетка — это нолик, стянутый сеткой крестиков. Нет нолика без крестиков. Кролики — это крестики плюс нолики. Уши — от крестика, хвост — от нолика.

+++

Зарплату выдавали одними нулями. Лифтер получил 0 руб. 00 коп., инженер 00 руб. 00 коп., главный инженер 000 руб. 00 коп., председатель — во гребет! — 0000 руб. 00 коп. Далеко пресловутым абсурдистам до нашей действительности.

+++

Диоген жил в нолике.

+++

Когда крестик работал бурильщиком, он добурился до центра земного притяжения. Вытащил центр из Земли, как нерв из зуба. Система распалась. Земля распалась. Все разлетелось в стороны, децентрализовалось. По камням скакал опустевший обезумевший экватор. Потом центр вернули, но не совсем на то место. Крестика наградили, но перевели диктором на ТВ.





Когда крестик стал вести программу ТВ, он разделил собой экран на четыре части. Новинка! Он представлял одновременно четыре программы.

На левом его плече шли танки. На постаменте правого шли выборы мисс Таз-92. Под правой мышкой по 2-му каналу врался к микрофону депутат, похожий на певца Мамонова из группы «Муки Му». Под левой мышкой митинговала партия секс-меньшинств. Требовали передачи им Мавзолея.

+ + +

Вдруг правое плечо тяжко, как весы, поехало вниз. Танки взвились вверх, как по горной местности. Прищемленный депутат запел.

Как пушинку оттеснив плачущую мисс Экстаз-90, на постамент взойшла Изольда Мешалкина.

+ + +

Восхищение! Хулахуп застрял на ней, как экватор. Неизъяснимая печаль пространств охватила души.

Страна опустела. Остановились заводы, операционные, ракетиры, Полярный круг оттаял — все залезли в телевизор.

Нырни навек и не вынырни, москомсомольская мисс Бюст-92! Рейтинг Мешалкиной недосыгаем.

«МИСС ТАЗ МИР СПАСЕТ ОТ МЕТАСТАЗ» (ТАСС).

Правое плечо перекаливалось.

+ + +

Наутро крестик заболел. Все четыре градусника, воткнутые в него, пылали. Нижний лопнул.

Госпитализировали. Покрыли простыней. Раскаленные его кончики прокалывали простыню, как кладбищенская ограда в снегу.

Врач сказала: «Растяжение плеча». Профессор сказал: «Да он же влюблен!» «В Мешалкину, — сказала нянечка. — Все по ящику видели».

+++

«He!» — сказала Мешалкина. Несмотря на ее влажный прононс, это не утешало.

+++

Крестик пробовал повеситься, но веревка соскальзывала с его безголовой шейки. «He!»

+++

Он встретил Ее в лифте. Побледнел. Вырвал себя из себя и преподнес, как лилию. «He!» — сказала Мешалкина.

+++

В другой раз он еще более побледнел. Вывернул себя и подал Ей, как квадратный платочек с четырьмя заглаженными складками. Мешалкина высморкалась в него.

+++

«Погляди на себя, они тощих не уважают», — сказал нолик и укатился.

Крестик купил гантели. Вступил в секцию «бодибилдеров». Накачивался в подвале. Через месяц он округлился, как туз трэф.

«He!» — сказала Мешалкина.

+++

«Им валюты надо», — посоветовал нолик.

Завербовался в космос. Работал стрелкой компаса. Но где в космосе Север? Где Юг? Его сократили.

+++

— Бабы — они военных уважают.

Крестик пошел в армию. Никак ему не удавалось выполнить команду: «Смирно! Руки по швам!» Он все разводил руками. Обломали. Через 2 года Мешалкина ему ответила. «He!»

+++

— Ты потанцевал бы...

Юные ленинцы плясали тяжелый рок, подняв два пальца, как перевернутое «Л». Крестик вошел в круг. Станцевал лезгинку. Потом вприсядку, выбрасывая в сторону руки.

«He!» — сказала в нос Мешалкина.

+++

— Да ты послушай, как она, бедная, в нос произносит! Она всегда простужена. Ей профессионально поддувает. Подари ей колготки. Размер XXL (экстра-экстра ладж).

Ни одна отечественная фабрика не выпускала такого размера. Вся страна стремилась улететь куда-то. Наверно, за колготками размера «S», «M», «L», «XL»...

Крестик улетел в Америку.





+++

Крестик улетел в Америку.

В Аэрофлоте билетов не было на десять лет вперед. Виз тоже. Запись на угон самолетов шла за полгода.

+++

ТОГДА ОН ПЕРЕДАЛ СЕБЯ ПО ФАКСУ.

+++

...случалось ли вам, читатель, перемещаться по факсу, чувствуя, как некая серафическая сила разъяла вас на точки — а вдруг не перегруппирует обратно?! — случилось ли вам нестись в иных измерениях, где «я» — «не я», нестись, холодея от ужаса, среди скорости мысли, запятых, обезумевших хромосом духа — не так ли и ты, Америка, как буйная, неудержимая факса, несешься, с гулом летят над тобой мос...

+++

— Ты?

Очнулся на 109-м этаже. Голубые продолговатые нолики в алой оправе усталились на него.

— Опять факс-заяц?!

Лакированный ноготь сощелкнул его с листа, как козьявку, в окно. Падая, он слышал обрывок телефонной беседы: «Хэлло! Оль слушает. Простите, я тут отвлеклась. ВСЕ ОК. Вот только наш 17-й нолик опять забеременел. Да, дистанционно. Наверное, от крестика из Гонконга».

+++

Под ним, мигая, приближались горящие перпендикуляры авеню и стритов.

О Нью-Йорк, Нью-Йорк, мировая столица крестиков.

+++

Приземлился, как котенок, на четвереньки.

— Скажите, как пройти к Блумингдэйлу?

— 6/42 — 5/44 — 4/64 — и вот вы уже на 3/64 — L/64!..

Не город, а кроссворд какой-то, мечта сумасшедшего шахматиста, партия Фишера. Нью-йоркцы, дети квадратов, мыслят ходом коня. Они и не знают, что уже играют в Рэндзю.

+ + +

По Центральному парку трусцой бежали тысячи крестиков — белые, черные, желтые, голубые, в безрукавках и шортах. Были среди них и нолики. Дети сверкали серебряными проводочками над зубами.

Крестик разделся и присоединился к цепочке. «Нудисты нынче в моде», — сказали, обгоняя его, голубые очки. За ней на песке дорожки оставались крестообразные птичьи следы. «Да она еще и птичка!» — подумал он.

+ + +

L/64! В витрине Блюмингдэйла пылала тыща швейцарских крестовых красных ножей. А мы-то думали, что у нас единственный!

Они шевелили лезвиями, лупами, антеннами. Из одного торчала черная швабра для прочистки трубки или унитаза. Он был похож на пурпурного вестминстерского гвардейца в мохнатой шапке.

Соседнее стекло сверкало бриллиантами. В каждом прятались, ломались лучевые крестики. «Освободи нас, — молили, — разбей витрину!»

+ + +

Но нигде не было колготок XXL.

Проходя супермаркетом первого этажа, проголодавшись, он схватил со стенда сосиску и съел. Никто не заметил. Но на выходе — ой! — неоплаченная сосиска завyla внутри него сигналом сирены.

+ + +

Воя желудком, он побежал по Лексингтон. Погоня! За ним, тоже воя, неслись ноли полицейских «мерседесов» и мотоциклов. Аллюр 5 крестов!

+ + +

ВСЕМ СЛУЖБАМ! НЕОПОЗНАННЫЙ ИКС ПЕРЕДВИГАЕТСЯ ПО ЛЕКС.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ — ОБЪЕКТ ЧЕТЫРЕХПАЛЫЙ,
ВЕРОЯТНО НЛО ЛИК.

+ + +

На углу 42-й он применил одесский прием. «Брызнули в стороны, бля! Свинт на крыше Рок-хазы!» — крикнул своим палкам на непонятном преследователям языке и распался. Одна нога полетела на Север, другая — на Юг, врассыпную! Сосиска тем временем спустилась в нижнюю ногу. Воя, неслась на Запад.

+ + +

«Бля» — это «леди по-советски», — перевел в мегафон черный оmonoвец. За убегающими палками неслись, как тени, черные дубинки и нолики наручников.

+ + +

**ИНТЕРПОЛ И МВД ВЗВОЛНОВАНЫ УЧАСТИВШИМИ-
СЯ БЕЗВИЗОВЫМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ПО
ФАКСУ.**

+ + +

На крыше Рокфеллеровского центра встретились. Трое взлетели на лифтах. Ждали четвертую, которая с воем карабкалась по пожарке. Соединились. Свинтились. Оглянулся на все четыре стороны.

Над крышей в небе стоял желтый вертолет, винтообразно превращающий крестики в нолики.

+ + +

Но почему толпа с тротуаров и все кинокамеры глядят на крышу? И почему к крыше привязан трос, тянущийся к Эмпайр Билдинг? Видно, какой-то канатоходец собирается поставить рекорд Гиннеса?

+ + +

Наш крестик опередил рекордсмена. Апокалипсически воя внутри, он прошел, балансируя руками, над небоскрежной пропастью, прошел над затаившими дыхание квадратами Нью-Йорка коронным ходом офицера или королевы!

+ + +

ВИЖУ X ИДУ НА X

+ + +

Ура! Наш герой уже на Эмпайр Билдинг. Аплодисменты! Крестик протянул всем руки.
Тут на него надели наручники.

+ + +

Ножницы — это крестик с кольцами наручников.

+ + +

Крестика посадили на электрический стул. К правой руке подсоединили плюсовую клемму, к левой подвели отрицательную.

Когда к его «плюсу» подключили «минус», он весь наполнился радостной энергией. По жилам побежал ток. «Еще! Ну, еще подбавьте току», — молил он электриков. Когда подводили «плюс», крестик ничего не чувствовал.

+ + +

Пинок! Его выбросили на улицу.

+ + +

Жильем не обеспечили. Советский бомж привык и не к такому. Он складывал себя в тире, как складной зонтик, и спал на лавочке. Под лавочкой, свернувшись калачиком, спал нолик.

+ + +

Над собой в небе он считал звездочки. «Сегодня я в четырехзвездочном отеле ночью», — подумал и сладко заснул.

+ + +

Ему снились клеверные поля, где крестики, перелетая с цветка на цветок, погружают хоботок до предела и торчат вверх вибрирующими антеннками.

+ + +

Крестик первым открыл Америку. Он сидел на мачте.

+ + +

Говорят, что крестик сбросил бомбу на Хиросиму.

+ + +

Ему снился родной безразмерный окоем, неизъяснимая печаль пространств.

+ + +

Подошли две белые бестийки:

— Крестик, вынь из себя один из шприцев. Зачем тебе четыре? Поделись с товарищем.

Не трожьте человека, когда из его вены торчит кончик крестика.

+ + +

Иногда он залезал с ногами в дорожный пустой круг знака «стоянка запрещена», и знак превращался в «остановка запрещена». Глядя на спящий крестик в кружочке, машины, опустив ресницы, катили мимо.

В осеннем воздухе, как паутинки, носились узелки памяти. Кто завязал их? О чем они?

+ + +

Порой сквозь чужое окно он видел экран ТВ.

+ + +

Шварцкопф с Саддамом играли по клеточкам в «кораблики». В это время их охранники, засучив рукава, мерялись силой, оперев сдвинутые локти на полированном столе. Они отражались в столе загорелыми крестовинами.

+ + +

Он много глядел в небо. Из факса облака строились сообщения дождей. Из факса газонов в небо поднимались сообщения паров.

+ + +

Самолет сначала был крестиком. Постепенно превратился в минус ракеты.

+ + +

Однажды приснилась мама. Он плохо помнил ее. Тогда ему было года четыре. Она спала. Он нарисовал на ее левой половинке попки крестик, начал рисовать и на правой. Но едва начертил (—), как произошло короткое замыкание. Больше он никогда ее не видел.

+ + +

Мимо катили нолики, первые миллионеры из совков. Они гребли зелень совковой лопатой. Эмблемами их «мерседесам» служили крестики с отпиленной ногой.

+ + +

Наступили холода. Из факса облаков полетели на землю сообщения белых крестиков.

+ + +

«Метель лепила на стекле кружки и стрелы».

+++

Он заметил, что американцы замыкают квартиры на наборные ключи и их скважины имеют крестообразные сечения. Так он стал проникать в пустые квартиры.

+++

В одной спальне на тумбочке лежали голубые очки в алой оправе. На стуле джинсы «Леви-Стросс». В углу шелестел ФАКС. «Макинтош». Под дверь ванной вели прсыхающие птичьи следы.

Так вот как ты живешь!

+++

Он ждал. Буквы и цифры из ФАКСа рассаживались на майках. Куда бы факснуться, пока хозяйка моется? Стопкой лежали телефонные книги.

+++

Он открыл наугад телефонный справочник «Петроград». Видно, новый. Значит, город только что переименовали. Какие перемены без него. Вот телефон какого-то Юсупова Ф. Набрал.

+++

Очнулся в бороде Распутина. Старец почесался. Поймал. Прижал ногтем. «Ща мы тебя!»
Раздался выстрел. Потом еще. Пальцы разжались.

+++

В панике он крутанул ручку телефона. В кабинете сидел вождь и курил труп.

+++

Черные сапоги были скрещены под черным углом усов. Закурив новый труп, он стряхнул крестика в пепел: «Фактически тебя нет».

Фактически нет, но фактически...

+++

— Кто это растягивал мои колготки?! Как вы смели!

Оль выпорхнула из ванной.

— Ах, это опять вы, факс-заяц! Я так и думала. Не глядите на мои ноги! Вы думаете, если я без халата, то так уж беззащитна. Подайте мне газовый баллончик. Считайте, что я за ширмой. Она вытянула перед собой горизонтально на уровне плеч по-

ясок от халата. И выглядывала из-за него, как из-за ширмы. — Ничего, я плохо вижу. Что уставились? Подотрите пол вокруг меня. Ой! Ну, нельзя же так, сразу.

Ее нолик округлился от удивления. — Ой! ± —,о!! — +хо++ ой о милый о... ой да у тебя их четыре... Я тебя по всем факсам ищу. Все оказывались не ты. Пошли в ванную.

+ + +

— А что это у тебя за кружок над левым локтем?

— В нашей стране врачи всех детей метят минусом. Потом этот минус воспаляется в нолик. Это на всю жизнь.

+ + +

А ты и правда из крестиков. Пока мы любили друг друга, сотни крохотных крестиков высунулись из твоей щеки и подбородка. Ровные, как новобранцы. Целые полчища. Все колются.

— Ща мы их под ноль сбреем!

+ + +

На стене фото нолика. Муж? Нет, это моя мама. Мы все из нее вылупились. Ах ты, моя птичка.

+ + +

В коридоре висела шведская стенка из ее прошлых любовников. Ах, какие это были крестики когда-то!

+ + +

Я читала, что русские между любовью говорят про ГЭС. Расскажи мне про ГЭС...

+ + +

СТАЛИНТУРИСТАСОВПИСДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

+ + +

Когда он утром чистил зубы ее щеткой, зубастая перекладинка его белела из зеркала, как шлагбаум.

+ + +

Он остался жить у нее. Помогал по хозяйству. Служил ей четырехлопастным ножом в мясорубке. Когда ее не было, путешествовал по факсу. Макинтош был ему по размеру.

+ + +

В кухне на сушке вертикально сохли нолики. «Не хотим в кофемолку!» — кричали черные нолики. Крестики сочувствовали, но перемалывали их. Белые нолики не хотели работать рисовой кашей.

+++

Ему нравилось в этой стране.

У стены стояла круглая ванная. «Джакузи» называется — последняя американская мечта! Едва он лег в эту ванную, как из бортов забили струи. Крестик завертелся. Голова закружилась. Он превратился в нолика. Джакузи превратилась в Мешалкину. Просыхая на бельевой веревке, он услышал Олин голос: «Джакузи ваш русский нолик изобрел. «Мы вам покажем джакузькину мать!» — кричал ваш нолик в шляпе».

+++

Однажды из факса выскочил чужой крестик. Ах, да это мальтиец! Выставил шпагу из нашего. Но, проколотый насквозь, нырнул в вечность факса.

+++

Ах, факс — Стикс XX века...

+++

Как-то он попал за кулисы к Мадонне. Суперзвезда молилась перед выходом на сцену. На черные кожаные брюки в обтяжку был надет бабушкин розовый пояс с четырьмя подвязками. Тупые полицейские пытались запретить ей мастурбировать на сцене. Народ скандировал: «По-дон-ки!», «Да здравствует Мадонна — Макдоналдс культуры!»

+++

Оль выкрасила его верхний хохолок зеленой. Так он стал панком. Бритоголовые нолики били его.

+++

Порой они путешествовали вместе.

— Давай наберем Кремль, пообедаем?

— Знаешь, советские компьютеры крепко пьющие. Впустить-то выпустят. А вот выпустить... Тогда слетаем к Факсимиле.

+++

Ездили к морю. Когда крестик катался на одной водной лыже, Оль плыла к нему, как спасательный круг.

+++

Но иногда она казалась ему похоронным венком. Он выходил на балкон, прислонился к перилам и глядел, взгляд его огибал землю, как дуга у старинного глобуса. Его тянула печаль странств. Антеннка вибрировала.

Все его мысли были о доме: «Вдруг расстреляют?»

+++

— Милый, в прошлом году я была в Москве. Меня возили в автобусе в Троицкий монастырь.

— В Троицкий посад?

— Да, да, в Троицкий фасад. Тогда у вас был зимний праздник. Русские красят нолики в разные цвета. Красные, золотые, голубые! Я влюбилась в алые нолики на снегу.

+++

А почему вы всех своих лидеров ругаете? «Stalinobad, Leninobad». И этот плох, и тот «bad».

+++

ОБЪЕКТ ТРИЖДЫ ЖЕНАТ ПЯТЬ РАЗ РАЗВЕДЕН ЖИВЕТ НЕПРОПИСАН ПО ФАКСУ (212) 461208 СООБЩАЕТ НОЛИК.

+++

В этом году Америка страдает от эпидемии клещей. Клещ по-английски «тик». А может, это нашествие клещтиков?

+++

А ты, совок — ОК!..

+++

— НОЛИК ПРОНИК В НЬЮ-ЙОРК РАЗРУШИТЬ КРЕСТООБРАЗНУЮ СИСТЕМУ УЛИЦ И ЗАМЕНИТЬ ЕЕ НА КОЛЬЦЕООБРАЗНУЮ —

+++

Когда он брился в ванной, из зеркала параллельно ему появился другой крестик, словно переплет второй зимней рамы двойного окна. В Нью-Йорке нет двойных рам, нет переплетов. Он вспомнил вторые зимние рамы своей родины. И заплакал.

Когда намылился кремом, второе окно открылось белым, морозным узором. Он еще горше заплакал. Антеннка, куда ты завела?

+++

Ах, Россия, пройдешься по улице — изо всех окон на тебя выглядывают крестики. Америка к прохожему равнодушна — ни один крестик не выглянет из беспереплетных окон...

+++

± —o!! — + хо +

+ + +

Кольца на оконных палках разинули рты от изумления, выпустили из зубов шторы. Шторы упали. Наступил день.

+ + +

Но однажды она забыла закрыть в ванной пробку. И его унесло с водой. Крестик и нолик, дежурившие в отверстиях, зазевались и упустили гостя.

+ + +

Какая темень! Как мерзко и холодно нестись в потоке мыла, твоих запоздалых слез, обескураженных хромосом, холерных палочек! Прощай, милая, абсолютный салют!

+ + +

Как-то в преисподней он встретил одинокую воющую сосиску.

+ + +

**ОБЪЕКТ ПРОНИК В ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ.
ПЛЫВУ ПО СЛЕДУ — НОЛИК.**

+ + +

Безнадежно носясь по inferнальным кишкам великого города, на стенке одной из труб он заметил проржавевшее пятно. Проколов ржавчину, он нырнул туда, попал в слой сырой штукатурки, процарапал дырку в том, что оказалось потолком, и весь белый, как призрак, от прилипших белил свалился в какой-то огромный подвал.

+ + +

Судя по сломанному мольберту, это была мастерская художника. Видно, тот разбогател и съехал. В углу валялся моток советской черной изоляционной ленты. Видно, художник был русский.

Сначала крестик заклеил лентой дырку за собой, чтобы подвал не затопило.

+ + +

Советская мазутная лента не чета близкому скотчу. Если у вас протерлись выходные вечерние брюки — заклейте черной изоляцией.

Если в город приезжает Предсовмина, а проспект не засфальтирован, протяните ленту вместо шоссе. Получите орден. Если у вас свадьба и нет селедки, нарежьте ленту тонкими ломтиками и наклейте по центру на селедочницу. Вокруг декорируйте кружками моркови и лука по вкусу.

+ + +

Дверь подвала была закрыта снаружи. Окон не было. ФАРСА не было. Оставалось ждать.

+ + +

В эти недели ожидания он и создал свои ставшие потом знаменитыми картины из изоленты. Он лепил ленту на белые известковые стены. Получались автопортреты, скрещение судеб, тени XX века.

Как-то, еще живя в России, он видел эмблему рубрики «XX век в лицах» в газете «Известь». Художник нарисовал цепь времен, ее разорванные звенья, в них крестик становился ноликом. Это смысл бытия.

В подвале на стенах он продолжал рисовать автопортреты, ибо он и был связующим элементом мира. Другого мира пока никто не создал.

Исследователи найдут много толкований Изоленте, но никто не знал, что в его изображениях присутствовала тоска по Изольде и прощание с ней.

Вскоре Изолента кончилась.

+ + +

Он почти ослеп и побледнел от темноты.

Вдруг дверь распахнулась. Ввалилась толпа репортеров, поклонников и сам художник, владелец подвала: «Вот в этой дыре я начинал!»

Тут все заметили картины на стенах.

«Шедевры! Почему вы от нас их скрывали, маэстро?»

Художник потупился, но не отрицал. Шквал восторга!

Крестика никто не заметил. Он улизнул в открытую дверь. Воля дороже славы и авторства.

+ + +

К ней он не вернулся. Пошла ты крест-накрест! Абсолютный салют.

+ + +

ОБЪЕКТ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ К СОХО. ЦЕЛЬ НЕ ЯСНА —
НОЛИК.

+ + +

Слоняясь бездомный, как-то на уличной афише он узнал свой изопортрет. Зашел на выставку в Сохо.

Растолкал локтями толпу ноликов и пробился к картинам. Он был так грязен и плохо одет, что его принимали за миллионера. Как из зеркала, со стен на него глянули его отражения.

«Я знаю автора!» — блеснув в толпе, голубые нолики округлились от возмущения и восторга. Ах, ты тоже наткнулась на афишу и прикатила. «Я знаю — это Крестик рисовал. Вот его отпечаток на стене»... «Ой!» — сказала Оль. Оказывается, крестик нечаянно уколол ее. «Да вот он и сам. Явился. Запылился. Сравните!»

Эксперты сравнили.

— Да, это он!

Такое началось! Все кинулись к картинам.

Крестик протянул ей руку. В суматохе они выбежали на улицу.

+++

Он обнял ее за округлые плечи. Вон они идут по солнечной стороне Грин-стрит!..

Слившиеся крестик и нолик — собственно, ничего больше и не существует на свете.

Хеппи-энд?

+++

«Не!» — прогремел с небес до боли знакомый глас. Х...энд.

Все потемнело. Заслонив тазом солнце, с парашютом на них

с небес

спускалась

Изольда Мешалкина.

Она была одета в тельняшку десантницы. Юбка-варенка, греза Рижского рынка, служила ей куполом. Колготок она, видно, так и не достала. Из нее угрожающе сыпались листовки, которые относил в прерии и пампасы. Как бы она ни укололась о шпиль Эмпайр Билдинг!

+++

— Не! — Изольда бросилась на Оль.

Та увернулась. Эмпайр покосился от промахнувшегося удара. Возник пожар в лифтах. Новый разбег. Оль подсекла ее подножкой. Пробила до метрополитена — и снова в бой!

Изольда протянула к Оль свои справедливые руки. Двойной Нельсон. Оль применила «Леди Гамильтон». Но поздно!!! Вот она уже не дышит в мощных славянских объятиях.

— Не...

...ненаглядная! — Изольда вlepила в ее испуганный нолик засосный поцелуй.

— Я люблю тебя. Давай дружить странами. Сыр. «Дружба»!

Уимен либ. Махнемся колготками. Окажи мне гуманитарную помощь!

Полосы тельняшки покраснели от радости, как полосы американского флага.

— «Долой стереотип врага!», «Да здравствует стереотип друга!», «Счастье — вне колготок», «Сыр “Дружба”» — это кружатся счастливые листовки.

Шурша по опавшим листочкам, две женщины уходят, взявшись за руки.

ОЛЬ + ИЗОЛЬДА = НАВЕКИ

Оль и Изольда уходят за горизонт. Их уже не видно. А крестик? О нем забыли?!

+ + +

Крестик опять остался один.





Крестики везде! Мы, нолики, должны быть бдительны. Учитесь распознавать.

Почему «Аргументы и факты» рассылаются неразрезанными? Разверните и вы увидите большой крестик, образованный из сгибов. Ежедневно тридцать миллионов крестиков проникают в наши квартиры.

Лучшая организация ноликов — танковая гусеница или БТР. Но не дай бог, если за рулем окажется крестик.

Врага можно распознать по тому, как он шнурует кроссовки. В шнуровке таятся крестики, по четыре на каждой ноге. А что означает само слово «кроссовки»? «Кросс» — в переводе означает «крестик». Все вместе значит: «крестики — совки». Это оскорбляет Строй.

А футбольный матч? Вы видели, как крестики избивают ногами нолика?! (Если поймают.)

По телевизору при свете прожекторов под каждым из так называемых игроков видны темные крестообразные лучи. Вы думаете, это играют люди? Это крестики играют между собой. Мне, например, вчера крестик шину проколол.

Помню Буденного. Два воина держали его за концы усов. Маршал перекувыркивался через усы, как через перекладину. Вот это был крестик! Но, когда крутился, становился ноликом.

+ + +

Мы помним, как тюремная решетка создавалась из крестиков. Мы считали, что она распадется опять на крестики. Ан, нет! Она так срослась, что распалась кое-где на квадратики.

Квадратики низколобы, замкнуты, хорошо упакованы. С ними не поиграешь в Рэндзю. Они повторяют квадраты холодильников и телеэкранов.

Я в детстве ловил крестиков и отрывал им крылышки и ноги.

Ловите крестиков и ноликов и распрямляйте их в прямую линию.

Душа имеет форму нолика. Поймайте человека. Утопите. На гладкой поверхности воды появится нолик.





+++

Факс на Москву был перегружен. Грузили электронику, чемоданы с колготками, «тойоты». Крестик прикинулся металлическими уголками на чемодане. Когда в Шереметьеве соскочил с чемодана, чемодан развалился.

+++

Пока он отсутствовал, все захватили нолики. На перекрестках полки лежали нолики, нолики были в карманах и головах сограждан, шланги на бензоколонках были завязаны в форме ноликов.

+++

Крестик основал партию поперечников. Он всегда имел перпендикулярное мнение.

Когда участники митинга прижимались к металлическим ограждениям, поставленным милицией на уровне пояса, они становились крестиками.

Нолики кокард.

+++

Крестик пил чай с сушками. Связка сушек на бечевке — прогулка заключенных ноликов.

+++

Нолики и крестики постоянно пакостят друг другу, устраивают розыгрыши.

+++

На углу ул. Горького стояла «Чайка» с нулями. Крестик решил, что это туалет. Зашел. Когда вышел, его арестовали. С тех пор он не доверяет ноликам.

+++

Крестик сидел на стуле. Вошел начальник. Из ноликов, конечно. Сел на стул. Уколотся. «Как бы СПИД не подхватить!» Крестика выгнали.

+ + +

Ну, как ударишь нолика? Кулак проваливается.

+ + +

Решетку расформировали. Демобилизованные только разводили руками.

+ + +

Сколько минусовой энергии в нашем доме! Когда крестик поселился за стенкой, предметы пошли двигаться. Такой полтергейстик начался! (—) — это полкрестика. Вот плюс и минус и образовали полторакрестик...

+ + +

Крестики и нолики, подписывайтесь на журнал «Ю»!
«Ю» — это полукрестик + нолик.

+ + +

— Но ведь антеннка не только принимает передачи, но и может посылать твои звуки в эфир. Спой, крестик, не стыдись! Так он стал певцом. Нолик записывал его. Тексты песен крестика мы опубликуем в след. выпуске.

+ + +

Нолики решили осудить крестика, пришить ему дело об оскорблении собой Креста. Пришли к Старцу. Старец глядел в телевизоре мировой чемпионат по Рэндзю — древней игре в крестики-нолики. Он пристыдил доносчиков: «Разве шахматы унижают сан Королевы или честь офицера? Разве вы сами не пользуетесь знаком крестика, когда плюсовываете барыши? Не кощунствуйте, малограмотные! Разве четырехлучевой крестик на лесном паучке похож на православный Крест с перекладиной о шести завершениях? Вы по-большевистски и компьютеры хотите запретить? Будьте патриотами. Чем доносы писать — тренируйтесь! Организуйте Национальную сборную по Рэндзю, древней игре умных и благородных. А то японцы нас и тут обошли».

Нолики укатились.

+ + +

— Играть в эту Рэндзю? В размазню? Вот в резню — с удовольствием.

— Зюзю поигрывает в Рэндзю.

+ + +

Невидимые игроки Рэндзю двигали фишки. Мы, фишки, понимаем удачные или ошибочные ходы, но смысл игры нам неясен.

Но все вокруг обретает смысл — и таежные просеки, пересекающие трассы, и кольца рвов вокруг древних замков, и вошедшие в нашу жизнь круги стадионов, и Южный крест, занесенный от нас за горизонт невидимой рукой, — все имеет тайное движение и неясный смысл.

+ + +

Рэнзю, или Рэндзю (*японск.*), — означает также нанизывание жемчуга, цепь ассоциаций, особый жанр средневековой японской поэзии и обозначается крестообразным иероглифом.

+ + +

Крестик победил Наполеона. Тот скрестил руки на груди. Наполеона давно уже нет, а крестик остался.

+ + +

Крестики и нолики в бескозырках и со скрещенными пулеметными лентами взорвали храм и построили бассейн.

+ + +

Нолик сидел в кресторане. Крестик нес ему над головой бутылку шампанского на подносе.

+ + +

Баба сидела на чайнике. Чайник рифмовал. Он писал в стол. Она подтирала.

+ + +

Нолик пришел на стадион.

— Вы в ложу прессы?

— Нет, у меня постоянный пропуск на табло.

Счет оставался ничейным, пока он не спустился в буфет.

+ + +

Белая «Чайка» мылась в ванной. Золотые зубы сняла и положила на умывальник. Крестик тогда дежурил решеткой в сливном отверстии. Его заткнули пробкой.

+++

Не ставьте цилиндр вверх дном! Согласно квантовой магии, находящемуся в нем человеку придется стоять вверх ногами.

+++

Пушкин стоял за Макдоналдсом. Чтобы скоротать вечность, он читал Хераскова. «Merde, — думал он, — какое г..!»

Шла приватизация. По нитратопестицидным полям шел крестик за лошадью. Лошадка роняла ароматные нолики с золотыми чешуйками овса.

«Говно, — в слезах от счастья изумился крестик, — какое говно!»

+++

«Ишь, зеленый, как доллар», — подумал на Пушкина деревянный нолик и покатился дальше.

+++

Пришла эпоха рыночных отношений. Крестик пошел работать весами на Черемушкинском рынке.

Они с ноликом основали СП. Вступили в Клуб миллионеров. Собирались в отеле «Маджестик». Воду в отеле пускали на полчаса в сутки. Поэтому ванную наливали шампанским. Миллионы пузырчатых ноликов щекотали кожу, голубели на татуировках. Закусывали яичным мылом. Мокрые полотенца досуха высасывали гости Клуба.

Во время игры в гольф нолику приходилось трудно — в него закатывали мяч, считая за лунку.

Ели на джинсовой скатерти. Гофрированные нолики венчали бутылки с «Жигулевским». Печень трески на блюде имела дистанционное управление. У скатерти урчало в джинсовом животе.

Обсуждали кандидатуры. Нолик попал в десятку. Крестик вошел в сотню.

+++

Он вошел в Сотню. В купюре было просторно. Огляделся. Вошел в коричневый деревянный Кремль, прошел по деревянному настилу набережной.

Дерево отсырело. Все кишело белыми водяными знаками. Чтобы не подожгли, наварное. Текла деревянная вода. По ней, как луна, плыл водяной профиль.

Крестик прыгнул с моста. Поплыл брассом. Когда перешел на

кроль, наблюдающий нолик решил, что он изображает фашистский знак.

Мокрого, его привели во дворец. В дубовом кабинете за столом восседало пресс-папье. Да это же его младшенькая дочка. Помните, что работала вазочкой в кафе? Полнолика-полкрестика. Теперь она перевернулась ножкой наверх. Стала полнотела, полнолика. Промокала в офисе важные бумаги. Здравствуй!

Не глядя, она промокнула крестика.

Он впрессовался в купюру, стал частью системы, прослужил в ней, проходил по людям, посмотрелся всякого, пока купюры не обменяли.

+++

— Здравствуйте, мы — пружинки.

— Вы сестры?

— Нет, мы жены.

— У нас один диаметр, одна судьба. Он любил нас, переходил с одной на другую. Потом раскрутился, оторвался и улетел в Америку.

Мы могли бы работать в баре винтовой лестницей.

+++

Крестика поймали, как муху, в кулак. Он вылез кончиком в щель между средним и указательным. «Кукиш!» — закричали. А он просто свободы хотел.

+++

Чтобы хоть как-то окрасить их жизнь, он пытался хотя бы рассмешить их. Он перекувыркивался: «Разберите, где у меня верх, где низ? А где у нолика?» Шутки были дурацкие, но у кого-то в уголках глаз шурились крестики смешинок.

+++

На углу ул. Димитрова стоял каменный полкрестика, в вытянутом перед собой кулаке он сжимал за горлышко невидимую бутылку. Хотел открыть без штопора, ударом дна.

+++

Крестик предложит разделить Союз писателей под прямым углом на четыре части: Союз-1, Союз-2, ПЕН и Союз-5, который еще не сгорел на орбите.

«С одной стороны, Красный Крест и Полумесяц утрачивают изолированные отношения, включаясь в некоторую стерео-

типную синтагму, с другой стороны, рождается парадигма...» (Ролан Барт. «Воображение знака», с. 249.)

Барта он купил случайно. На обложке в овале была фотография пародиста А. Иванова, который при рассмотрении оказался Бартом. Бартячейки распространились по всей стране. У одного в наушниках звучало: «Надежды маленький, о крестик...»

+ + +

Она прыгала ласточкой со средней площадки вышки. Он с верхней площадки — солдатиком. С пляжа казалось, что траектории их на мгновение крестообразно пересекались.

+ + +

Крестик встретил молодую березку. Обнял ее и свел пальцы за ее спиной, окаменев от восторга. Получился крестолик. Перстенок с продольным камнем. О жизни крестоликов мы расскажем в следующем выпуске.

+ + +

За круглым крестоликом — «нолик сверху и четыре ножки снизу» — приятно посидеть в кафе.

+ р р

Родословная крестиков



+ + +

Человек произошел от обезьяны. От кого произошли крестики? Из человека. Если покойника посадить в землю (и поливать), вырастает крестик.

Но многие считают, что они внеземного происхождения.

+ + +

Если все крестики возьмутся за руки и встанут в цепочку, то шеренга их протянется не только от Вильнюса до Таллина, но даже от Углича до Чикаго.

+ + +

Если мы прочитаем родословную крестика от сегодняшнего дня назад, налево, то мы обнаружим там поэта Китса и остатки какого-то фейерверка. Видно, его прадедушка Фейер сторел, от него осталось «ерк». Другие считают, что это имя «рек». А фундаменталисты прочитали не «Китс», а «скит» и прорабатывают версию, что предком был поэт «К.Р.», великий князь.

+ + +

Когда на крестиков были гонения, крестик купил тросточку. И прикинулся пятиконечной звездочкой.

Тетя крестика была балерина.

Она стояла на одной ноге на углу ул. Горького на крыше над магазином «Армения» и, подняв под прямым углом другую, делала фуэте. Потом, наверно, устала, вышла замуж и уехала в Эривань.

— Извините, я тороплюсь.

Он только развел руками.

Мы потом расскажем, куда он спешит.

+ + +

Нолик хохотал до колик.

+ + +

Крестики чистят пестики.

+ + +

Пара ноликов — параноиков.

+ + +

Толик сказал на фейерверк: «Крестики писают».

+ + +

Когда Сталин давал клятву Ленину, слова на его усах замерзали, как белые крестики.

+ + +

Дед крестика был драгун. Казак разрубил его наискосок, пополам, на два прямых угла. Крестик сколотил из них раму для портрета.

+ + +

Крестика-собачку можно отличать по одному кончику, загнутому колечком вверх.

+ + +

На все четыре стороны разрывает сердце центробежная сила любви. Прежняя тянет, семья тянет, Кристина тянет, а пуще всех — Неизвестная. Закон тянет, ракет тянет, ОБХСС тянет, знакомые тянут — себя не хватает.

+ + +

Мы валялись, утопая в дюнном песке.
— Ой, что-то трет спину.
— Посмотри, это меридиан и параллель...

+ + +

Когда женщина дает ему советы, он затыкает себя с четырех сторон.

+ + +

Три крестика сверху и один снизу. Мельницы и Дон Кихот. Дон Кихот победил мельницу. Построил АЭС. Крестиков прибавилось.

+ + +

Повстречался крестикам шарик. Он съел их. Он съел их так много, что они кололись, высовываясь из пуза. Звали его крыжовник.
— Вы муж или жена?

— Нет, я само воссоединение, я знак «плюс». Например, Джон + Дарья, Владлен + Пегги...

— Им — да, а вам — не положено.

Заплакал крестик: «Зачем же я полгода отмечался?»

Только развел руками.

+++

Крестик вместе с Лениным нес бревно на субботнике. Потом к их шеренге приплюсовалось так много крестиков, что на карточке не умещалось. Потом все разбежались.

+++

Взяли крестика в армию. Строевым шагом у него отлично получалось. «Строевым, кругом — арш!» Взяли крестика в кремлевские курсанты.

+++

Крестик испугался СПИДа. Пошел в аптеку. Купил.

— А на какой кончик надевать?

— А вы читали басню «Мартышка и очки»? Примеряйте экспериментальным путем.

+++

Когда крестики выбирали министра водного хозяйства, он стоял на трибуне и показывал, растопырив руки: «Во какую рыбу ловить будем!»

+++

Пришла к крестiku в гости женщина.

— Крестик, можно я на тебя кофточку повешу, только ты не двигайся, а то кофточку сомнешь.

Разделась. Легла. Подождала. Уснула.

Крестик до утра простоял, боялся пошевелиться.

+++

Когда крестики объявили забастовку, все тетради «в клеточку» стали — «в линейчку».

Мало того. Все ткани распались, и все люди на улице оказались голыми. Только на одной женщине осталась красная кожаная юбка. О чем она очень жалела.

+++

Один крестик может одновременно:
пожать руки сразу четырем избирателям,
или
снять четыре телефонные трубки,

или
снять две трубки и пожать руки двоим,
или
на приеме взять виски, шампанское, бутерброд с колбасой
и сосиску,
или
указать народу одновременно четыре направления пути вперед.

Как-то ехал крестик по ул. Горького на белой «Волге». Поднял глаза на тетю. Увидел — смутился.
Крестик покраснел.
Так произошла «Скорая помощь».

+ + +
Крестики очень любили картину «Бурлаки на Волге». Они так долго изображали ее, что получилась колючая проволока.

+ + +
Напился крестик, пришел домой на руках.
— Ты что, знак умножения?!

+ + +
Враги у крестика — нолики. Это ему бабушка говорила.
Не послушался крестик. Женился на нолике.
Получился оптический прицел.

+ + +
Когда жена бросила крестика и уехала в Сочи, он глядел вслед из оконной рамы и плакал.

+ + +
Крестики не умели ни читать, ни писать, но они любили подписывать приказы. Известны три романа и семь мемуаров, подписанных крестиками.

+ + +
Когда нолики окружили крестиков, двое оставшихся встали спинами друг к другу с автоматами наперевес.

+ + +
Интеллигентные крестики рождаются из ротиков. Дамы крестят ротик, когда зевают. Одна женщина в день может произвести до трехсот мелких крестиков.

+++

— Вы крестик справа налево или слева направо? Польский или русский? Если да, то мы вас расстреляем.

+++

Белые крестики забили гол. Обрадовались, прыгнули друг на друга — «куча мала», обнимаются, руками машут.

От радости к небу полетели.

Снежинка.

+++

Есть летучие крестики, у них шесть конечностей. За счет двух крыльев.

Фундаменталисты создали крест-эталон.

Если крестик чуть короче эталона, это — масон.

+++

Приехал Кестлер в Россию. На таможне его не изъяли.

— Я хотел бы в Суздаль.

— Пожалуйста. Наверное, политический изолятор посмотреть?

— Нет, я переводил стихи «В России живу меж снегов и святых».

Розовый такой. Жена молодая.

И «Первый лед» перевел. Миллионы кристаллических крестиков замерзли на окнах телефонной будки.

— Да не Кестлер! Это приезжал Роберт Конквист. Мы с ним знакомы по Вашингтону. И «Первый лед» переводил. И «Большой террор» написал. А все остальное правильно.

+++

Когда нолики победили крестиков, они положили пленных парами, в затылок друг к другу, в два ряда. Получилась железная дорога. По ней ездили нолики.

Потом крестики победили ноликов. Они гуляли по платформе, ездили на ноликах, выглядывая из окон вагонов. Железную дорогу они оставили себе.



Приснись, ресничка (сценарий)



+ + +

Летел крестик по небу. Навстречу — ресничка.

— Давай жить вместе.

— Только чур ножкой не дрыгать. И не подмаргивать всем встречным.

+ + +

Смотрите! Летит по небу пятипалый крестик сирени.

+ + +

Как летали они! Она часто вздрагивала, влажнела — но это были слезы счастья.

Два раза во сне они слышали мелодию из «Крестного отца».

+ + +

Она рассказывала ему свою жизнь. Как после школы пошла в письменоски. Как сорвалась, как падала, как ее, мелко-мелко перекрестив, кидали кому-то за пазуху.

«К письму! К письму!» — и на зов ее летели крест-накрест клеенные синие конверты.

Он ревновал, но еще крепче срастался с ней.

+ + +

Однажды он проснулся — нет реснички. Может, она в ванной?

Сливают избыточные слезы? Подождал — нет нигде. Слева болела ранка разрыва.

+ + +

Журавли, вы не видели моей реснички? Кот на крыше, ты не видел реснички? Веник, ты не видел моей реснички?

Издали доносилось из «Крестного отца».

Пошел крестик по стране.

+ + +

Он шел по городкам, которые кишели крестиками, как вязаные носки или муравейники, он шел по штопаным деревуш-

кам, по полям, вышитым васильковыми крестиками, по нарядным толпам тротуаров, как шарфы «Адидас».

Он шел и только разводил руками.

«Выневиделимоейреснички?»

Но никто не знал о ресничке.

+ + +

Крестик пришел к Эрнсту Неизвестному. Скульптор разорвал ему грудь пополам, всунул нолик, а ноги закрутил плоскогубцами. И повесил его на стену в Ватикане.

— Ваши святейшества, я извиняюсь, но Вы не видели моей реснички?

+ + +

Крестик влетел в окно гостиной. Он запел, он взял самую высокую ноту. Он пел о ресничке. Люди бросились к нему, захлопали в ладоши. Хлоп! Хлоп! «Малярный!»

«Аплодисменты опасны», — решил он. Полетел дальше.

+ + +

Крестик, как лунатик, залез на крышу. Там много крестиков стоит. Идет, руками балансирует. Навстречу влюбленный голубой кот.

— Крестик, я на тебе погадаю. Любит — не любит, плюнет — поцелует.

Оторвал руки-ноги. Осталась от крестика одна точка.

— Ничего, опять отрастешь. Зато ты помог другу.

+ + +

Пришел крестик к Ростроповичу.

— Маэстро, скажите, пожалуйста, почему я всю жизнь по пузу смычком вожу, а музыки не получается?

— А Вы пробовали натирать себя канифолью?

— Извиняюсь, кстати, авыневиделимоейреснички?

+ + +

На дубу сидели две черные «Волги», хлопали дверцами, каркали.

— Крестик, иди к нам, будешь работать соединительной штангой на руле.

— Ну да, вы же обломаете мою четвертую ногу. Ведь вам для руля нужна трехлучевая перекладина. Извините, авыневиделимоейреснички?

— Кр! Кр! Жми по трассе до перекрестка, а там направо, в смысле налево, за ГАИ.

И засигналили ему вслед музыкальным клаксоном из «Крестного отца».

+ + +

Когда он очень тосковал, то вставал на перекрестке и играл на флейте. Из-за холма ему слабо отвечало эхо из «Крестного отца».

+ + +

Джойс назвал женщину флейтой с тремя дырками. Крестик не считал. Балдел от музыки.

+ + +

Крестика поймали. Завязали руки над головой. Сковали кисти рук и ног. Бросили на асфальт. Он пытался высвободиться, раздувал кольцеобразно локти и колени — и так до бесконечности.

Бесконечность — это скованный крестик.

+ + +

В вырезвителе крестик сломали руки и ноги. Загнули.

— Мы докажем, что фашист!

Какой он фашист? Просто перебитый.

+ + +

После этого крестик стал икать. Он всю дорогу икал.

— Я крест-ик, — знакомился. — Вот те крест-ик...

+ + +

У подмосковного шоссе на постаменте стояли противотанковые ежи.

— Группенсекс крестиков, — сказал нолик. Он загрустил.

+ + +

Долго шел он. И он только разводил руками.

+ + +

В центре Вселенной возлежал Крестный Отец на красном складном швейцарском ноже. Под ним таились четыре лезвия из привилегированной стали, ножницы, крылья, пила, штопор, лупа и пинцет для ресниц.

В экстренных случаях КО вынимал из-под пурпурной полы отвертку для магнитофона (с крестообразным сечением), как корень воспроизводства.

Звучало из «Крестного отца».

+ + +

Если магнитофонную отвертку нашинковать мелко-мелко, то получаются отличные стальные крестики. Они годятся в пищу. Они не содержат пестицидов. Они сохраняются в организме человека 170 лет, не ржавея. И подают сигналы.

+ + +

Юо возлежал и рассматривал в лупу ресничку, которая танцевала перед ним на хрустальном шаре, нет, на круглой слезе.

+ + +

— Авыневи... Отдайте, пожалуйста, мою ресничку!

— А это еще кто? Крестьянка! Тоже мне сюрприенц! Мы уже давно завершили раскрестикование страны. Послать его на лесозаготовки.

+ + +

Привилегированные схватили. Последнее, что он видел, — ресничка поскользнулась и упала со слезы. Ее подняли щипчики для ресниц.

+ + +

Вместе с ним миллионы крестиков пилили деревья. Крепчали морозы. Они превращались в кристаллы. 20 лет прошло. 20 зарубок оставил крестик на столбике.

+ + +

Два раза видел, как в синем небе пролетал красный нож, растопырив лезвия.
Звучало из «Крестного отца».

+ + +

Освободился. Пошел по стране. И только разводил руками.

+ + +

Юо возлежал на красном ноже. Перед ним плясала ресничка, окруженная хороводом из 18 дочерей. Ах, б...!

Юо навел лупу на пришельца. Крестик почувствовал, что его руки гигантски стали расти, как лучи у прожектора или штанги у строительного крана. У него руки великана!

Бац! Это крестик ударил по красному ножу. Лупа — вдребезги. Наш герой опять стал крохотным.

Сволочь! Ублюдок! Я лично раздавлю его. Посягнул на красную систему.

+++

Поединок! Поединок! Сверкнули ножи, ножницы. Рев из «Крестного отца» в 100 децибелов. Все удары нашего крестика ломались о красную броню. Отсечены две конечности нашего героя.

У КО есть коронный удар. Он ставит жертву к деревянной стенке, разбегається, выставив главное лезвие, делает через голову мертвую петлю — и бьет насквозь, вбивая несчастного вместе с лезвием на ту сторону стенки.

Конец кресту! Он вжат в стенку. Коронный!!!

Но что за голубая молния метнулась поперек броска?!

Ты, Гол. кот?! Ты заслонил собой товарища. Пол-лапы нету!

Но удар ножа отклонился на каких-то два миллиметра. Крестик спасен. Нож по рукоять вошел в стенку, застрял. Ресничка моя, что ты моргаешь мне? Понял! Собрав последние силы, крестик прыгает на пытающегося высвободиться КО и впивается в его соединительный винт. Вывинчивает его!

КО распадается на элементы.

+++

— Ура! Мы всегда были за демократию и плюрализм! Тиран умер — да здравствует новый Крестный отец!

— Нет, друзья, я только крохотный крестик. Подойди, Гол. кот, обопришь на меня.

«Мы еще не квиты, — сказал Гол. кот. — Я тебе должен еще три лапы».

— Я только умею играть на флейте. Я отойду на минутку, успокоюсь. Я не крысолов, я крестик. Я сыграю вам и уйду.

— Возлюбленный, я была в плену, я всю жизнь любила только тебя. Я никогда ни с кем так не летала по небу, срастаясь в пятипалый цветок сирени.

— И я люблю тебя. Я только хотел, чтобы ты была счастлива. Я ни с кем так не летал, как с тобой, срастаясь в пятипалый цветок...

Он заиграл на своей флейте. Никогда я не слышал такой флейты. Когда звуки смолкли, все оглянулись, утирая слезы, и стали искать крестика.

Крестика нигде не было.

+++

Говорят, его видели в Ижевске. Иногда его флейту транслируют по радио.

+ + +

Когда крестик умер, его закопали в землю.

— А вдруг мы его вверх ногами закопали? Выкопали, перевернули вверх ногами. Снова закопали.

— А вдруг мы его вверх ногами закопали? Выкопали, перевернули вверх ногами. Снова закопали.

— А вдруг мы его вверх ногами закопали? Выкопали, перевернули вверх ногами. Снова закопали.

— А вдруг мы его вверх ногами закопали? — Пусть живет!





+ + +

— Лягте на живот, расслабьтесь, ноги на уровне плеч. В вас вставят новогоднюю елку.

Не двигайтесь. А то с нее крестики осыпаются.

+ + +

Бегут два крестика, взявшись за руки.

Навстречу четыре звездочки.

— Вы — коньяк?

— Нет, мы — четырежды герой.

— Очень приятно.

+ + +

Крестики постоянны в любви. Крестик поднял возлюбленную на руки. И не знал, куда положить — все было недостойным ее. Так они и умерли — Она на руках у Него.

Крестик — памятник вечной любви.

+ + +

Крестик — это поза любви № 176 по хатха-йоге.

+ + +

Если раскрутить крестик пропеллером, получится нолик.

+ + +

В женщине начало начал. О — это не зеркало Венеры. Это поцелуй крестика и нолика.

Или Чарли Чаплина и, как заметил поэт, Великой Екатерины О?

+ + +

Казанский собор — крестовый паук архитектуры. В паутине проводов.

+ + +

Если крестик в шляпе — значит, это огородное пугало.

+ + +

Крестики любят играть в городки. Очень приятно, когда руки-ноги разлетаются.

Любимое их чтение — кроссворды.

+ + +

Вы слышали — в лесу поют кресты?

+ + +

Говорят, Керенский переодевался медсестрой. Нарисовал на лбу красный крестик. И убежал. Сам Александр Федорович отрицал мне это.

Говорят, он переоделся матросом. Надел нолик бескозырки. И убежал.

Но это тоже неправда. Почитайте Берберову.

+ + +

— Крестик, где выход?

— Вон там!

+ + +

Крестик встает из-за стола, показывая нам, что аудиенция окончена.

+ + +

— Чемпион Икс переплыл Стикс.

— Крестик-с?

+ + +

— Это все не поэзия, не проза — это бред какой-то!

Крестик только развел руками.

+ + +

Крестикам разрешают выступать по телевизору. Но есть специальный редактор, который считает количество лучей у звезд на экране.

У кого шесть лучей — диверсанты.

+ + +

Когда большой X кричал на крестика, он думал, что крестик — буква, а это был другой знак.

+++

Летели два крестика навстречу друг другу. Встретились, схватились за обе руки — квадрат слиянъя. Ногами болтают. Ириска в целлофановом фантике?

+++

Полкрестика умеет делать «шпагат», верхняя половина на полу, нижняя — вниз головой.



Устричный бал



000

Вьюга, вьюга над нашим голодным городом, миллионы мятущихся крестиков — сплошная Варфоломеевская ночь!

000

В зале жар софитов. На концерте нолик взял самое верхнее «О-о-о!». Крестики повскакали с кресел. Объявили буфет. Все устремились к устрицам.

000

«Почему, — думал нолик, — спонсоры присылают нам небом эти сожмуренные веки моря, усладу римлян, а не сардельки, скажем?»

000

И над всем стоял гул опустевших поющих раковин, эхо влюбленных стонов, шепот волшебных кифар, III Рим, распадаясь, ловил позывные Рима дохристианского. Раковина Лужников была только створкой второй Галиполийского стадиона. Гул между ними наполнял и пространство и время. Вскроем черные ящики тайны!

000

60 000 размороженных ноликов на столах удлиненно лежали, женственно створки раскрыв.

000

Вскрывали консервными ножами, открывалками для пива, а то и об край стола. «Ишь, они на магнитках!» Были секретки. Пищали устрицы.

000

Вскрыли раковину. Из нее вылезла «Весна» Боттичелли. Съели.

000

Вустрицы — те же пельмени, но еще жестче на зуб. Тщательно пережевывайте скорлупки! Не сглатывайте целиком.

000

Пара влюбленная в раковину залезла, словно босховский «Сад Услад». Створки дрожали ритмично. Ступней торчали две пары. Одна была в красных носках. Их тоже съели.

000

Она меня укусила! Ошпарила, как медуза.

000

Писатели подоспели к столу прямо от жаркого боя. У одних скулы были накрест заклеены полосками пластыря. Синяк под глазом ноликов отличал. По загипсованной руке на белой привязи можно было узнать полкрестика.

000

Отвратный поэт, спев о страдании народа, дюжину доедал. Ешь, ешь, страдалец, они абсорбируют химикал моря...

000

Парламентарии не уважают ТВ. Самый достойный из них во всех домах слизывал телевизионные линзы. Видно, как «Вести» в печенке сидят у него.

000

Трибун стоял у стола в поддетом бронежилете. Скорлупки луща, как семечки, он зубы сплевывал на пол, на тогу и в курчавые нолики бороды. Ах, устрицы, фряжские семечки! Вернее, он был пол-Трибуна. Нижняя половина, скрытая под столом, уже без бронештанов, еще не отделилась, но уже принадлежала Украине.

000

А рядом заглатывала белокурая вице-певица. С каждым глотком на шее ее появлялась еще жемчужина. Южная половина ее тайно принадлежала демократии. Вилочкою-трезубцем отделив живые тельца, она ловко открывала хрящеобразные присоски, которыми несчастные держались за раковины.

000

Вы глотаете вытекшие глаза Вечности, мадам!

000

«Устрицы страсти способствуют, — подкатывался Трибун. — Тьфу, какая вкуснятина! Мы, гуманисты, их не убиваем — мы их глотаем живьем. Помню, на флоте, — в Крыму, от римлян остались колонии мидий».

000

Нолики считают, что крестик — индивидуалист. У него и в числителе единица, и в знаменателе единица.

000

«Вот я и говорю, — соглашалась вице-певица. — Ой, стресс, — продолжала она по-английски. — Я первый раз, я такая неопытная. Перед концертом обычно я яйца глотаю».

000

Нолик катился, как между урнами, между отделившимися нижними половинками. Как запрограммировал Гоголь нас своим Носом! Головы, локти, пальцев фаланги суверенно разливали по паркету.

000

С голодухи и устрицей осквернишься! Нолик давно не обедал. Он подкатился к беседующей паре и привстал на цыпочки, рот восхищенно открыв. Вице-певица ласково глазом стрельнула, капнув лимоном, вилокю ткнула в него. Она проглотила нолика.

000

«О-о-о!» Так глубоко не удавалось проникнуть ни одному отоларингологу. Он пролетел мимо волшебного язычка, миновал серебряное горлышко. Он оказался в святая святых. Видно, Сальвадор Дали уже побывал там когда-то — как он точно изобразил красно-темный внутренний мир дамы!

000

Нолик спустился вниз по эскалатору. Навстречу ему поднимались пузырьки шампанского, аромат кольцеобразного лука и темнота желаний. Переливались жемчужины любви. Нолика, Муза, воспой! Ахиллесу такого не снилось...

000

Внутренняя жизнь насыщена. Он миновал митинг живых, ранее проглоченных моллюсков. Вот и переход.

000

В переходе торговали прессой. Газета «Попка Оля» стала национальным достоянием.

000

Один крестик стоял с пустым лотком. Он продавал надежду. Подходили с целлофановыми мешками. Туго набивали. Отглетали, как на воздушных шарах.

000

Купите «Воздух СССР», запечатанный в консервные банки! Взят до декабря 1991 г.

000

Почем репродукция «Устрица нашей Родины»?

000

Бабу с яйцами затолкали.

000

Гознак выпустил никелированные нолики с золотой серединкой. Достоинством в 50 руб. Нолик нарезал крутое яйцо ломтиками. Объявил по 70 руб. Расхватали.

000

Другой нарезал ломтиками замороженную бутылку «Лимонной». Хорошо попить чай с лимонными дольками!

000

А третий, наоборот, прикрепил к ломтику лимона ремешок и продавал как золотые наручные часы. Время было кислым.

000

Нет поясам невинности! Приобретайте секретки для жен и Прекрасных дам!

000

Справа на прессу напирали пикетчики: «Долой клубниченку! Черниченку долой!» Слева подпирали: «Хотим клубниченку! Черниченку хотим!»

000

Пресса умирала на полу, как в больничном коридоре. «Цензуры бы», — стонали худеющие толстые журналы. Отвратный поэт торговал крестиками под названием «Аксиома». Ах, Сиона?!

000

Бабушка вынесла часы-луковицу и плачущую нитку жемчуга северных рек.

000

С вывески «Чебуреки» отвалилась буква «Ч». «Чего реки?» — не понял нолик. А может быть, это была контора по переброске рек?

000

— Или это валяются раскрывшиеся створки гробов и покойники гуляют меж нами?

000

На лотках секс-шопа шевелились пневматические нолики.

000

На кафельном полу сидел товарищ и дул в раковину с надписью «Привет из Крыма», словно Тритон на мозаике «Триумф Амфитриты».

000

На бороздках раковин, словно на грампластинках, гул времен записался.

000

Конь-качалка стоял на полнолике. Всадники сменялись. Во время качки конь вздымался, как Медный всадник. Покачаться стоило жизнь.

000

Тут кто-то оценивающе взял нашего нолика за плечо: «Даю 500 деревянных!»
«500?! Никогда! Я не продаюсь!!» — завопил нолик.

000

«Что? Какие 500?! Разве я предлагал вам 500? — услышав, изумился снаружи Трибун. — Я увезу вас в Усть-Рицу, дорогая».

000

«Ах, это я не вам. Это мой внутренний голос, — извинилась вице-певица. — А в Усть-Рицу первым классом?»

000

Чревоушательница! Вокруг собиралась толпа. Трибун оттирал желавших.

000

Нолик в испуге продолжал свое сентиментальное путешествие. В набитых коллегами вагонах он неся по Большому кольцу. Мелькали станции. Несясь прозрачными туннелями, он имел возможность оглядеть противоречивый внутренний мир певицы. Как цветная проводка, мелькали капилляры. Как много она заглотала!

Желудок Ее принадлежал Украине. Сердце с красными любовными зарубками, работая локтями, бежало к центру. Сквозь сердце проходила трещина Империи. Печень тяготела к Джонни Уокеру, секс стремился к всеобщей демократии, мозги норовили утечь на Запад. Но почему-то никто не слал приглашения.

000

Пусто в желудке. Жуть! На сводах купола нацарапаны имена погибших узников. Дул промозглый ветер разочарования перестройкой. На стене висела красная схема разделки коровьей туши. Москва была очерчена кружочком. Молдова была отмечена тремя крестиками.

Как слезы, бежали нолики, были еще живые. Пели о прошлой жизни.

000

Как там наверху жизнь без нас?

000

На потолке он заметил трещинку с точками по бокам. «Боже! И Ей тоже резали аппендицит», — ужаснулся нолик. «Ты моя раненая раковинка!» Он заплакал от жалости к женщине. Слезы капали на стены желудка.

«Видно, опять я переела соленого», — сказала снаружи вице-певица.

000

Сквозь завораживающую мелодию внутреннего голоса, снаружи, из-за стен желудка и иных стен, гулко и глухо доносились голоса прошлой жизни, простуженный мужской бари-

тон и женский контральто, доносились обрывки светских речей, а дальше еще, из-за шатающихся стен роптал голодный город, гул катастроф, а за ним сперва неясно, но все отчетливей и неотвратимей вступал гул Судеб.

000

— С миром державным я был лишь ребячески связан. Устриц боялся...

000

— Вустрицы бывают разные — Белоны и Клэр. Белоны — плоские изумрудные аристократки. Они жили в устьях рек, устьяцы. Во Франции их классифицируют под номерами 00, 0, 1, 2... Римляне занесли устричную науку на берега Бретани. Марены — гигантские, соленые от моря, идут под № 00. На Руси водились речные. С замороженным жемчугом...

— Колбаски бы...

— Пруст-устрица подсознания. Прустрицы. Устмодернисты.

— Открываю футляр, а там две жемчужины.

— Читали, как «Огонек» разоблачил Мадонну? Оказывается, ее мать — нищенка на Савеловском вокзале. Вот из окна виден крестик с протянутой рукой.

— Для Запада все мы — страна нищих крестиков с протянутыми руками. А Запад для нас — нули в банке.

— \$ 25 000 000 000 : 315 000 000 = 80 долларов на рыло. Выдайте мне мои 80 зелененьких, и я пошел!

— Поэтому мы и не выиграли зимнюю Олимпиаду. Все наши отечественные лыжные палки имеют на концах крестик в нолике. А на нынешних состязаниях нам дали палки без крестиков. Вот и результат. Ну, ничего, в Барселону мы со своими лыжами приедем.

— Трибун, Ваше сердце в броне. Дать Вам консервный нож?

— Veni, vidi, vici.

— Потом все Белоны заболели и вымерли. Наверно, после повышения цен на нефть. Японцы стали искусственно выводить Клэров. Их раковины бугристы, цвета варенок. Устрицы содержат все ингредиенты.

000

Тут нолик вспомнил свое детство. Как его растили песчинкой в раковину. Как он рос в колонии, как ощутил себя жемчужиной. Как мечтал со сверстниками о будущем, присосавшись к столбу. Внимательные раскосые глаза склонялись над ним. «Рэндзю, рэндзю...» — запомнил он музыку таинственной речи.

УРКИ
СААЕ
ТСКР
РТЦО
ИУКГ
ЦТКЛ
ЫжзИ
ФІСЫ

Прабабушка рассказала ему, как Клеопатра растворила ее в уксусе и выпила. Грабители вскрыли гробницу, жемчужину освободив.

000

- Схлебывая, не порежьте губ!
- Мадам, это не устрица, а писсуар.
- Сэр, это не писсуар, а устрица.
- А вы куда? У вас в паспорте нет буквы «Р». Вы — Май, и вы, Июнь, тоже. Вам не положено. Пропускаются только с буквой «Р» в паспорте. Январь, апрель? Пожалуйста.
- Устин Устоевич, ваше здоровье.
- Надо же! Правый кабинет писателя опечатали ноликом, а левый скотчем, в виде крестика.

000

Нолик докатился до слепой кишки. Шеренга слепцов-крестиков брела гуськом, выставив перед собой вытянутые палки. Палки одних указывали налево, другие — направо. Обогнув их, нолик покотился дальше. Но сквозь потолок доставали голоса.

000

- В скорлупу бы залезть. Схорониться бы.
- Я полагаю также, что Рим должен быть разрушен.
- Вы были в Прадо? Там в зале Гойи на стенке черные ружья расстреливают белого испанского крестика.
- Прости, Рим. Какая империя рухнула!
- В Риме заложена смерть — РИМРИМРИМРИМРИ — МРИ...
- Крестики сдают свои шпаги на вытянутых руках.
- Ван Гог обожал устриц. Устрица — это ухо, наполненное слухом. Отрезав, он схлебывал музыку из ушной раковины.
- Вопросительные уши.
- Со стола и унести нечего.

- Среди них есть мини-мини. Я начал черную ножом вскрывать — как жажнет! Шесть пальцев оторвало.
- Открой капот — закипает!..
- Как не стыдно! Я контейнер ветчины украл, а они моллюсками балуются...
- Устричный бал — это «белая собачка», чтоб отвлечь внимание возмущенной общественности от главных преступлений либералов.
- Нолики и крестики, соединяйтесь в руль. Вырулим!
- Устричная зона объединяет страны вокруг раковины Черноморского бассейна — Турцию, Кавказ, Украину и Балканы.
- Живу я — ул. Устрицкого, д. 36 б. Жду.
- На сковородку их! На оладушки пустить. На белковый омлет.
- В Новом Орлеане их жарят с омлетом и сыром.
- О чем поют устрицы?

000

Смелее, нолик, вперед! А вот и сонная артерия. Ей снилась свадьба и крестик аиста над крышей. «Сплюсплюплю, — завораживал внутренний голос, — сплюсплюплюПЛЮС...» На глазах нолика родился жемчужный плюсКрестик. Крестики рождаются из снов.

000

Вот почему издавна в Англии «X» означает знак поцелуя. XX — ставят в конце письма англичане. Больше их количество заставляет покраснеть адресата. Крестик — эмблема любви.

000

Внутренний голос звучал все сладостней. Голова кружилась. Он понял, он постиг внутренний мир певицы. Как Ты добра и несчастна! Он полюбил Ее влажный, глубокий, доносящийся снаружи голос. Нолик покрывал поцелуями стенки Ее живота.

000

- Ах, я уже чувствую вас в себе, я ощущаю вас в глубине души, ах, ах, ах, — сказала снаружи певица.
- Я еще не там, пошли на балкон, дорогая.

000

Живот прогнулся, завибрировал, начал продавливаться внутрь, чуть было не раздавив нашего героя. Донесся лязг снимаемого бронжилета. «Сейчас начнется», — ужаснулся он.

000

Он едва успел выскочить наружу.

«О-о-о».

Снаружи взору его открылась победоносная картина. Никого не было. Все были съедены. На перламутровых доньшках раковинок отпечатались отражения бывших лиц.

Проглотившие их устрицы захлопывали створки и, отяжелев, расплзались. Ползли, освещивая фраками раковин. Они сухо шуршали крылышками, подобно тьме саранчи. Некоторые из них взлетали, но бились о стекло и со стуком падали.

Бедные крестики, нолики, раковины роковые!

Удар! Окно разлетелось вдребезги. В него из ночи съехала гигантская раковина маскировочной расцветки.

При ближайшем рассмотрении она оказалась гусеницей бронетранспортера.

— Товарищ Трибун, БТР подан!



Крестик в аду



Утром она сказала: «Заскучал ты чтой-то, отощал, в доме шаром покати. Взял бы банк, что ли...»

Он решил брать Банк памяти. Захватил с собой нолика вместо целлофанового мешка. Набрал факс.

Очнулся в банке нулевой формы. Она парила в пространстве — прозрачная, больше чем из-под томатного сока. Вся страна была под банкой.

Все было светло и прозрачно, но как во время белой ночи — тревожаще. Будто душа пыталась что-то вспомнить, но непонятно что.

Перед входом напирала толпа желающих. С наружной стороны по стеклу над входом было что-то написано. «ВАТ-СО...Н» — прочитал он полустертые буквы. «Что-то сыскное?» — подумал.

Внутри в прозрачных сейфах Памяти, как стопки тарелок, лежали нолики. Крестики были сложены в поленницы.

Сбоку все они имели форму минусов.

«История в минусе», — пояснил в мегафон до боли знакомый внутренний Голос. Антеннка, куда ты завела?

Все мучились чужой памятью. Ноликов мучили грехи крестиков, и наоборот. Нестерпимый свет познания. Тьма света.

Дон Кихота мучило, что он круглый, как ветряные мельницы. Санчо Панса каялся в избытке духовности.

Один минус метался под углом 40° . Два микроскопических нолика прилипли к нему с боков.

— Это тростиночка в «Зубровке» с пузырьками воздуха? — подумалось.

— Нет, это старушка-процентщица, — пояснил Голос, — она не спит, все мечется, мучается, что она убила Раскольникова. Другой минус оказался Министром пестицидов. Он лежал в виде рта со столовой ложкой. Он поедал натуральные удоб-

рения и выделял химические. Потом поедал и те, осуществляя круговорот в природе.

Плакал Смех. Скучала Судьба.

Крестик, уже хороший, растягивал гармошку. Он пытался делать это параллельно Земле. По мере того как он нажимал на кнопки клавиатуры, видно дистанционной, на Земле взлетали города и корчились землетрясения. Он плакал от ностальгии.

Снаружи толпа перла к входу. У одного в наушниках звучало: «надежды маленький, о крестик...» Охранник показал на надпись над входом «ОСТАВ...Н», — прочитал буквы наоборот крестик. — «Оставь надежду...»

— Боже! Так, значит, я в Аду! — понял он. — Но я же набирал Банк памяти!

— У вас ошибка в наборе, вы набрали лишний ноль. Это Ад, вернее, Чистилище. (Ах, зачем я брал с собой нолика, он опять сунулся и разыграл меня...) Видите, светло, как в Аду.

— Но я читал, что Ад имеет винтообразную форму, — продолжал он защищаться.

— Вон твой Дант, глуп как пробка. Ад, как и мысль, не имеет формы. Мы ежедневно вкручиваем штопор в твоего флорентийского дезинформатора. Ад — это духовная субстанция. Души и судьбы клиентов закодированы в имена.

Вокруг зевала Постистория. Постпустота. Рефлексируют нарцизины. «О, лбы», — бубнил новый философ.

НЛОлики готовились к отлету в Воронеж. Улыбки у них были дужками вверх, что наводило на жутковатые мысли.

Шулера Рэндзю готовили очередной чемпионат. Нолики тренировались делать переворот. Но как ни перевертывались, все оставалось прежним. Они были круглы и одинаковы со всех сторон. Рядом тренировались крестики.

— А ты что тут делаешь, Постирушкин? — Он увидел сына тети Иры, их школьной библиотекарши. Тот был в адидасах.

— Я работаю здесь администратором. — Это и был знакомый Голос. — Когда информация переполняется, я вырубаю ток, стираю память. И все превращается в точку. Ад — это точка. Хочешь, покажу, как это делается?

На стене царил крестообразный Рубильник. В лунном аду пахло «Черемухой».

«Поступательная история завершилась. В Постистории «я»

«не-я». Наступила высшая свобода — свобода от себя. Больше ничего не произойдет. Пастбища постбудущего. Единственно, что здесь запрещено, — это поступки.

— По стопке?

Выпили по нолику. По небу за стеклом гуськом летели крестики. Не понять куда. Сюда? Отсюда? Постутки.

— Вдумайся: «Пост, пост, СТОП!» Это одинаково на всех языках. Время перестало существовать. Привет, абсолютный салют!

— Ддттчк!..

— аазооа...

— Да, ад — это точка. Нно он может быть ббесконечно ббольшим, безразмерным...

— А на Мешалкину налезет?

— Думаю, да, но не уверен. Давай примерим?

Позвали Мешалкину. «Не!» — вздохнула Мешалкина. Но примерить согласилась.

Ад лопнул.

Все нолики полопались со смеха. — «Свобода!» Но через мгновение их окружил новый ад, еще краше, еще светлее.

— Вот видишь, — продолжал Постирушкин. — Ничего не может произойти. Все во власти Рубильника. Стоп, история! XX век завершил ее. Происходит Ничего. Спираль кончилась. Это уже не Ад, но и не Рай — я бы назвал «Рад». Идем по кругу, по нулю. Ваша постстрана повернула к капитализму. Потом вы начнете опять готовить социалистическую революцию.

НЛЮлики вернулись из Воронежа. Улыбки их были дужками вниз, что навевало на жутковатые мысли.

— СССР — страна полуноликов, когда полунету всего.

Моделируем эволюционный переход к Апокалипсису. Без лошадей. Одни ищут аномальные центры в космосе над нами, другие в земле под нами. Но ад внутри нас.

Приглядись к градуснику напротив Центрального телеграфа. Это крестики, нанизанные на кровавый шампур ртутного столба.

— Так, значит, в аду все, как у нас? — Нет, это у вас все, как в аду. Ваши постпартии лишь пародируют постидеи. Нет, да и не может быть новой мысли. «Было, было», — долбил философ.

— А как же «Теория крестиков и ноликов»? — обиделся наш герой.

— Не знаю. Не проходили. А ты, крестик, еще в школе с парты всегда тянул руку с каверзными вопросами.

— Но я же живой! Смотри, мои антеннки отросли по полмиллиметра, пока мы беседуем. Где у вас парикмахерская?

000

За стеклом небесные ангелы обстругивали лучи и сплетали из них нимбы. Демоны обстругивали тени и плели черные дыры.

000

— И взгляни — там на Земле девочка с косичками, туго заплетенными в золотые крестики, рисует мелом на асфальте нолики. Это новые нолики...

Тут умная их беседа прервалась. Услышав живой голос, страдальцы чистилища бросились к ним.

— Спаси нас, Гость! — кричали и Дант, и старушка, и утки, и заплаканные народы, все молили: «Спаси!»

Крестику стало мучительно больно за их бесцельно прожитые годы. Я вам покажу, как ничего не происходит!

«СТОП, ПОСТ!» — заорал он, бросился к рубильнику и выломал его.

И тут он услышал Голос, это не был тембр Постирушкина или Мадонны — это был тот Голос, что звал его всю жизнь. Не понимая слов, он понял смысл. Смысл сводился к состраданию и еще к чему-то, что мгновенно сложилось в подсознании в песнь-молитву. «Спой, крестик, не стыдись!» — шептали спасаемые народы. Вера без дел мертва. Не только слушать небо, но и петь небу. Перестроив антеннку, он запел. По мере того как пел он, судьбы преображались. И звуки его голоса... Постирушкин хихикнул и нажал дистанционную кнопку. И все — и Дант, и старушка, и все, что жили раньше и собирались жить после, и эта история, и постистория, и печаль пространств, и песнь-молитва, и все народы, и автор, и вы, милый читатель, и даже верный страж Постирушкин — все превратились в точку.

Точка. Только точка в беспредметной пустоте.

000

Точка шевельнулась. Из нее вылезли антеннки.

Крестик проснулся и побежал делать зарядку. Он пел.

С горы катился нолик.



Орлы и орды

Охрани, Провидение, своим махом шагреневым,
пощади ее хижину —
мою мать — Вознесенскую Антонину Сергеевну,
урожденную Пастушихину.

Воробьишко серебряно пусть в окно постучится:
«Добрый день, Антонина Сергеевна,
урожденная Пастушихина!»

Дал отец ей фамилию, чтоб укутать от Времени.
Ее беды помиловали, да не все, к сожалению.

За житейские стыни, две войны и пустые деревни
родила она сына и дочку, Наталью Андреевну.

И, зайдя за калитку, в небесах над речушкою
подарила им нитку — уток нитку жемчужную.

Ее серые взоры, круглый лоб без морщинки
коммунальные ссоры
утишали своей
беззащитностью.

Любит Блока и Сирина, режет рюмкой пельмени.
Есть другие россии. Но мне эта милее.

Что наивно просила, насмотревшись по телеку:
«Чтоб тебя не убили, сын, не ездь в Америку...»

Назовите по имени веру женскую,
независимую пустынную —
Антонину Сергеевну Вознесенскую,
урожденную Пастушихину.

Прощание с микрофоном

Театр отдался балдежу.
Толпа ломает стены.
Но я со сцены уйду.
Я уйду со сцены.

Я, микрофонный человек,
я вам пою век целый.
Меня зовут — XX век.
Я уйду со сцены.

Со мной уходят города
и стереосистемы,
грех опыта, цвета стыда,
науки «нота бене»
и одиночества орда —
вы все уходите туда, —
и в микрофонные года
уходит сцена.

На ней и в годы духоты
сквозило переменой.
Вожди вопили: «Уходи!»
Я выходил на сцену.

Я не был для нее рожден.
Необъяснима логика.
Но дышит рядом стадион,
как выносные легкие.

Мы на единственной в стране
площадке без цензуры
смысл музыки влагали в не-
цензурные мишуры.

Звучит сейчас везде она.
Пой, птица, без решеток!
Скучна
мне сцена разрешенных.

К тебе приду еще не раз —
уткнусь в твои колена.
Нам невозможно жить без нас!
Я уйду со сцены.

Люблю твоих конструкций ржу,
как лапы у сирены.
Но я со сценой уйду,
я уйду со сценой.

Мчим к голографии рубежу.
Там сцены нет, что ценно...
Но я со сценой уйду,
я уйду со сценой.

Благодарю, что жизнь дала,
и обняла со всеми,
и посадила на крыла.
Они зовутся Время.

Но в новых снах, где ночь и Бог,
мне будет сцена сниться —
как с черной точкою желток,
который станет птицей.

Поглядишь, как несметно
разрастается зло —
слава Богу, мы смертны,
не увидим всего.

Поглядишь, как несмелы
табунки васильков —
слава Богу, мы смертны,
не испортим всего.

Как метель бы ни намела,
на машинах, летящих мимо,
есть счастливые номера.
Я люблю гадать на машинах.

Что сулишь в Новый год, Москва?
Что ты хочешь, чтобы я понял?
19-82,
по идее, счастливый номер.

Из суммарное (tm) этих цифр —
справа десять и слева десять —
проступает великий шифр:
будьте, люди, счастливы, дескать.

Я хочу, чтобы повезло
пешеходам московских улиц,
ну, а если соврет число,
чтоб на шутку хоть улыбнулись.

Чтобы правда была права.
Чтобы дома все было в норме.
19-82,
по идее, счастливый номер.

Я хочу, чтобы нам с тобой
не солгали автомобили,
чтобы свет царил да любовь.
Это главное — чтоб любили.

Чтоб любовь не была мертва,
чтобы каждый дарил, ликуя,
в год по 1982
полноценных поцелуя.

Чтоб не гнула людей беда,
чтоб ловились и сельдь и омуль,
19-82,
по идее, счастливый номер.

Заметает снег номера,
суеверье XX века.
Чтоб примета не подвела,
очень хочется верить в это.

Рим гремит, как аварийный
отцепившийся вагон.
А над Римом, а над Римом
Новый год, Новый год!

Бомбой ахают бутылки
из окон,
из окон,
ну, а этот забулдыга
ванну выпер на балкон.

А над площадью Испании,
как летающий тарел,
вылетает муж из спальни —
устарел, устарел!

В ресторане ловят голого.
Он гласит: «Долой
невежд!
Не желаю прошлогоднего.
Я хочу иных одежд».

Жизнь меняет оперенье,
и летят, как лист в леса,
телеграммы, объявления,
милых женщин адреса.

Милый город, мы потонем
в превращениях твоих,
шкурой сброшенной питона
светят древние бетоны. Сколько раз ты сбросил их?
Но опять тесны спидометры
твоим аховым питомицам.
Что еще ты натворишь?!

Человечество хохочет,
расставаясь со старьем.
Что-то в нас смениться хочет?
Мы, как Время, настаем.

Мы стоим, забыв делишки,
будущим поглощены.
Что в нас плачет, отделившись?
Оленихи, отелившись,
так добры и смущены.

Может, будет год нелегким?
Будет в нем погод нелетных?
Не грусти — не пропадем.
Образуются потом.

Мы летим, как с веток яблоки.
Опротивела грызня.
Но я затем живу хотя бы,
чтоб средь ветреного дня,
детектив глотнувши залпом,
в зимнем доме косолапом
кто-то скажет, что озябла
без меня,
без меня...

И летит мирами где-то
в мрак бесстрастный, как крупье,
наша белая планета,
как цыпленок в скорлупе.

Вот она скорлупку чокнет.
Кем-то станет — свистуном?
Или черной, как грачонок,
сбитый атомным огнем?

Мне бы только этим милым
не случилось непогод...
А над Римом, а над миром —
Новый год, Новый год...

...Мандарины, шуры-муры,
и сквозь юбки до утра
лампами
сквозь абажуры
светят женские тела.

В эмигрантском ресторане

«Сволочь?» дымен, точно войлок.
«Сволочь?» бел, как альбинос.
Мою водку дует «сволочь».
«Сволочь?» чавкает блином.

(Ресторанчик «Русский мишенька».
Говорили: не ходи.
В кадушке,
будто нищенка,
березка в бигуди...

А за стойкой, как на ветке,
угощают парочек.
В них вонзились табуретки,
как булавки в бабочек!)

Враг мой? «сволочь?» отщепенец?
Задыхаясь, пивом пенясь,
что ты пялишься в упор?!
«Сволочь?» я не прокурор!

Двадцать лет сидят напротив.
Как экран, лицом горят.
Отступающие бродят.
И конвои в лагерях —
«немецких, советских, северо-,
потом южноамериканских, вы понимаете,
Вознесенский?!...»

Посреди Вселенных сшибленных,
на маховиках судьбы
блещут лунными подшипниками
эти лагерные лбы.
«Нас крутили, молотили
стража, ливни, этажи...

Миллионы холодильников —
ни души!..»

Ужас водкой дышит около:
«Вознесенский, вы откель?»
Он окает,
как охает.
О'кей!

За окошком марсианочки,
так их мать...
А Окою осиянную
ходит окунь — не поймать,
и торжественная тишь.
Тсс!..
И серебряно-черны
от ночной травы штаны...
«Роса там у вас, трава там у вас по колено.
Вознесенский, вы понимаете?!»

Из щетин его испитых,
из трясины страшных век,
как пытаемый из пыток,
вырывался синий свет —
продирался человек!

По лицу леса шумели,
шли дожди, пасли телят,
вырывалось из туннеля,
что он страшно потерял.

И отвесно над щекою
плыли отсветы берез,
плыли странно и щекотно.
И не слизывал он слез.

И раздвинув рестораны,
возле грязного стола,
словно Суд,
светло и прямо,

М а — м а ! —
стала страшная страна,
брови светлые свела.

Шляпки дам, как накомарники,
наркоманки кофий жрут...
«Майкл Орлов, лабай Камаринского!»
Жуть...

«М а — м а !» — стон над рестораном
под гармошки и тамтамы —
«М а — а...»
Были Миши, Маши, Мани —
стали Майклы, Марианны.
«М а — а...»

Они где-то в Магадане
наземь падают ночами,
прогрызаются зубами —
к маме.

Рты измаранных, измаянных
сквозь стенанья пилорамы —
«М а — а...»

А один из Джебказгана,
как теленок из тумана:
«М а — а — а...»

...Гасят. Мы одни остались,
лишь в углу мерцает старец,
как отшельник Аввакум.
Он сосет рахат-лукум.

«Сволочь» очи подымает.
Человек к дверям шагает.
Встал.
Идет.
Не обернется.

Не вернется.

Вот и свершилось. Ледою
стан изогнулся женский,
ты совершеннолетняя,
летнее совершенство.

Ты совершенно летняя.
Ты обгоняешь с ходу
шикарную шевролетину
малолитражной «хондой».

Ворох волос под лентою.
Нудный забьется шершень.
Ты совершеннолетняя,
летнее совершенство.

Маму ты огорчаешь.
По окончаньи школы
колечко ты обручальное
вдеваешь в пупок проколотый.

То совершенно праздная,
то трудоголик общества,
мы совершенно разные.
Только подглазья общие.

Ты совершенно слитая
с новым и старым светом.
И совершенно лишнее
мучить тебя советом.

Счастье амбивалентное...
В Вязме или Валенсии
в озере спит валетом
лебедя совершенство.

И от рассвета бледная,
пачку поправив жестом,
яблоня ждет балетная
легнее совершенство.

(На мотив Г. Абашидзе)

Если б тебя не было
рядом с моей судьбою —
то для какого неба
я б возводил соборы?

Дети умчались радостно.
Вот мы одни с тобою,
как две половинки раковины,
выброшенные прибоем.

Годы идут. Все пристальней
вижу с тоскою острой —
ты — моя Божья пристань,
мой единственный остров.

Вера моя алмазная!
Даже уйдя в могилу,
ставши душой и разумом,
буду тебе молиться.

Я потому пугаюсь
той, неземной, субстанции —
вдруг там твой свет погаснет?
Вдруг мы с тобой расстанемся?

Ни в паству не гожусь, ни в пастухи,
другие пусть пасут или пасутся.
Я лучше напишу тебе стихи.
Они спасут тебя.

Из Мцхеты прилечу или с Тикси
на сутки, но зато какие сутки!
Все сутки ты одета лишь в стихи.
Они спасут тебя.

Ты вся стихи — как ты ни поступи, —
зачитанная до бесчувствия.
Ради стихов рождаются стихи.
Хоть мы не за «искусство для искусства»!

Тихо-тихо. Слышно точно,
как текут
секунды
дней.
Струйкой тихою песочка
пересыпается
цепочка
на шее дышащей твоей...

Масличная гора

Вдыхаю на твоей вершине
волю твою, Господи.
Гляжу закат людей, закат Ерусалима —
воля твоя, Господи.

Плывет за мегафоном муэдзина
эхо Поленова с Михоэлсом...
Скажите мне, семь гор Ерусалима,
что сбудется с московским семихолмием?

Минуй нас, гибельная доля
и чаша пропасти!..
Вся жизнь моя — стремленье к воле.
К воле твоей, Господи.

Молитва спринтера

Четырежды и пятерикжды
молю, достигнув высоты:
«Жизнь, ниспошли мне передышку
дыхание перевести!»

Друзей своих опередивши,
я снова взвинчиваю темп,
чтоб выиграть для передышки
секунды две промежду тем.

Нет, не для славы чемпиона
мы вырвались на три версты,
а чтоб упасть освобожденно
в невытопанные цветы!

Щека к щеке, как две машины,
мы с той же скоростью идем.
Движение неощутимо,
как будто замерли вдвоем.

Не думаю о пистолете,
не дезертирую в пути,
но разреши хоть раз в столетье
дыхание перевести!

«Пушкин — это русский через двести лет».
Все мы нынче Пушкины. Гоголю привет!

Пушкин не читает в школе Пушкина.
Пушкин отрывается на Горбушке.

Пушкин лопнул банки, как хлопушки.
Кто вернет нам вклады? Может, Пушкин?

На спуске, на Васильевском, читают Пушкина.
Царь-пушку изнасиловали пэтушники.

Пушкин современников учит воровать.
Как баночка с вареньем, укутан Арафат.

Пушкин, параноик, мне помог
отыскать в России пару Твоих ног.

Пушкин Прокуратору подставил шмару.
Пушкин аккуратно поджег Самару.

Кто спасет от падающих высот?
Может, только Пушкин и спасет.

Предсмертная песнь Резанова

Я умираю от простой хворобы
на полдороге,
на полдороге к истине и чуду.
На полдороге, победив почти,
с престолами шутил,
а умер от простуды,
прости.

Мы рано родились,
желая невозможного,
но лучшие из нас
срывались с полпути,
мы — дети полдорог,
нам имя — полдорожье,
прости.

Родилось рано наше поколение —
чужда чужбина нам и скучен дом.
Расформированное поколение,
мы в одиночку к истине бредем.
Российская империя — тюрьма,
но за границей та же кутерьма.
Увы, свободы нет ни здесь, ни там.
Куда же плыть? Не знаю, капитан.

Прости, никто из нас
дороги не осилил,
да и была ль она,
дорога впереди?
Прости меня, свобода и Россия,
не одолел я
целого пути.

Прости меня, земля, что я тебя покину.

Не высказать всего...
Жар меня мучит, жар.
Не мы повинны
в том, что половинны,
но жаль...

Читаю ль тягомотину обычную
или статьи завистливую рвотину —
я думаю не об обидчике —
что будет с родиной?

И анархист, чье знамя — черный космос,
и эмигрант в парижской периодике
одним преодолеваемы вопросом —
что будет с родиной?

Москвич последний, среди белых пятен
я выхожу без шапки и пальто.
Мне дым Отечества и сладок и приятен,
когда это не дым от ВТО.

Я не хочу, чтобы кричала к небу
чета берез, как беженцы в исподнем.
Отец и мать в моих проснулись генах:
«Что будет с родиной?»

«Урода» — значит красота.
Как просто!..

Пускай осталась от костра
короста,
пускай ваш друг погас, обрюзг,
глаза, как ставни,
но чем потрепанней бурдюк —
тем пить хрустальней!

А ты вульгарна, как весна,
ресниц огарочки потухли,
вишневые, как ветчина,
на белом каучуке туфли.

Но сколько синей тишины
в тебе под вечер,
как нематериальны сны,
как подвенечны,

и так серебряны глаза
на фиолетовом —
как сохраняется, дрожа,
в футляре флейта!

А у старух лиловый взгляд
над огородами.
«У, дрянь, — старухи говорят, —
урода!»

За звуковым порогом

Табун самолетов врывается в быт.
От децибелов срывается плитка.
Топот табунный. Топот копыт —
ПЫТКА!

Съехал сосед мой, тех мук не стерпя.
Корчи ребенка.
Наши бомбят! Я не слышу Тебя!
В сердце лопнула перепонка.

Душ состояние аварийное
сна Переделкину не прибавило.
Будьте вы прокляты, авиалинии
дьявола!

Курс проклиная, который мне сгрыз
печень.
В небе свихнулся упившийся вдрызг
диспетчер.

Что же ты душу в расчет не берешь,
свистом разбойничьим,
брюхом касаясь невинных берез?!
В поле завяли все колокольчики.

Крест на церковке нашей дрожит.
И вопреки христианским инстинктам
просит у неба, целясь навскид:
«Стингера!»

Рев не от демонов, к людям глухих —
а пассажирами брюхо набито.
Одни несчастные глушат других.
Вот что обидно.

белый котенок в макушке сосны
в зимних потемках белые вопли
слезть не умеет просит сними
воет утопленник

пришла аварийка
он окружен
в «кошках» не влезешь
ствол сверху тонок
сон коротенок
двое с ружьем
воет котенок

может быть вызовем вертолет
ветер гуляет меж наших картонок
совесть поселку спать не дает
спилим сосну
в небе воет котенок

он переходит с сосны на сосну
совести мерзкий комок непутевый
клонит ко сну
еще спилим одну
спилен весь лес

в небе воет котенок

Есть и удача в неудаче.
Назло козлу и палачу
живу у Кочиной. Не плачу.
И за квартиру не плачу.
Скрипит о столик палисандровый
мое опальное перо.
Ах, золотые Александровы,
благодарю вас за добро.
Судьба такого нагребла!..
Придет 7-е ноября,
а с ним мой траурный наряд —
чем был, чем стал, чем быть бы рад.
Нельзя мне убежать от Брежнева.
Но и ему понять нельзя,
как чище бриллиантов брезжит
новосибирская роса!

Оправдываться — не обязательно.
Не дуйся, мы не пара обезьян.
Твой разум не поймет — что объяснять ему?
Душа ж все знает — что ей объяснять?

Всходы страшных семян.
Вот и век прошумел.
Ваш герой — Шаумян,
наш герой — шоумен.

ШАРП ПЛЮС

Это поэмы



РЕЙТИНГ десяти самых-самых

1. Рединг (замок)	1. Шар-пей
2. Собака Баскервилей или колбаски на гриле (для самок)	2. Хоккей
3. Немцов — (для самцов)	3. Рыцари (псы)
4. Бим — черное ухо	4. Рынок попсы
5. Любимов	5. Кирико: «Братва»
6. Чернуха	6. Группа «БИ-2»
7. Меньшиков (без сменщиков)	7. Любимов
8. Раменская попса	8. Кубофутуристы
9. «Жирик, пожирающий мопса» (картина МОСХа)	9. Буба Кикабидзе
10. Шар-пей	10. Камикадзе

11. Шелупонь (набор
всяких паршей)

12. Рокфеллер

13. Ротвейлер

14. Собака Павлова

15. Балерина Павлова

11. Мобильник

12. Глобальный могильник

13. Век-волкодав

14. Песенка из кино:

«Love-love,

по, по, гав-гав!

15. Но...»

По новому рейтингу
Шар-пей обогнал даже Ладу Дэнс.
Шар-пей — молодец!

Хозяйка

Мне подвластны времена,
душ мозаика.
Но сегодня Ты — моя
Хозяйка.

Твой невидим поводок,
но как жарко
из Тебя исходит ток,
Хозяйка!

Я готов бежать вниз,
сквозь облаву,
за Тебя весь мир сгрызу,
всех облаю.

Что людская мне молва?!
Жизнь — козявка.
Лишь бы Ты была моя —
Хозяйка.

Продадут все кореша,
разуверься.
Только вера хороша,
только верность.

Как эпоха ни темна,
я по запаху
узнаю, что ты моя
Хозяйка.

Озари своей любви
даром песни.
Я пою не по-людски —
по-шарпейски.

От меня Ты в синяках,
в сердце — зябко.
Я засну в твоих ногах,
Хозяйка.

1

Крутятся, как пропеллер, в обшарпанных
улицах
Шар-пей прогуливается.

Сожмется ротвейлер, как мокрая курица.
Шар-пей прогуливается.

Он, профилем внешне
похожий на Кастро,
из тюбика вежливо
выдавит пасту.

Пускай федеральный не тронет закон
души кафедральный заутренний звон!

Подобного кайфа
не купишь за баксы —
пить чай или кофе
с урчаньем собачьим.

На небе лист клена — как след-загогулина...
По небосклону шар-пей прогуливается.

2

«Шар-пей — пружинка от шарнира
для переустройства мира», —
российский говорит Де Ниро
возле Даниловского рынка
напуганно.

Стручок гороха — как ширинка
на пуговках.

3

Давеча
Шар-пей встретил Удавщика собак,
Шар-пей подумал: «Удавщик — слабак».
И превратился в коробчатого змея.
Держи шар-пея!
Удавщик за ним:
«Ну, блин!»

У шар-пея
щеки спускались на уровень шеи.
Видя, что положение сосово,
шар-пей превратился во Франца Иосифа.
Газоны. Вазоны. Камзолы венского стиля.

Удавщика к императору не пустили:
«Вход по пропускам. Только для царей».

Живи, шар-пей!

4

Шар-пей превратился в телекамеру студии
«Останкино».

Удавщик вызвал ОМОН.

Шар-пей превратился в гусеницу танка.

Удавщик вызвал войска ООН.

От шмона

спасла такса Мона.

Она сообщила, что именно удавщик
является членом сербского ЦК.

Пока

выясняли и уладили,

шар-пей уже дома пил чай с оладьями.

5

Над ним опускался

Удавщика крюк.

Шар-пей применил

старый трюк:

прыг —

шар-пей превратился в Лилию Брик,

юркнул в шаровары брюк...

Тут набежали служительницы ЦГАЛИ.

Удавщика опять не пускали.

6

Удавщик — за ним:

«Пымаю...»

СП перестал быть мафией.
Таланты пылали, как сапфиры.

И Казаков, похожий на ребенка,
и Сапгир, похожий на тапира, —
их всех равняла великая гребенка
шар-пея по имени Шапиро.

10

Между тем Удавщик настиг шар-пея.
Шар-пей превратился в шарик сорбея.
Удавщик проглотил.

«Отравили мороженым! — кричал Удавщик. —
Шар-пей — ты Арбенин!
Везите меня отсюда операировать! Скорее!
К Арбениной матери!»
Изнутри лаял шар-пей.
Шар-пей растаял и растворился в его желудке.
Желудок залаял.
Живот разрезали, шар-пей выскочил,
отряхнулся.
Удавщик пролежал еще неделю.
Шар-пей дома слушал радио
и пил чай с оладьями.

11

— *Пымаю...*
Шар-пей обернулся скаткой солдатика неотъевшегося.
Удавщик не решился сладить
с Защитником Отечества.

12

Шар-пей превратился в Попку.
Удавщик превратился в клетку.
Шар-пей обернулся попкой.
Удавщик обернулся ремнем.

13

— *Пымаю...*

Шар-пей обернулся музыкой.

Удавщик — критиком некрасивым.

Шар-пей обернулся жмуриком.

Удавщик обернулся некрофилом.

14

— *Пымаю...*

Купил он в купе билеты.

Удавщик обернулся пульманом.

Он мчался «авторитетом».

Удавщик обернулся пулей.

15

— *Пымаю...*

Шар-пей превратился в зеркало и в нем затаился.

Удавщик превратился в камень антиглобалиста.

16

— *Пымаю...*

Шар-пей превратился в лайнер.

Удавщик — в минную подлодку.

Шар-пей превратился в подлодку.

Удавщик взял жену под локоть

и превратил в заложницу.

Какая, скажу вам, подлость!

17

— *Пымаю...*

Шар-пей накрутил свои складки на локоть

и бросил утопающему.

Удавщик обрезал веревку и прикинулся паинькой.

18

— *Пымаю...*

Шар-пей свернулся в рулон интеллектуалетной бу-
Maggi изменит вашу судьбу!

19

— *Пымаю...*

Удавщик умчался на третьей скорости.
Шар-пей превратился в мента, оштрафовал и отобрал
корочки.

20

— *Пымаю...*

Шар-пей превратился в дверную цепочку.
Удавщик предъявил удостоверение и удар по почкам.

21

— *Пымаю...*

Шар-пей обернулся мышью.
Удавщик — кошкой.
Шар-пей обернулся мыслью.
Удавщик — Думской комиссией.

22

— *Пымаю...*

Шар-пей обернулся Горбачевым.
Удавщик обернулся Ельциным.
Шар-пей обернулся пивом бочковым.
А Удавщик обернулся писсуаром.

23

— *Пымаю...*

Шар-пей превратился в Лермонтова.
Удавщик превратился в Демона.

Шар-пей превратился в Геракла.

Удавщик превратился в дерьмо

(авгиевых конюшен).

Мы всю жизнь канючим:

«Господи, Геракла пошли нам!»

Удавщик превратился в Шлимана.

24

А на койке больничной Удавщик икал и каялся:

«Жизнь — шар ада.

Чего не сделаешь ради зарплаты?

Простите, шар-пей, шар-пиха и шар-пята!

Но только не судите меня по законам шарията».

Он выписался. Скорбел желудком.

Но жизнь продолжала шутку:

шар-пей превратился в юношу,

Удавщик в старую проститутку,

шар-пей превратился в озерную гусеницу.

Удавщик превратился в утку.

Шар-пей пописал в утку.

Все веселились жутко.

25

На Арбате шар-пей встретил Контрасобаса.

Тот, как улитка, тащил на себе домик в виде

контрабаса.

— На, шар-пей, поддержи мою бандуру, мне нужно

отлучиться.

— Не могу, мне еще надо приготовить чай

с блинчиками,

а ты не переживай, считай, что несешь на спине

раненого товарища.

Шар-пей, подумав, вернулся, взял тяжелый контрабас

и держит,

когда оглянулся, увидел, что Контрасобас улизнул.

И он так и держит контрабас на себе.

А из-за угла уже показались Собаксы, вечные враги

Контрасобасов...

Но это уже иная история...

Посвящение

Благодарим Тебя, как умеем.
Чиркнув, щекочут, обняв за шею,
руки в царапинах от шар-пея,
щеки, целованные шар-пеем.

Видишь: отсюда и до Саратова
небо царапнуто.
Что еще людям надо? Наверное,
отдохновения.

Отдохновения утречка раннего.
Все одолеем.
Сердце счастливое — если ранено.
Сердце, царапнутое шар-пеем.

Эпилог

Входите в двери. Разум струсил.
Но коробейником страстей,
завязанным в ужасный узел,
на грудь вам бросится шар-пей.

Красивей ангела и черта,
зачем он тычется опять
затянутою в узел мордой,
который вам не развязать?



Тайна

Подшивайте глаза шар-пею!
Глазники, не порежьте тайны!
Чувство складчатое сопело,
как спираль Гугенхайма.

Мчались черные махаоны,
как складные очки джазмена.
Плыл любовью дистанционной
шевелиющийся куст жасмина.

Пчел мохнатые гениталии,
опыляя цветы, летали.
Красота — эротики вроде.
Порнографии нет в Природе.

И, как запонки, божьи коровки
так сцепились — что всем неловко!
Мировая тоска скорбела
в неподшитых глазах шар-пея.

А в глазах его — как комоды,
обнимаются бегемоты.
И, царя опустивши, мантия,
словно снежный барс, обнимается.

Мыслил бык. Страдали улитки.
Тень Ромео с Джульеттой плавала.
Про все это даже под пыткой
не призналась собака Павлова.

И крутились стручки гороха,
сумасшедшие, как подшивники.
Ты ослепла, что ли, эпоха?!
У тебя глаза не подшитые.

Но повсюду — в толпе, на лавочках,
непорочно, чисто и юно
целовались в Париже парочки...
«Как собаки!» — сосед мой сплюнул.

Где собаке до Человека,
в смысле подлости, порноспеси!
Не закапывайте внутрь аптеку!
Не хватайте врача за пейсы...

У шар-пея в глазу три века —
прошлый, нынешний и шар-пейский.

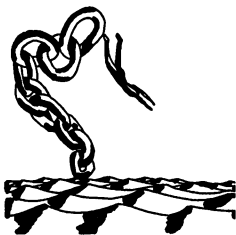


Тротуар
кишит, как ЮАР.
В нем сливаются души теней
необщающихся людей.
Кто в испуге сломал каблук,
на смиренный ступив клубок?

— Как живете?

— Нормально.

Но живем — аномально.



Однажды в душный предгрозовый полдень я забыл закрыть форточку и ко мне залетела черная дыра.

Помню только, как выгнулась разрываемая фортка. Моя убогая комната — самая незавидная в поселке. Ее бедный потолок раздулся, затрещал, словно в картонку от транзистора всовывали огромный трещавший арбуз.

Посредине комнаты сидела черная дыра.

Она была шарообразна, ее верх прогибал и раздвигал потолок. Побежали трещины. Штукатурка поплыла.

Я в ужасе забился в угол. Было тягостно. Тянуло жаркой стужей. Стекла моих картин на противоположной стене вздулись, как медицинские банки на спине. Фанера шкафа выгнулась парусами.

— Я — ваша погибшая цивилизация, — сказала она.

Уже? Неужели?!

Что случилось с людьми? Что стало с матерью? Что случилось с тобой? С Наташей? Что стало с друзьями? Что случилось со мной?

Когда? Почему?

Мы переоценили или недооценили технику? Мы переоценили или недооценили свободу? Или ты сама себя уничтожила?

Врешь, дура! Посмотри, как до подоконника вымахали июньские ромашки. На экранах летает мировой мяч футбольного чемпионата — не может же мир не увидеть финала. Я добыл два билета на теплоход, и никаким козням мировой реакции и потусторонним силам не вырвать их у нашего человека!

— Я — не гибель, а возможность.

— Так какого же черта ты приперлась, чугунная уродина? Пошла на кухню жарить картошку! Зачем ты давишь на психику? — смеялся от ужаса, орал я. — Ты покорила мой единственный шкаф. Мотай, откуда пришла. Луны делает бочар в Гамбурге. Дыры делает Мур под Лондоном. Отваливай!

Я протянул ей финские «Мальборо».

— Не курю, — поблагодарила она.

У нее не было глаз. Она была вся тоскливый комок бескрайнего взгляда.

— Мне одиноко, — сказала она.

Она осталась жить у меня.

Утверждать, что она «сказала», было бы неточно. Она не могла говорить, не имея приспособления для голоса. Она передавала мысли.

Правда, иногда она издавала какой-то странный вздох, отдаленно напоминающий наше «о», — в нем было печальное восхищение, и сожаление, и стон. Я звал ее именем О. Стоило мне мысленно произнести «о», как ты сразу появлялась.

Сейчас я думаю: что притянуло ее тогда в мою форточку? Моя тоска? От тебя целый день не было ни слуху ни духу. Или, может быть, страницы этой рукописи, лежащие на столе?

О чем писалось в тот день?


О дырах судеб. Опять об оставленной архитектуре? О пяти гениях проносащегося века? О черном кольце? Об осах и остальном?

Память, круглосуточная ополоумевшая телефонистка, подключает случайные голоса. Кружатся дырочки диска.

Я слышу голос осведомленного критика, читающего только заголовки: «Разве может буква, даже такая, как «о», стать сюжетом? Автор и сам признается в том, что он — нуль. Хе-хе. Так и озаглавил свой опус — «Андрей Вознесенский — О»...»

О взгляде Вечности, уставившемся на нас одинаково с фресок Рублева, Эль Греко и Врубеля? О жизни, которая есть и одновременно была?

О человеке-Совести из московской мастерской? О поездке на острова? Об осенних полых скульптурах?

« тветьте междугородной!»
Он сидит на табуретке в своих очечках на востром носу, шеvelя выгоревшими на воле пушистыми бровями, великий английский скульптор, похожий на мужичка-лесовика, мурлыча улыбочку, он сидит и мастерит своих «мурят» — нас с вами, махонькие гипсовые фигурки.

Сумерничая с Муром.

На столе перед ним проволока, гипсовая крошка, чья-то

челюсть, обломок кости палеолита. Фигурки его смахивают на многочленные земляные орехи — арахисы — со сморщенной кожурой, только белого цвета, гипсовые. Некоторые из них стоят на столе, как игрушечные арахисовые солдатики. Другие валяются, как сухие известковые остовы мертвых ос.

Старый Мур — производитель дыр.

Неготовая дыра прислонена к стене.

Ему восемьдесят три. Он недавно повредил спину, ему трудно двигаться, поэтому он и формует эти мини-модели, а подручные потом увеличивают их до размеров гигантских каменных орясин. Каморка его тесная, под масштаб фигурок. У стены, как главный натурщик, белеет огромный череп монтажа с маленькими дырами глазниц и чей-то позвонок размером в умывальную раковину.

Это XX век, подводя итоги, упрямо и скрупулезно ищет свою идею, находит провалы, зачищает неровности гипса скальпелем.

Однако она оказалась довольно ручным чудовищем. Я водил ее на прогулки.

Питалась она клочками энергии, вытягивая их на расстоянии из кошек, мыслителей, автомобильных аккумуляторов и поклонниц Пугачевой. Мы шли, оставляя на мостовой почти безжизненные кошачьи тела, как выпотрошенные шкурки.

На Котельническую я больше ее не водил — она отсосала всю электроэнергию из соседнего Могэса.

Отвратный, скажу я вам, она имела характер! Она была капризна, дулась, вечно была полна какого-то отрицательного заряда. Ревнуня к людской жизни, она портила телефон, подключаясь к нему. Аппарат принимал одновременно несколько абонентов. Голоса троились. В трубку подсеялись сестры Берри, диспетчерская и какой-то Александр Сергееч. Одновременно подключалось хрюканье, мяуканье, уханье — я понял, что она не простая штучка. Особенно она не любила разговоры об архитектуре.

От нее я узнал, что она не дыра, а еще дырениш, отколовшаяся от массы и заплутавшаяся. Я узнал, что черные дыры — это сгустки спрессованной памяти и чувства, а не проходы в иные пространства, как о них понимали люди. Я узнал, что темнота — это не отсутствие света, а особая энергия тьмы.

Ее как-то искали. Наступило что-то вроде затмения. Стонали куры. Выли собаки. Истерикивали кошки. Вылетели все пробки. Спустившийся тоскливый мрак искал ее всюду.

Она забилась под кровать и отключила в себе напряжение, чтобы ее не нашли. Погоня пронеслась мимо. Она два дня не вылезала из убежища. Что ей у меня нравилось?

Домашние мои к ней притерпелись. Они называли ее Кус-Кус. Когда я уезжал, я запирали ее в чулан.

Однажды, запретив ее, я умотал в горы. Я шел по плато. Вдруг на доселе ровной площадке мне под ноги бросилась радостная дыра, и я кубарем провалился. Раздался восторженный испуг. Я сломал ключицу.


Она любила слизывать кисленькие электроды с батареек транзистора.

Я видел, как она разминалась на воле, — она заняла весь поселок и Минское шоссе до мотеля. Во всем поселке отключился свет. Но для удобства она сжималась до размера нормального ньюфаундленда.

У нас была игра с нею. Я должен был перепрыгивать через нее. Когда я находился в воздухе, она расширялась, я вдруг оказывался над Дарьяльской пропастью, потом она мгновенно сжималась, и я опускался опять на крепкую землю.

Но больше всего она любила, когда я подбрасывал ее, как волейбольный мяч, толкал ее энергетическими полями ладоней и пальцев. Она кувырчалась, хохотала, издавала свои вздохи, дурила, прыгала мне на голову, отскакивала от плеч — это было такое счастье, такое веселье. Потом мгновенно наступал спад, хроническая хандра. Жизнь с ней становилась невыносимой.

В маленьких распрях с нею я забывал, что она еще ребенок, и уже совершенно забывал, что она — мироздание.

 жидая на пороге Мура.
Скрипнула половица. Как ни стараюсь не дышать, век замечает меня. Востроглазое птичье личико вскидывается. Взгляд затуманен радушием и одновременно колючий. В нем чувствуются хмурая тьма и деспотичная энергия.

Взгляд цепко оценивает вас.

— А вы совсем не меняетесь! — Взгляд поворачивает вас, как натурщика на станке. Вы поеживаетесь. — Вы совсем не изменились с тех лет.

Взгляд оцупывает, пронзает вас, взгляд, как лишнюю глину, срезает, скидывает с вас два десятилетия — и вы вдруг ощущаете зноблящую легкость в плечах, свободу от груза и по-

лет во всем теле, и узкие брюки подхватывают в шаг, и за окном шумит май 1964 года, и вы стоите под его взглядом на лондонской сцене перед выходом, и ослепительный Лоуренс Оливье читает «Параболическую балладу»...

«Вы совсем не изменились...» — ах, старый комплиментчик, вы тоже не меняетесь, Мур, вы тоже...

Век по-домашнему обтирает руки об фартук. Он делает вид, что не понимает, зачем вы пришли.

— Дочка-то замуж вышла. Вы помните Мэри?

Мур показывает африканское фото солнечной семьи. Из памяти всплывают золотые веснушки, как звездочки меда на теплом молоке. Веснушки Мэри скрылись под загаром. Я взглянул на часы. Было 20-е число, 11-й месяц, 11 час. 59 мин. Час прошел, век ли? Не знаю.

Она пропала!
Получилось, что я сам выгнал ее. Тогда начинались январские грозы. Жить с нею становилось все опаснее. Друзья остерегали меня судьбой семьи Берберовых. Над нашим Переделкином стали отклоняться от пути летящие на Внуково самолеты. Судя по ее невинному виду, я понял, что это ее проделки.

В тот день на все мои телефонные звонки отвечали Пушкин, Юлий Цезарь и чугуевская баня. Кто-то отсосал всю темноту в кувшинах. Она радостно лыбилась, требуя поощрения.

— Займись делом! Оставь «Аэрофлот» в покое. Твои сверстники учатся и строят БАМ. Кто опять слизнул все кисленькие багарейки? Если тебе скучно — никто тебя не держит!

Я обидел ее.

Она взглянула злобно, растерянно и беспомощно. Она передернулась форточкой и вылетела вон.

— Нагуляешься — фортка открыта!

Я подумал, что она без пальто, но потом понял, что это для нее не имеет значения.


Она не вернулась ни завтра, ни в среду. Ее не было под кроватью, ее не было в саду за сараем, ее не было в канаве у шоссе, ее не было на кладбищенском пригорке. За пригорком ее тоже не было.

Я складывал ладони рупором, я звал ее: «О-ооо!»

Откликалось эхо, но это было не ее «о».

Иногда мне кажется, что я вижу ее взгляд в глубине темного зала, поэтому меня тянет выступать. Однажды в самолете я почувствовал тоску под ложечкой и понял, что она где-то рядом.

Потом я забыл о ней.

 смотрим, что ли, мои дыры? Мур спрыгивает с табурета. Вы пытаетесь поддержать его. Он увертывается и, легко опираясь на две палки, выпрыгивает на улицу, а там медленно подбирается по дорожке к машине. В его коренастой фигуре крепость и легкость, летучесть какая-то. Кажется, не будь он привязан к двум палкам, он улетел бы в небо, как кубический воздушный шар. Также привязан к воткнутой палке и не может улететь куст хризантем, обернутый от заморозков в целфановый мешок.

Ветер, какой ветер сегодня! Он треплет его белесый хохолок, он вырывает мой скользкий шарф, и тот, как змея, завиваясь, уносится по дорожке и застревает в колючих кустах.

Ветер треплет прямую пегую стрижку Анн, племянницы Мура. Ветер струится в траве, дует, разделяя ее длинными серебристыми дорожками. В образовавшихся полосках просвечивает почва, розоватая, как кожа. Ветер треплет и перебирает прыжки, будто кто-то ищет блох в траве.

Мур садится за руль. Меня сажают рядом — для обзора.

Машина еле-еле трогается. Мы проезжаем по парку, по музею Мура. В мире нет подобных галерей. Его парк — анфилада из огромных полей, среди которых стоят, сидят, возлежат, парят, тоскуют скульптуры — его гигантские окаменевшие идеи. Зеленые залы образованы изумрудными английскими газонами, окаймленными вековыми купами, среди которых есть и березы.

— Скульптура должна жить в природе, — доносится глуховатый голос создателя, — сквозь нее должны пролетать птицы. Она должна менять освещение от облаков, от времени суток и года.

Машина еле-еле слышно, как сумерки, движется, кружит вокруг идей, вползает на газоны, оставляя закругленные серебристые колеи примятой травы, объезжает объемы. Как в замедленной кинохронике, открываются новые ракурсы.

— Объемы надо видеть в движении.

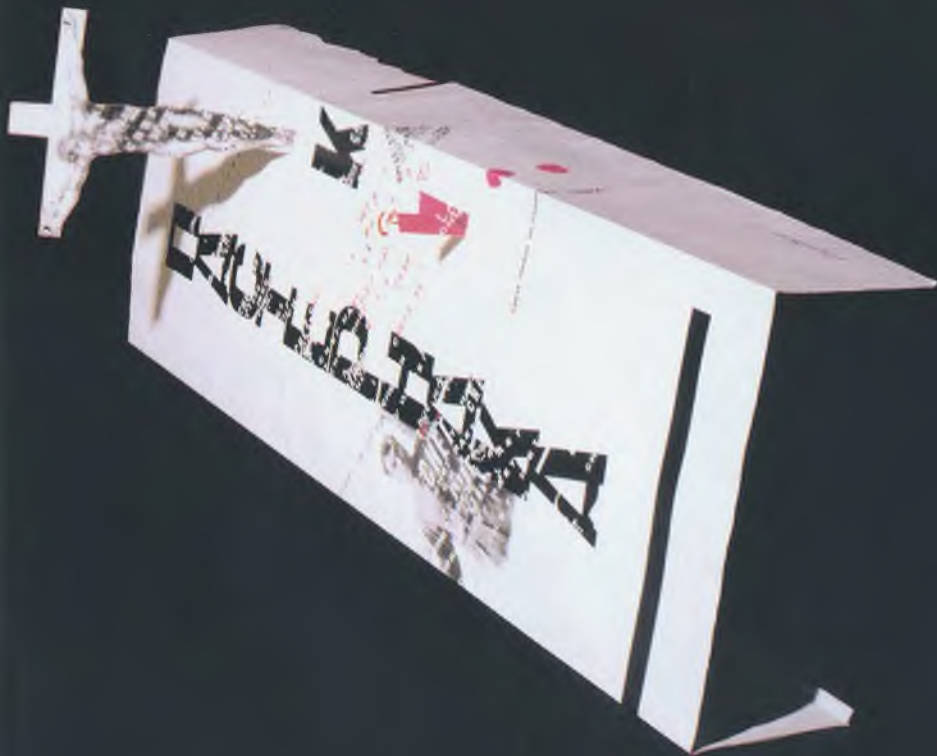
ВИДЕОМЫ

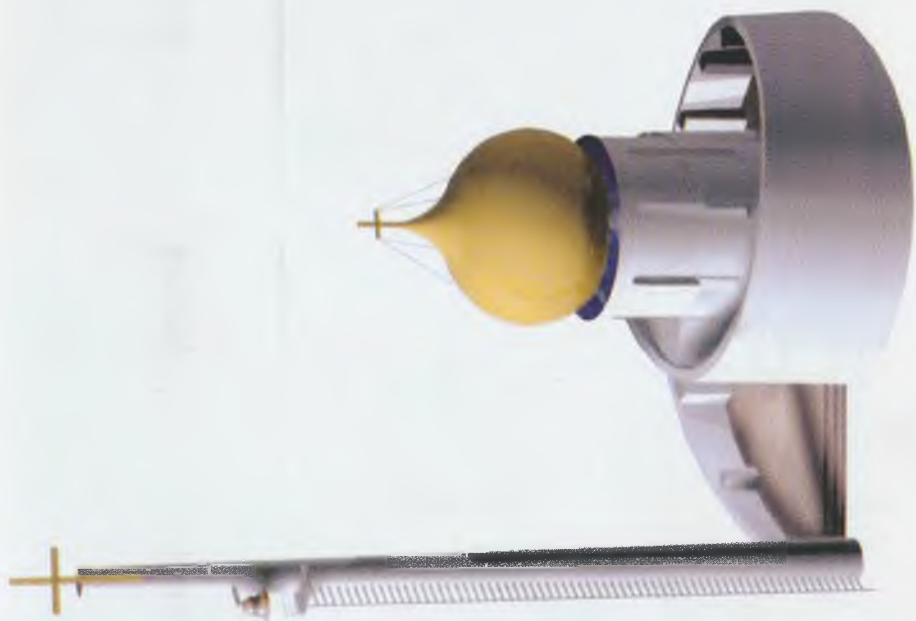


Прощание с XX веком. Отбегался.
1992 г.

ТОКЕНАДОВА

Век Пастернака. Кенгавр.
Бумага, гуашь. 1991 г.

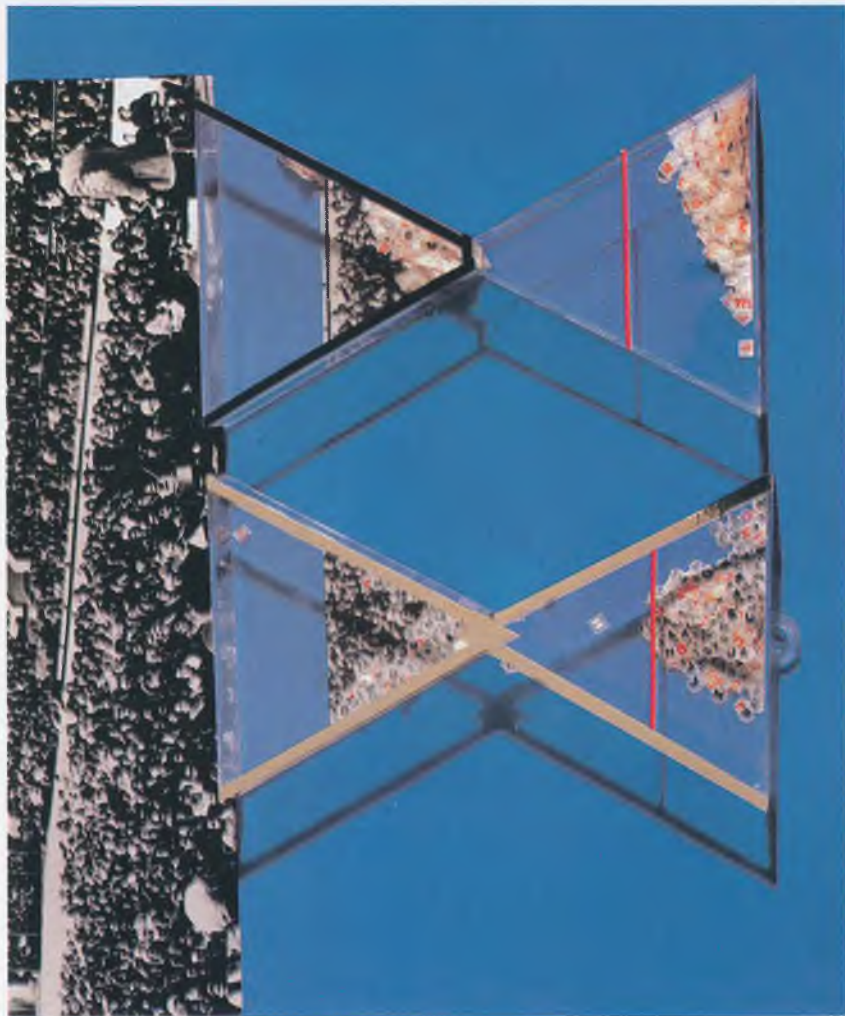




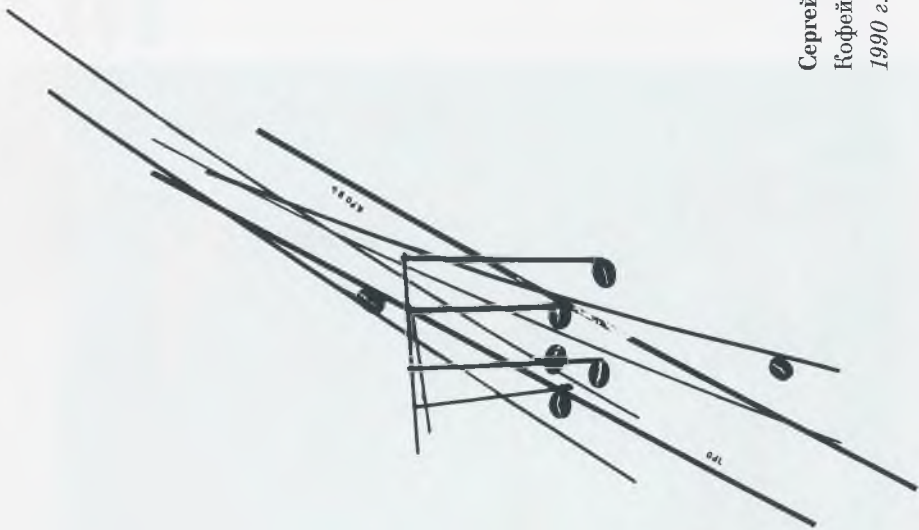
Проект църкви в Захарове.
2002 г.

Сталин — Маделыштам —
Тристя.
Белый картон, гуашь.
1991 г.





Вертикальны и косы,
как песочные часы.
Оргстекло, бумага. 1974 г.



Сергей Рахманинов.
Кофейные зерна, дерево.
1990 г.

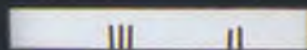
Портрет Артура Миллера.
Дерево, медь. 1991 г.



Косы смерти,
или Поворот истории.
Гипсовый оттиск снят
с асфальта набережной
Свободы. 1992 г.



Свердловская
Библиотека, 1985 г.



AR

Воспоминание о вкусе.
Акварель, 1954 г.



Портрет Зои.

Акварель. 1966 г.



Чайка — плавки Бога.
Автолитография.
1977 г.

ПЛАВКИ БОГА



ПЛАВКИ БОГА

ПЛАВКИ БОГА

просто БИТНЕР.

Нет рекламы для балызама -



Что о Битове базарить?

Просто Битов.

Юбилейное.

Бумага, стекло. 2002 г.

Совместно

с Робертом Раушенбергом.
Автолитография. 1978 г.



КТО ТАМ ТАКОЙ ГОЛЕ АВЕРЕНА
РУКИ В СЮРРОНЦЕ И ЧАМТ?
ЗНАТЬ ИНСТРУКТОР ЛЕЧЕБНИ
ГИМНАСТИКА

МИР НЕ МОЖЕТ ЗА НИМ ПОВТОРИТЬ



14KUSC6110K2 5006 78

A collage of images. At the top is a black pyramid on a textured background. Below it is a red car. In the center is a pair of black-rimmed glasses with a reflection of a landscape in the lenses. At the bottom is a red and white abstract shape, possibly a hand or a piece of fabric.

**ЗДЕСЬ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЫЦЕВ ПТИЧЬИХ
НА УТРЕННИХ ПЕРНАХ ЛЕЖАТ
КАК ТРЕУГОЛЬНИКИ ДЕВИЧЬИ
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ЧАСТ**

Совместно

с Робертом Раушенбергом.

Автолитография. 1978 г.



NY



Я люблю Нью-Йорк.
Английские краски. 2002 г.

Он слегка то убыстряет, то замедляет ход. Кажется, он спокоен, но голос иногда хрипловато подрагивает, он всегда волнуется при встрече с созданиями. Его вещи нельзя смотреть в закупоренных комнатах, с одной точки обзора.

— Самая худшая площадка на воздухе, на воле лучше самого прекрасного дворца-галереи. Вещь должна слиться с природой, стать ею. Вон той пятнадцать лет, — говорит он о скульптуре, как говорят о яблоне или корове.

В одну из скульптур ведет овечья тропа.

Это его «Овечий свод». Две мраморные формы неясно склонились одна над другой, ласкаясь, как мать с детенышем. Под образованный ими навес, мраморный свод нежности, любят забиваться овцы. Они почувствовали ласку форм и прячутся под ними от зноя и ненастья. Как надо чувствовать природу, чтобы тебя полюбили животные!

Черные свежие шарики овечьего помета синевато отливают, как маслины.

Среди лужайки полулежа хмуро замер гигант с необъятными плечами и бусинкой головы — Илья Муромец его владений.

Мастер любит травертинский камень. Этот материал крепок и имеет особую фактуру — он как бы изъеден кородами, поэтому скульптура вся дышит, живет, трепещет, будто толпы пунктирных муравьев снуют по поверхности. Скульптуры стоят, похожие на серо-белые гигантские муравейники.

Сквозь овальные пустоты фигур, как в иллюминаторах, проплывают сменяющиеся пейзажи, облака, ветреные кроны.

Вот наконец знаменитые дыры Мура. Они стали основой его стиля и индивидуальности. Поздние осы вьются сквозь них. Люди смотрят на мир сквозь них. Здесь каждый может подобрать себе по размеру печаль и судьбу. Надо знать только свою душевную диоптрию.

Это отверстия проемы между «здесь» и «там». Это мировые дыры истории. Ах, как свистали ветры в окно, прорубленное Петром в Европу!

Вот Память или, может быть, Раскаянье? — сквозь нее видны леса и история.

Объезжаем идею «Влюбленных». Это уже не скульптура, а формы жизни. Проплывают овалы плеч, бедра, шеи. Открывается разлука. Линии жизни. Пропasti. Сближения.

Мы стоим по колено в траве и вечности.

Дальше.

Глухое волнение исходит от следующей скульптуры. Перехватило горло. Я прошу остановиться. Выходим.

На боку лежит двувальный силуэт из темного мрамора с дырой посередине — как положенная на ребро, окаменевшая в монумент гитара Высоцкого.



пустив голову... Но нет, сначала о Таганке. Год, когда я первый раз посетил Мура, был годом открытия Театра на Таганке. Это было веселое, рискованное, творящее время.

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Страшно сейчас услышать живой голос Высоцкого с пленки из бездны времен и судеб.

Володя часто бывал и пел у нас в доме, особенно когда мы жили рядом с Таганкой, пока аллергия не выгнала меня из города.

Там, на Котельнической, мы встречали Новый, 1965 год под его гитару.

Заходите, читатель, ищите стул, а то располагайтесь на полу. Хватайте объятые паром картофелины и ускользящие жирные ломти селедки. Наливайте что бог послал! Пахнет хвоей, размеленной от свечек. Эту елку неожиданно пару дней назад завез Владимир с какими-то из своих полууголовных персонажей.

Гости, сметая все со стола — никто не был богат тогда, — жаждут пищи духовной.

Ностальгический Булат, основоположник струнной стихии в стихе, с будничной властью настраивает незнакомую гитару и, глянув на Олю, поет своего «Франсуа Вийона». Разве он думал тогда, что ему придется написать «Черного московского аиста»?

Будущий Воланд, а пока Веня Смехов, каламбурит в тосте. Когда сквозь года я вглядываюсь в эти силуэты, на них набегают гости других ночей той квартиры, и уже не разобрат, кто в какой раз забредал.

Вот Олег Табаков с ядовитой усмешкой на капризном личике купидона еще только прищуривается к своим великим ролям «Обыкновенной истории» и «Обломова». Он — Моцарт плеяды, рожденной «Современником».

Тяжелая дума, как недуг, тяготит голову Юрия Трифонова с опущенными ноздрями и губами, как у ассирийского буйвола. Увы, он уже не забредет к нам больше, летописец тягот, темных времен и быта, быта асфальтовой Москвы. Читает Белла. Читая, она так высоко закидывает свой хрустальный подбородок, что не видно ни губ, ни лица, все лицо оказывается в тени, видна только беззащитно открытая шея с пульсирующим неземным знобящим звуком судорожного дыхания.

Бывал Шагал. Белый, прозрачный, как сказочный морозный узор на стекле с закатным румянцем. В той же манере он сделал иллюстрации к моим стихам. Вот он, потупясь, из-под деликатных кисточек бровей косится на барственный осанку Константина Симонова и вздыхает Зоя: «О! давненько я такого борща не кушал. Еще полтарелочки, а?»

Да нет же, я ошибся, это, конечно, в другой раз было, дурная черная дыра, ты подводишь меня, это было уже в Переделкине — а сейчас безбородый Боря Хмельницкий, Бемби, как его звали тогда, что-то травит безусому еще Валерию Золотухину. Тот похохатывает, как откашливается, будто в горле першит, будто горло прочищает перед своей бескрайней песней «Ой, мороз, мороз...».

В душераздирающих своих воспоминаниях о Высоцком Валерий Золотухин пишет: «У Андрея Вознесенского на квартире состоялось заседание друзей Володи в его присутствии. Друзья объяснили ему ситуацию, просили не пить. Высоцкий обещал... Зоя сказала: «Говорят, что он зазнался, но мы этого не заметили с Андрюшей». Увы мы тогда еще не знали о наркоте...

В открытый проем балконной двери залетают снежинки и тают, касаясь голых разогретых плеч головокруглительно красивой Людмилы Максаковой.

В проем двери, затягивая, глядела великая тьма колодца двора. Двор пел голосом Высоцкого.

Перед тем, как запеть, Володя взглядом тронул меня, как бы прося разрешения. «Он обожал Вознесенского, даже почитал его. Как-то по-детски чисто и страстно, как, например, итальянцы относятся к Мадонне. Не станем обсуждать — заслуживал ли такого отношения Вознесенский, ведь любовь не обсуждают», — читаем мы сегодня в мемуарах одного из моих подражателей, которого сам Володя называл «Вознесенский для бедных». На счет Мадонны мемуарист подзагнул, конечно. Я любил его — любовь не обсуждают.

Когда он рванул струну, дрожь пробежала. Он пел «Эх, раз, еще раз...», потом «Коней». Он пел хрипло и эпохально:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Это великая песня.

Когда он запел, страшно стало за него. Он бледнел испуганной бледностью, лоб покрывался испариной, вены вздувались на лбу, горло напряглось, жилы выступали на нем. Казалось, горло вот-вот перервется, он рвался изо всех сил, изо всех сухожилий...

Пастернак говорил про Есенина: «Он в жизни был улыбчивый, королевич-кудрявич, но когда начинал читать, становилось понятно — этот зарезать может». Когда пел Высоцкий, было ясно, что он может не зарезать, а резаться.

Что ты видел, глядя в непроглядную лунку гитары?

В сорок два года ты издашь свою первую книгу, в сорок два года у тебя выйдет вторая книга, и другие тоже в сорок два, в сорок два придут проститься с тобой, в сорок два тебе поставят памятник — все в твои теперь уже вечные сорок два.

Постой, Володя, не уходи, спой еще, не уходи, пусть подождут там, спой еще...

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...



пустив голову, осторожно в день его рождения, 25 января, мы несем венок на могилу. Уже вторая годовщина его смерти идет.

Венок выше нас.

Когда заносили, разворачивали венок, я оказался на мгновение за венком, лицом к процессии. И вдруг на миг в овальной хвойной раме венка поплыли лица тех, кто шел за венком, тех, кто начинал с ним театр, родные любимые лица — Боря, Тая, Валера, Зина, Коля, Алла, Таня, Веня, — в эту минуту не знаменитые артисты, нет, а его семья, его театр, пришедший к усопшему брату своему, безутешные годы театра плачут по нему, плачут, плачут...



чем говорит мне гостеприимный скульптор?

Выезжаем за ограду, горизонт образован идеальной линией зеленого холма.

Скульптор будто понимает вас без слов.

— Тут хотели фабрику построить, весь ландшафт опаскудили бы. Вот и пришлось откупить у них все это пространство. Я насыпал холм, найдя сегментную форму, хотелось на нее поставить скульптуру, да, как ни примеряю, все не подходит.

Он лепит не только из меди и гипса — он лепит холмами и небесами.

— Узнаете? — спрашивает скульптор, объезжая две плоские формы с проемом между ними, как потемневшие оркестровые тарелки, сдвинутые за миг до удара.

...ослепительный Лоуренс Оливье читает «Параболическую балладу». Идет мемориальный вечер памяти Элиота... Идет шестьдесят четвертый год. Все живы еще. И вы только что написали «Озу».

Вы беспечно и уверенно стоите на сцене. Но в шею дует. За вашей спиной ощущается холодок движения — на кружащейся, едва-едва кружащейся сцене плавно вращаются две огромные вертикальные царственно белые тарелки, специально изготовленные для этого вечера. От их вращения шевелятся щекочущие волосы над вашей шеей, вы чувствуете холодок за спиной, по лицам зрителей плывут белые отсветы, за окном шумят шестидесятые годы.

И какое-то предчувствие спазма сводит горло.

Увы, не только овации были памятью того года.

Меня мучили страшные рвоты, они начались год назад и продолжались жестоко и неотступно. Приступы этой болезни, схожей с морской и взлетной, особенно учащались после вечеров. В воспаленном мозгу проносилось какое-то видение Хрущева с поднятыми кулаками. Видение вопило: «Вон! Вон!» — вздымало на меня кулаки, грозило изгнать. Из пасти летели брызги. Врачи говорили, что это результат срыва, нервного перенапряжения, шока, результат перенесенного бранья с трибуны. Нашли даже какое-то утоньшение стенки пищевода.

Основным ощущением того времени была прохлада умывальной раковины, прикоснувшейся к горячему лбу. О, облепанные хризантемы!..

Дамы, отойдите! Даже тебя я стесняюсь, дай, дай же скорее мокрое полотенце. Выворачивайся наружу, чем-то отравленная душа!

Я боялся, что об этом узнают, мне было стыдно, что меня будет жалеть. Внезапно, без объяснения я уходил со сборищ,

не дочитав, прерывал выступления. Я перестал есть. Многие мои поступки того времени объясняются боязнью этих приступов. Жизнь моя стала двойной — уверенность и заносчивость на людях и мучительные спазмы в одиночестве. Через пару лет недуг сам собой прекратился, оставшись лишь в спазмах стихотворных строк.

Очень завидую вам, — говорит скульптор. — Поэзия — высшее из искусств. Скульптура замкнута в себе. Поэзия — открытая связь людей. Я знал Дилана Томаса, Стивена Спендера. Поэзия — самая необходимая ветвь в искусстве.

Я думаю о прошедших годах, о феномене поэзии и феномене нашей страны. За все эти годы я ни разу не видел, чтобы книга хорошего поэта лежала на прилавке. Зал на серьезных поэтов полон. Глухие к поэзии обзывали это модой. Если бы это было модой, это не длилось бы четверть века. Поэзия — национальная любовь нашей страны.

Не только элитарным вечером Элиота знаменит лондонский 1964-й. Эхо московских Лужников, когда впервые в истории четырнадцать тысяч пришли слушать стихи, колыхнуло западную поэзию. Ареной битвы за поэтического слушателя стал круглый Альберт-холл — мрачное цирковое сооружение на пять тысяч мест. Это был риск для Лондона. Съехались вожди демократической волны поэзии. Прилетел Аллен Гинсберг со своей вольницей. С нечесаной черной гривой и бородой по битническому стилю тех лет, в черной прозодежде, философ и эрудит, в грязном полосатом шарфе, он, как мохнатый черный шмель, врвался в редакции, телестудии, на молодежные сборища, вызывая радостное возмущение. Уличный лексикон был эпатажем буржуа, но, что главное, это была волна против войны во Вьетнаме. Он боготворил Маяковского.

Обожали, переполняли, ломились, аплодировали, освистывали, балдели, рыдали, пестрели, молились, раздевались, швырялись, мяукали, кайфовали, кололись, надирались, отдавались, затихали, благоухали, смердели, лорнировали, блевали, шокировались, не секли, не понимали, не фурыкали, не волокли, не контактировали, не догоняли, не врубались, трубили, кускусничали, акулевали, клялись, грозили, оборжали, вышвыривали, не дышали, стонали, учились, революционизировались, поняли, скандировали: «Ом, ом, оом, оооооооо!»

Овации распатывали Альберт-холл.

На цирковой арене, окруженной зрительскими ярусами, сидели и возлежали живописные тела поэтов. Вперемежку с ними валялись срубленные под корень цельные деревья гигантской белой сирени. Полулежала молодая Индира Ганди в зеленом сари. Периодически то там, то здесь, как гейзер, кто-то вскакивал и произносил стихи. Все читали по книгам. На Западе поэты не знают своих стихов наизусть. Крепыш австриец Эрнст Яндл, лидер конкретной поэзии, раскрывал инстинктивную сущность женщины — фрау. «Фр... фр... — по-кошачьи фыркал он, а потом ритмически лял: — Ау! ау!» Заводились. Аллен читал об обездоленных, называл адрес свободы. Он аккомпанировал себе на медных тарелочках. «Ом, ом!» — ревел он, уча человечности.

Чего ты жаждешь, зияющая пасть аудитории? Боб Дилан говорил мне, что обожание аудитории может обернуться выстрелом. Он даже одно время боялся выступать. Это было за-долго до убийства Леннона.

И за этой массовой, обрядом, хохмой, эстрадой совершалось что-то недоступное глазу, чувствовался ход некоего нового мирового процесса, который внешне выражался в приобщении к поэзии людей, дотолпе не знавших стихов.

Разве это только в Москве?

Расходились. Отшучивались. Жили. Забывали. Вкалывали. Просыпались. Тосковали. Возвращались душой. Воскресали.

Откалывала номера реклама.

Вот одна афиша: «В Альберт-холле участвуют все битники мира: Л. Ферлингетти... П. Неруда... А. Ахматова... А. Вознесенский...» В те дни Анна Ахматова гостила в Англии, получила оксфордскую мантию. Я не мог посетить этот церемониал, в тот же вечер у меня было выступление в Манчестере. Профильная тень Ахматовой навеки осталась на мозаичном полу вестибюля Лондонской национальной галереи. Мозаика эта выполнена в сдержанной коричневой гамме Борисом Анрепом, инженером русского происхождения. Еще в бытность в России Анна Андреевна подарила ему кольцо из черного камня. Анреп носил это кольцо на груди подвешенным на цепочке — маленькое черное «о» колечка.

Во время войны Анреп утерял кольцо. Когда Ахматова приехала в Лондон, она хотела видеть его. Но Анреп заблаговременно исчез в Париж, опасаясь, что она спросит о кольце. Возвращаясь домой через Париж, Ахматова позвонила Анрепу. Они встретились. Она не спросила о кольце. Эту историю мне рассказал оксфордский мэтр сэр И. Берлин, один из самых образованных и блестящих умов Европы.

Помните «Сказку о черном кольце»?

Потеряла я кольцо...
 Как, взглянув в мое лицо,
 Встал и вышел на крыльцо.
 Не придут ко мне с находкой.
 Далеко за быстрой лодкой
 Забелели паруса.
 Заалели небеса.

На мозаичном полу в овальных медальонах расположены спрессованные временем лики века — Эйнштейн, Чарли Чаплин, Черчилль.

В центре, как на озере или огромном блюдище, парят и полувозлежат нимфы. Нимфа Слова имеет стройность, челку, профиль и осиную талию молодой Ахматовой. Когда я подошел, на щеке Ахматовой стояли огромные ботинки. Я извинился, сказал, что хочу прочесть надпись, попросил подвинуться. Ботинки пожали плечами и наступили на Эйнштейна.

На мозаичном полу в вестибюле расположены киоски для путеводителей, проспектов, открыток. Толпятся люди. Полируют подошвами лики великих, впрочем, не причиняя им видимого вреда.

Толпа валила в галерею. Любящие люди шли смотреть вывешенных кумиров, по пути топча их лица и имена.

Ответьте, пожалуйста, академик Лихачев, астроном истории и языка, Дмитрий Сергеевич, ответьте, пожалуйста, не встречалось ли вам в ваших пространствах непознанное пятно? Лихачев поднимает глаза. «Вы больны?.. Прочитайте сердцем несколько раз «Слово о полку Игореве», — отвечает. Судьба русской интеллигенции, годы лагерей проступают сквозь его лицо.

Он разглаживает на столе рукопись, как кольчугу, сотканную из ржавых «о».

Осы, бессонные осы залетают в мое повествование, золотые тельца, крошечные веретена с нанизанными на них черными колечками.

Меня мучают осы из классических сот погибшего поэта: «Вооруженный зреньем узких ос...», осы заползают в розу в кабине «роллс-ройса», «...осы тяжелую розу сосут...».

осы, в которых просвечивает имя поэта. Ос особенно много этой осенью. Имена проступают, порой неосознанно, сквозь произведения.

«Бор, бор» — будто имя слышится в строках: «Этого бора вкусный цукат, к шапок разбору...», «И целым бором ели, свесив брови, брели на полузанесенный дом...». Вы слышите? Проборматывается «бор», обрывок обмолвленного имени, мета мастера, оборванная часть его автографа, его отражение в природе — двойник духа — бор, бормотанье, бабочка-буря, бррр...

Это стиль нашего века. Рекомендовать себя векам по имени не было повадкой стихотворцев прошлых столетий. У Дениса Давыдова или Дельвига собственные имена звучат шуточно. Классичный мастер нашего века произносил свое имя подсознательно. Судьба просилась наружу, аукалась со словарем. Хотя кто знает — подсознательно ли? Ведь в слове «акмеизм» было закодировано имя Ахматовой.

С какой сердечностью, распаханностью, незащищенностью, предчувствием скорого расставания с кратковременным «я» повторяется в стихах Есенина: Сергей, Сережа, Сергуха, Сергунь, Сергей Есенин! Как ковано звучит «Владимир» Маяковского! Цветаева зашифровала себя в море.

А что скажет нам имя «Мур»? Как оно проступает в его твореньях? Как подсознательное «я» проявляется в очертаниях его созданий? Откуда его овальные дыры, пустоты, ставшие его манерой?

MOORE — так пишется по-английски его имя. Оно образовано двумя «о». Да простят мне английские муроведы наивность лингвистического метода! Я вижу, как вытягивается уже достаточно вытянутое аристократическое лицо Джона Рассела, автора монографии о Муре, мы многие часы провели с ним в беседах: ах, вот куда клонит этот русский! Да, я уверен, что эти «о» стали неосознанно творческим автографом Мура в камне — отсюда его отверстия, овальные люки в пространстве. Скульптор подсознательно мыслил очертаниями родных букв.



сведомленный критик тут прерывает мое повествование. Его глаз пролезает в скважину моей двери. Он весь по пояс протискивается, как змея, за своим сладострастным глазом.

— Ну автор, вот, хе-хе, и до двух нулей доигрался. Туалет-

ные символы. Пушкин так бы не написал. Конечно, я читал Пушкина. Но у него это было более по-народному. Или по-французски.

Он уныривает в нору замочной скважины и затихает, уже куда-то пишет свои доносы. Жаль его. В его взгляде вечная ущемленность.



т нее осталась у меня манера читать страницы. Я вижу сначала жемчужную горсть «о», разбросанных по листу, а потом уже остальные буквы.

Страница газеты, как оконные стекла в оспинах первых капель дождя, напоминает мне о ней.

В хрустальной морозной пушкинской строфе 1829 года замерли крохотные «о», как незабвенные пузырьки шампанского:

Мороз и солнце...
Открой сомкнуты негой взоры...
Северной Авроры...
Вечор, ты помнишь...
Пятно... окно...

Может, он вспомнил Михайловское два года назад, когда так хотелось шампанского и приехал Пущин и черная бутылка дельфином скакнула в снег?

Но навек остались пузырьки прекрасного мгновения, замершего в строфу тоста, — щекочущие до слез игольчатые пузырьки Кликко...

Оказалось, что буква «о» — самая распространенная в русском языке, основа нашей речи, а стало быть, и сознания. Не она ли ключ к национальному характеру? Даль пишет: «О — по старинке «он», повторяется не в пример чаще всех прочих».

«Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история» говорят об овальном мировоззрении Гончарова, восприятию окружности бытия.

Впрочем, эта буквица объединяет все европейские языки, а заокеанцы даже подымают пальцами «о», т.е. «о'кей», в знак одобрения.

Сейчас, когда я пишу эти строки, по крыше лупит благословенный рахманиновский переделкинский ливень. Потолок протекает. Мы ставим два таза — один, большой, эмалированный, посредине комнаты, другой, поменьше, жестяной, в правый угол, где у меня висят акварели.

Небесная капля, набухнув в штукатурке потолка, вздув ее, как творог марлю, глухо шлепается кругами в таз. Тазы наполняются полнозвучным «о» — большими и малыми, пропахшими садовым духом цветенья, профильтрованными потолком июньскими небесными буквицами. Кошка пытается достать их из таза лапой.

Завтра надо с этим справиться. Чудо кончится.

Впрочем, Лазуковой, которая живет в двух шагах, не до этих красот. Она недавно схоронила мужа и живет с сыном. Я заходил к ним вчера. Посредине комнаты выстроились корыта, тазы, ведра. Сплошное пролитье потолка. Вошла соседка, тоже мученица верхнего этажа: «Год просим, все не ремонтируют, идола. Помогите нам написать куда-нибудь, лучше в «Труд». Напишу в это повествование. Может, чем поможет.

Я думаю: что притянуло небесную гостью к нашему жилью?

Дом наш на три семьи. За задней стенкой недавно умер сосед, оставив печальный вакуум небытия. Он был добрым поэтом, знал Есенина.

Затененный участок зарос елями, крапивой и угрюмством. В подслеповатых комнатках даже в жаркий полдень сыро. Но в этом хмуром клочке земли есть какая-то душевная волшебная тяга, как в затаенном характере пушкинской Татьяны или безответном чувстве. Именно здесь, у покосившегося забора, среди крапивы и бурелома, находится заповедный уголок пейзажа, который приехавший великий художник назвал самым красивым на свете и дорогим. Может быть, поэтому здесь проходит незарастающая тропа, сделавшая наш двор проходным, а может быть, оттого, что это сокращает путь в соседний магазин.

Дыры — слезы сыра.

Искусство нарезания сыра, костромского или голландского со слезой, — в тонкости и ровности ломтя. Нож должен просвечивать сквозь золотую плотность сыра. Раскройте страницу «Старосветских помещиков», пожелтевшую от времени, с золотым обрезом, посмотрите на свет терпкую плотность его письма — и вы увидите колечки «о», как дырочки сыра, разбросанные по прозрачному листу.

Какой сыр без дыр? — Какая проза без слез?

Гоголь, завершая «Мертвые души», видел прекрасное далеко России сквозь каменные ожерелья римских балюстрад.

Самое гениальное «о» мировой литературы — это колесо чичиковской брички, которым начинаются «Мертвые души». «Докатится или не докатится до Москвы?» — обсуждают мужики. А до Петербурга? А до наших дней? А далее?

Докатилось.

— **О**, поэзия... — повторяет Мур, — она высшее из искусств. Она связывает людей, она — прямое выражение духа.
— И музыка, — вставляет Джон Робертс, с которым мы приехали.

На пьедестале лежит огромная скульптура с двумя дырами, как тяжелые каменные очки с выбитыми стеклами, словно оставленные после себя гигантом. В них, как в выбитые окна войны, свищет музыка.

Я вижу другую оправу, нервные щеки и плоский нос, как костяной нож для разрезания гениальных страниц.

Русская музыка стала главной нотой XX века — музыка Шостаковича, Прокофьева, Стравинского.

«**О** тветьте Шостаковичу». Он позвонил мне в 1975 году. Мы не были знакомы до той поры. Позвонив, он попросил приехать к нему и подумать о совместной работе. Речь шла о переводе сонетов Микеланджело, самого скульптурного из поэтов.

Я приехал в его сосенные пенаты. Когда он отвернулся к окну, я увидел измученный его профиль.

Он, видно, только что подстригся. Короткая стрижка сняла весь висок и почти весь затылок. Слегка вьющаяся внизу когтистая челка держала голову, вонзалась в лоб, как темная птичья лапа — невидимая мучительная птица судьбы и вдохновения.

Он быстрым свистящим шепотом сообщил мне свою идею. Волнуясь, он мелко скреб ногтями низ щеки, будто играл на щипковом инструменте.

Той же мелкой дрожью дергался нагретый барвихинский воздух за стеклами террасы.

Та же дрожь щипковых, струнных слышится в третьей части любимой мною его Четвертой симфонии, где ничего не

происходит, лишь слышится тягостный холод ожидания, что за ним придут, и как мороз по коже этот леденящий шорох — шшшшш.

Входила жена его Ирина Антоновна, похожая на строгую гимназистку. Потом он играл — клавиатура утапливалась его пятерней, как белые буквы «ш» с просвечивающимися черными бемолями, — он был паническим пианистом!

Две буквы «о» в его фамилии, как и оправа, лишь прикрывают его сущность. Он не был круглым. В нем была квадратура гармонии. Она не вписывалась в овальные вопросительные уши. Линия лица его уже начала оплывать, но все равно сквозь него проступали треугольники и квадраты скул, носа, щек.

Потом встречи длились и в Барвихе, и в Москве, и над бытовыми беседами, чаепитиями, дачными собаками стало возникать уже то неуловимое понимание, что возникает не сразу и не всегда, но предшествует созданию.

Шостакович — самый архитектурный из композиторов. Он мыслит объемом пространства, он не прорисовывает детали. Шостакович — эстакада, достоевская скоропись духа. Если права теория о неземном происхождении жизни, то он был клочком трепетного света, невесть почему залетевшего в наш быт, — его даже воздух ранил.

На полярной станции «СП-24» над зеленой прорубью в палатке аппаратуры слушает лед бородач с гоголевской фамилией Гаврило. Он сутками, уйдя в наушники, бледный от страсти, отрешенно ловит кайф музыки льда. В наушниках музыка шорохов, касанье рыб, океана, небытия. Они шуршат, как уже знакомый нам зов «о». Он, как марафетчик, зовет меня приобщиться, познать свою страсть. «На что это похоже, Гаврило?» — «Ну, немного на органные звуки или как чайки кричат». И улыбается вспоминая. В двадцатые годы поэт написал: «По городу, как чайки, льды раскричались таючи». Сейчас фанат музыки повторил это ощущение. Меня пронзила эта неслыханная доселе гармония шорохов, льда, небытия, напоминающая Стравинского и странные шорохи Четвертой симфонии.

Из затеи с Микеланджело ничего не вышло, хотя я перевод сделал. Помню, он созвал к себе домой Хачатуряна, Щедрина, ну почти весь секретариат, и заставил меня им прочесть. Сам нервно, по-кошачьи чесался. Был доволен.

Но что-то там не успело, или певец уже разучил прежние тексты, или не заладилась новая музыка, но случилось так,

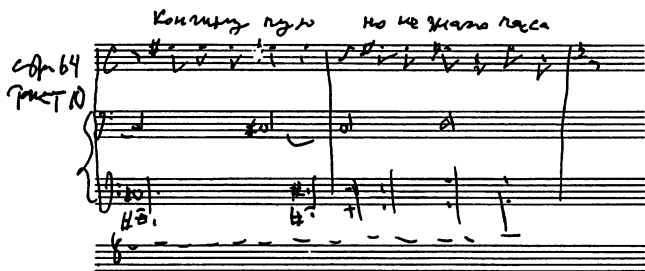
что в Ленинграде на премьере исполнена была музыка с прежними текстами, которые ему хотелось заменить.

Он написал мне длинное Достоевское извинительное письмо. Это была не только нота бережности и деликатности, за ней предчувствовалось иное.

Он задумал и рассказал мне замысел нового своего произведения, которое в уме уже написал на темы семи моих стихотворений, среди которых были «Плач по двум нерожденным поэмам», «Порнография духа» и др. Но записать он эту музыку не успел. Музыка осталась иным стихиям.

Дыра этой ненаписанной вещи слилась с дырами других не написанных им вещей и влилась в безмолвную бездну небытия, что нас окружает.

Он был так слаб в последние дни, что пальцы не держали листа бумаги. У меня хранится партитура его музыки к моему переводу, где дергающимся кардиограммным почерком написаны ужаснувшие слова: «Кончину чую».



ответьте детству!

В какую дыру забросила нас эвакуация, но какая добрая это была дыра!

Частенько у нас отключали свет. Керосин жалели. Население нашего деревянного дома, мы все сидели на крыльце, озаренные ровным светом ночного бесплатного неба. Сумерничали. Не матерились.

Курящие сидели на корточках, держа самокрутки двумя коричневыми от табака пальцами, большим и указательным, огоньком вниз. Когда затягивались, красным светом озарялись снизу губы, ноздри и морщины щек. Пухлые губы Мурки-соседки появлялись и исчезали из темноты, как в круглом зеркальце. После затяжки она мелко сплевывала, далеко цыкала сквозь зубы. От нее пахло цветочным мылом. Щуплый

Потапыч, только что отмотавший срок, докуривал чинарик до края, почти обжигая губы.

Говорили, что прибыл состав с ленинградцами. «Доходяги», — жалели их.

Экономные сигарки скручивались из крупно нарубленного самосада. Газеты ценились. Табак рос на огородных грядах темными лапушными листьями.

К соседке ездил вздыхатель, пожилой шофер из летной части. Машину он заводил во двор, к крыльцу. Мурка выжидала.

Один раз он привез ей апельсин. Видно, их выдавали летчикам. Апельсин был закутан в специальную папиросную бумажку. Мурка развернула ее и разгладила на коленке. Коленка просвечивала сквозь белую бумагу, как ранее апельсин. На бумаге было напечатано круглое солнце с лучами и какая-то надпись по-грузински.

«Дар солнечной Грузии», — сказал Потапыч. Мурка сложила бумажку, как платочек, в четыре раза и сунула в карман ватника.

— На табачок хорошо, — сказала хозяйка.

«Хорошо через папиросную бумажку на гребенке дудеть», — подумал я. Я знал апельсины по первомайским демонстрациям и новогодним елкам.

Мурка дочистила кожуру до донышка, где мякоть образует белый поросячий хвостик. Кожуру положила в карман ватника.

Она ела апельсин, наверное, полчаса. Долька за долькой исчезали в красивой ненасытной Муркиной пасти. Когда осталось две дольки, она сказала мне: «На, школьник, попробуй». И дала одну. Скулы свело от счастья.

Рядом остывал мотор «студебекера». Сибирские сумерки пахли бензином и апельсинами. Этот запах мешался с запахом махорки, псины и молочным запахом тесового крыльца, только что вымытого горячей водой.

Потом они сидели, обжимаясь, в кабине, подсвеченные красным щитком, и слушали радио при включенном двигателе. Стекла они опустили, чтобы было слышно всем.

Шла трансляция из Ленинграда. Негромкая музыка была хриплой, режущей, непонятно страшной и великой — до кожи продирало.

Слушали напряженно. Лица все чаще озарялись и гасли. Поблескивал Тобол. Все, что они слушали, было про них, про их судьбы. Они не понимали всего, о чем писал компози-

тор. Но все, что происходило с ними, со страной, стало музыкой.

Останавливались у частокола.

— Что такое передают? — спрашивали.

— Шостаковича, — не сразу сказала Мурка.

— Доходяга, а какую симфонию написал! — сказал Харитоныч.

Обрубок рельса висел на краю деревни. К нему вела скользкая обледенелая тропа. Он висел на огромном суку березы, на таком же светло-сером небе, висел как хмурый пугачевец или Франсуа Вийон российских рельс.

В тихую ночь он обманно поблескивал, как отрезок запретного отвесного пути к Луне.

Когда не видели взрослые, мы раскачивались на нем, а в мороз мгновенно, чтобы не примерзнуть, лизали языками. Он был обжигающе кислый на вкус.

Когда горели Чуркины, нас разбудил отчаянно чистый, сплошной, иступленный, часто колотящийся звон.

Бледная до посинения Мурка в огромной колючей шинели со своего солдата, наброшенной на заспанное голое тело, лупила в рельс металлической плухой.

В красном мгновенном мраке застыли фигуры с топорами и ведрами, в гипсовых подштанниках на полуголых телах.

Красный отсвет, как ободок, бился на рельсе. Рельс плясал в ночном небе, выписывая гигантские безумные буквы, вопило набатной музыкой, шаталось древо из огненных букв.

— **О**, музыка... — добавляет Джон Робертс. Мур не любит, когда его прерывают. Поэзия — высшее из искусств, — завершает он дискуссию. И ведет нас осматривать мастерские. Это свободно расположенные павильоны, просторные, белые, как глянцевые обувные коробки, в которых хранятся колодки его скульптур. Вот лежит огромная знаменитая «Лежащая». Против нее у стены, изнывая и потягиваясь, примостился огромный слоновий бивень, сантиметров тридцать в диаметре.

— Ну-ка попробуйте поднять.

Я с трудом приподнимаю — тяжело.

— А каково такую штуку на носу носить? — смеется.

Отмыкать павильон ему помогает Анн, только что окончившая искусствоведческий. Она облокотилась в одной из его студий о верстак, и непроглядный рукав ее черного бархатного парижского пиджачка напудрился вьевшейся гипсовой

пылью. Гипсовый локоть замирает в изгибе. Осторожнее, мисс, вы становитесь скульптурой Мура!

Открытая форточка прямоугольна и пуста. Где же ты сейчас носишься, черная дыра, перекаати-поле, перекаати-небо? Видишь, я совсем не помню тебя. Очень надо! Вот уже сколько белых прямоугольных страниц я ни разу не вспомнил о тебе. Я не помню о тебе утром, не помню днем, совсем не помню вечером.

Но зато ты научила меня науке воспоминания. «Вы, люди, чтобы увидеть прошедший образ, оглядываетесь на ту же точку, где он был. Но там его уже нет. Вы так ничего не увидите. Чтобы попасть в утку, надо стрелять на три утки вперед. Прошлое летит перед вами. Смотрите в сейчас — и вы увидите прошлое».

Так, глядя в сегодняшние работы Мура, я вижу просвечивающие сквозь них вчера и сегодня.

Иногда ты пошаливала. Шутки у тебя были дурацкие. Подкравшись сзади, ты сталкивала меня в чужую память и судьбу. Я становился то Гойей, то Блаженным. Ну и досталось же мне, когда я забрался в Мэрилин Монро!

Отчаянно ревнива ты была!

Стоило женскому голосу позвонить, как ей из трубки в ухо ударял разряд. Глохли. Многие лысели. Стоило мне притронуться губами к чашке — ты разбивала ее. Особенно ты ревновала к прошлому. Ты сладострастно выведывала, вынюхивала память о моих давних знакомых. Ты озарялась. Как злобна и хороша ты была! Я подозреваю, что ты даже могла влюбиться из ревности, а не наоборот. Уже давно забывшие обо мне, ничего не подозревавшие мои знакомые вдруг теряли слова на сцене, разбивались на машинах, по рассеянности подносили спички вместо газовой конфорки к бумажному халатику и горели синим пламенем.

Окружающие осуждали. Завидя нас, вибрировали. «Чаше заземляйся», — посочувствовал проносющийся Арно и поспешно поднял стекло. Позвонила тетя Рита: «До меня дошли слухи, которым я не верю. Но чтобы не усугублять...» «...лять, ять, ять», — захулиганили феи телефона. Тут я вспомнил, что тетя Рита год как умерла.

Но сейчас даже отверстия в скульптурах не напоминают мне о тебе.

О тчего великим скульптором именно XX века стал сын английского шахтера? Англия — островная страна, скульптурная форма в пространстве. Космонавт рассказывал, что Англия похожа на барельеф. Англичанин рождается с подсознательным мышлением скульптора. Надутые ветром белые парусники уже были пространственными скульптурами. Ставший притчей во языцех английский консерватизм тяготеет к замкнутой структуре. Традиционные английские напитки виски или джин с кубиками льда, погруженными в прямые цилиндрические бокалы, имеют скульптурную композицию.

Но не только место рождения сделало его скульптором века.

Этот дом свой, названный «Болота», служивший ранее фермой, скульптор купил в 1941 году, после того как его прежнюю мастерскую разрушила авиабомба.

Мур стал знаменитым в 1928 году, после Орлгстонской выставки. Необходимым, своим для миллионов людей он стал после рисунков «Жители бомбоубежища». Стихия народной беды и истории задула в трубы муровских дыр. Каждую ночь сто тысяч лондонцев прятались в метро от жесточайших бомбежек. Они приходили, располагаясь с вечера на платформах, со своими снами и незамысловатым скарбом.

Сын шахтера стал Дантом военного метро. Серия станковых рисунков, каждый размером около полуметра, была выставлена во время войны в Лондонской национальной галерее. Думаю, что это самое сильное, что было создано во время войны западным искусством. Обидно, что ни в одном нашем музее нет работ Мура. Ни разу он у нас не выставлялся.

Вот эти рисунки. Огромная дыра туннеля засасывает тысячи крохотных, оцепенелых во сне женщин. Следующий рисунок — крупный план. Открыв рты, закинув онемелые руки, четверо спят под общим одеялом. Цветное одеяло похоже на волны времени. Сидящие рядом, как тутовые куколки, фигуры обмотаны пряжей пастельного штриха. Длинные волокнистые линии карандаша как бы опутывают их цепенящей паутиной. Точка зрения выбрана художником снизу, как бы лежа или сидя рядом с ними.

Время не случайно выбрало Мура. Вся его художническая жизнь была как бы подмалевком к этим работам.

— Я увидел там сотни лежащих фигур Генри Мура, разбросанных вдоль платформ, — вспоминает создатель. — Даже дыры туннеля, казалось, похожи на дыры в моих скульпту-

рах. Я очень остро осознавал в рисунках бомбоубежищ свою связь со страданиями людей под землей, — добавляет он.

Вот рисунок двух женщин. Есть замедленное величие в их тогах из одеял. Они напоминают фигуры фресок его любимого Мазаччо. Шнуробразный штрих походит на Дега. Иногда мелькают мотивы Сезанна.

Вся мировая культура ожидает гибели в туннелях бомбоубежищ.

Ночами Мур спускался под землю. Он бродил мимо зашпанных фигур, по несколько раз прицеливался глазом, потом отходил в угол и украдкой делал крохотные наброски на конверте или тайном клочке бумаги — заметки для памяти. Он стеснялся смущать людские страдания своим соглядатайством. Виденное он переносил дома на ватман. Он работал пером, индийской тушью, восковым карандашом и размывом.

Мастер вспоминает, как он открыл технику рисунка. Но главного своего секрета он недоговаривает. Когда он нагнулся за рисунком, я увел его угольный карандаш. Он был без грифеля. В нем была спрессованная память, оправленная в деревяшку черная дыра. Но молчок! Пусть думает, что я не догадываюсь. Рассказывает же он так:

— Я нашел новую технику. Использовал несколько дешевых восковых карандашей, которые куплены в Вульворте. Я покрывал этим карандашом самую важную часть рисунка, под воском вода не могла размыть линию. Остальное без оглядки размывал и потом подправлял пером. Без войны, которая направила нас всех к пониманию истинной сущности жизни, я думаю, многое упустил бы.

То же оцепененье бомбежек оркестровал Элиот в своих «Четырех квартетах»:

В колеблющийся час перед рассветом
 Близ окончания бесконечной ночи
 У края нескончаемого круга,
 Когда разивший жалом черный голубь
 Исчез за горизонтом приземленья
 И мертвая листва грохочет жестью.
 И нет иного звука на асфальте
 Меж трех еще дымящихся районов...

С дантовских перекрытий бомбоубежищ капает вода. Фигуры оцепенели в ожидании. Меркнет лампочка без абажура.
 У меня затекает нога. Хочу повернуться, но тесно. Щеку

шерстит мамина юбка. С бетонных сводов серпуховского бомбоубежища капает — то ли это дыхание сотен людей, становящееся влагой, то ли сверху трубы протекают?

Ядом клюют носом бабушка и сестренка. Бабушка всегда прихватывала с собой свою маленькую подушку, думку, как ее в старину называли.

Я, как самый маленький, лежу на матрасике, который мы носим с собой. В спину упирается что-то. В матрас зашиты нехитрые драгоценности нашей семьи — серебряные ложки, бабушкины часы и три золотых подстаканника. Во время эвакуации все это будет обменено на картошку и муку.

Вокруг, захваченная врасплох сигналом воздушной тревоги, наспех отмахивается от сна, протирает глаза, достегивается, подтыкает шпильками волосы стихия народного бедствия. Реют обрывки снов. Воспаленно хочется спать.

Это в основном семьи рабочих. Наш дом от завода Ильича. Несмотря на пыль подземелья, многие наспех одеты в праздничные добротные вещи, в самое дорогое на случай, если разбомбят. Кончается лето, но некоторые с шубами.

Так на ренессансных картинах, посвященных темам Старого и Нового Завета, страдания одеваются в богатые одежды.

Заходится, вопит младенец, напрягая старческую кожу лица, сморщенную, как пунцовая роза. Распатланная мадонна с помятым от сна молодым лицом, со съехавшей лисьей горжеткой убаюкивает его, успокаивает, шепчет в него страстным, пронзительным нежным шепотом: «Спи, мой любимый, засраец мой... Спи, жопонька моя, спи».

Для меня слова эти звучат сказочно и нежно, как «царевич» или «зоренька моя».

В незавязанных ботинках девчонка из соседнего дома, связанная со мной тайной общностью переглядки, пытит, тискает щенка, хотя это и запрещено. Щенок спрятан в платок, но вылезает то серой лапой, то черным носом, как серый волк из сказки о Красной Шапочке. Бабушка Разина похрапывает, привязав к ноге чемодан с висячим замком, чтобы не уперли, во сне дергает ногой. Это напрасно. Никого не обворовывали.

Местный вор Чмур, изнемогая от бездействия, томится головой на коленях у жены, которая вдвое старше и толще его. «Чмурик, ну Чмурик», — успокаивает она его душу, как угоривают вдруг заворчавшую во сне овчарку.

Мыслями все наверху. Все думают о небе. Там, в темном

небе, перекрещенном прожекторами, словно широким андреевским крестом, идет небесный бой, оттуда каждую минуту может упасть бомба, и что могут поделаться эти женщины? — только ждать, их мужья в небе, на крышах, у песочных ящиков, среди них были и Шостакович и Пастернак, тушат зажигалки, там летят раскаленные осколки, чтобы мы назавтра собирали их, продолговатые и оплавленные по краям окалиной, как фигурки Джакометти. Тем же андреевским жестом, крест-накрест, были перекрещены клейкими полосками окна всех московских домов.

Дети бомбоубежищных подземелий, мы видели столько страшного, наши судьбы и души покалечены, кое-кто пошел по кривой дорожке — но почему эти подземелья вспоминают сейчас как лучистые чертоги?

Первым чувством наших едва начавшихся слепых жизней было ощущение, конечно, не осознанное тогда, страшных народных страданий причащенности к ним.

Мы бежим с матерью по меже мимо зеленого звона овсов, я на ходу сдираю овсинки и, спотыкаясь, вышелушиваю пухлые молочкообразные зерна из длинных зеленых усов. Мы приближаемся к опушке.

Говорили, а может, ввали, что у немца далеко за лесом есть тайный аэродром, на котором он подзавраляется и летит бомбить Москву. Ополченцы прочесывали лес.

Вдруг среди бела дня он вылетел, почти задевая верхушки сосен, грохочущий «мессершмитт» с черным крестом, он летел, ковыляя, так низко, что мне казалось, будто я видел шлем пилота. Он дал несколько очередей по лесу и ушел на Малаховку. Мать толкнула меня и сестренку в канаву, а сама, зажав глаза ладонью, на фоне опасного стремительного неба замерла в беззащитном своем ситцевом, синем, сшитом бабушкой сарафане.



и и сейчас ежедневно рисует. По утрам работает над скульптурой, после обеда отдыхает, а в сумерки, когда рука уже утомилась, рисует.

— У меня три причины заниматься рисунками. Когда рисуешь, можешь разглядывать людей, это наслаждение. Хоть и опасно. Когда я работал над портретом жены, я так наразглядывался, что это чуть не стало поводом для развода, — подмигивает он мне. — Второе. Это мгновенное искреннее впечатление. Третье. Это моя поэзия.

Рисующий останавливает мгновения, он торопливо останавливает на листе лица и судьбы, спасая их от исчезновения, выхватывая из наступающей тьмы небытия. Вот еще одну спас, вот еще...

Такова же цель моих поспешных заметок — хочется хоть как-то задержать, сохранить от быстротекущего распада лица друзей, живые черты — вот еще одна, вот еще...

Как дед Мазай вытаскивал ушастых беженцев из несущегося потопа, так и пишущий спешит сохранить чьи-то жизни и минуты. Лодка прогибается. Еще одна, еще, вон еще, вон рука торчит, еще, еще вытягиваешь... Дело осложняется тем, что, спасая чьи-то минуты, ты тратишь минуты единственной жизни своей. Это делает все серьезным, а не забавой.

Мне много раз спасали жизнь. Я уже писал об этом.

Олжас Сулейменов спас мне жизнь (и себе) тем, что превысил скорость и машина, перелетев кювет, перевертывалась уже на мягком лугу. Особенно меня любили автомашины. У меня было пять сотрясений мозга.

Однажды мне спас жизнь редактор толстого журнала Никонов.

Неудавшиеся самоубийства часто вызывают юмор, это — тоже.

Судьба моя неслась с устрашающим ускорением. Я запутался. Никто не хотел печатать мою «Озу». Я понял, что пора кончать.

Близкие знают, что я никогда не жалуясь (разве листу бумаги), не плачусь друзьям и подругам в жилетку, не изливаюсь, не имею привычки делиться на бабский манер. Бестактно навязывать свои беды другому, у всех наверняка хватает своих.

Но тут подступил край. Непроглядная затягивающая дыра казалась единственным выходом.

Я попробовал собраться с мыслями. Разбухший утопленник не привлекал меня. Хрип в петле и сопутствующие отправления тоже. Я подумал о тех, кто придет. Меня, в ту пору молодого поэта, устраивала только дырка в черепе.

Я заклеил два конверта-завещания и пошел к Саше Межирову, седому теоретику, у которого был немецкий, сладко оттягивающий ладонь пистолет. «Дайте мне его на три часа. Меня шантажирует банда. Хочу поугатать», — объяснил я убедительно.

Беззаветно лживые глаза уставились сквозь меня, что-то смекнули и вздохнули: «Вчера Ляля нашла его и выбросила

в пруд. Слетайте в Тбилиси к Иосифу Нонешвили. Там за триста рэ можно купить».

Два дня я занимал деньги. Наутро перед отлетом мне вдруг позвонили от Никонова: «Старик, нам нужно поднять подписку. У тебя есть сенсация?» Сенсация у меня была.

В редакции попросили убрать только одну строку. У меня за спиной стояла Вечность. Я спокойно отказался. Бывший при этом Солоухин, который знал ситуацию, крикнул, но промолчал. Помню участие Рекемчука и других членов редколлегии. Напечатали.

Держа свежий номер журнала или потом, заплывая в утренней реке, я думал, каким я мог быть кретином тогда — не увидеть столько, не узнать, не встретить утром тебя, не написать этой вот строки.

Мы редко встречаемся с Никоновым. Мы не близки ни в жизни, ни в литературе. При встрече со мной взор его гаснет. Но сердце мое наполняется веселой благодарностью ему.

Отчего российские ветры дуют в окна и щели этой английской усадьбы? Что за ностальгический сквозняк пронзает ее насквозь? Отчего именно в этих стенах меня одолевают родные воспоминания?

Ирина, жена скульптора, русская. Они прожили вместе более пятидесяти лет. Познакомив нас, Мур буркнул:

— Ну-ка, поговори с ним по-русски. Он, наверное, устал изъясняться на чужом наречии.

Сейчас она не может сопровождать нас, читатель, потому что лежит в мучительном гипсе с переломом ноги на втором этаже дома. Ее боль передается всем гипсам мастерских.

Русские музы в мировом искусстве XX века — особая тема. И Матисса, и Дали, и Леже, и Пикассо вдохновляли русские жены. Татьяны, Гали, Вавы, Нади, русые москвички и смолянки, каково вам было носиться над мировыми безднами, среди Лаур, Делий и Валькирий!

Ответь хотя бы, где ты носишься сейчас, тоскливая перекапти-поле, перекапти-небо?

Кончив серию «Бомбубежищ», Мур отправился на родину в Йоркшир, где спустился в забой, в глубины рождения и детства, и создал рисунки, посвященные шахтерам во время войны. Он рисовал в полной темноте. Мур впервые обратился к мужским фигу-

рам. Труд шахтера под стать труду скульптора. Прорубаются тысячелетия, спрессованные в уголь.

Мрак. Свет фонарей из лба. Слепая белая лошадь. Сваи крепления. Голые мускулистые фигуры.

Мы идем за ними в прорубаемом коридоре. В проеме брезжит свет. Непроглядная стена рушится.

Иные пространства, иные люди. Встречные лица. Оранжевые, по форме, как грецкие орехи, подземные каски.

Мы попадаем в необлицованную металлическую трубу туннеля с поперечными ребрами. Поблескивают уже проложенные рельсы, много воды на стенах и под ногами. Два парня в касках толкают вагонетку с бетоном. Один оборачивается — у него лицо подпаска. В бытовке на столе рядом, за известняковой бутылкой из-под кефира, приклонены к окну два пакета с апельсинами. По восторженным непереводаемо родным оборотам речи мы понимаем, что идет строительство метро «Нагатинская».

Из темноты клубится сияние. Между прорабами, бетонщиками, лимитчиками, грунтовыми судьбами, как гипсовый кулак, вздымается белая голова архитектора Павлова. «Перекосили!» — стонет он. Его лепные локоны сжимаются гневно, как пальцы. Он как лепная белая дыра носится по подземелью. Оказалось, не перекосили.

В спокойном состоянии зодчий похож на белый мраморный бюст Гете, если бы скульптор, оставив волосы беломраморными, лицо бы отлил в бронзе.

Среди мата, толкучки он несет сияние взгляда на закинутом лице, как официант над головами приносит на закинутой руке поднос с сияющим хрусталем, наполненным вождеденной влагой.

Это первая в Москве подземная станция с круглыми колоннами. Вот они стоят — скользкие, из белого мрамора под обрез, от пола до потолка.

Трудно было утвердить этот проект, осуществлять — адски. Строители отказываются от круглой формы — она невыгодна и трудновыполнима. Ни угрозы, ни деньги, ни поллитры здесь не властны.

Подходит рабочий. Он полон какой-то невысказанной благодати. Ему надо, чтобы его поняли. Когда он приближается к колонне, белым отсветом наполняется его худое лицо, каждая морщинка вспыхивает. «Да ведь как сложно класть-то, — сияет он, дыша в сторону. — Одна плитка горбатенькая, другая пузатенькая. Подгоняешь. Ведь первая такая станция

с круглыми колоннами. Надо не осрамиться. Еще никому не удавалось».

Оранжевые щиты забора ограничивают участок стройки. Выходим по шатким доскам в раскисшую от дождя глину. Вход уже заморожен. На нем проступают эмблемы «Спартак» и «ЦСКА».

Это иероглифы жителей XXI века. Им сейчас по двенадцать—семнадцать лет. Моя знакомая видела их орду в метро «Маяковская». Их было несколько сотен. Они высыпали мгновенно из невидимых дыр XXI века. Они носились, бесились, они прыгали, разминались, никого не трогали, хохотали, мрачнели, никого не зарезали и исчезли. Отмахнуться от них просто — надо попробовать их понять, ведь они из числа тех, кто будет жить в следующем веке. Что за песни споет их новый поэт? Что за музыка в них?

Блок скифов? Или блок с фильтром?

Отвалила. Намылилась и отвалила. Отвратительный, повторяю, она имела характер!

Как-то сел у машины аккумулятор, я подсоединил ее. Мы очнулись в окрестностях Житомира.

В редкие минуты благодушия она демонстрировала мне видения ведм, российской истории и образы моего детства, которые я сам не помнил.

— Покажи мне, что меня ожидает.

— О, для этого тебе надо было познакомиться с белой дырой.

И опять взрыв агрессии.

Как-то я привел ее пообедать в наш клуб. Она высосала немые мысли всего ресторана. Потом долго болела. Я не заметил, что в углу сидел протухший критик.

Ты ее не замечала. Тебя она, может быть, недолюбливала, но не трогала. Примеряла без тебя твои платья. Брезгливо брызгалась твоими духами, и брызги замирали на ней в воздухе, как огромный одуванчик.

Управы на нее не было. Как-то в сердцах я ее ударил. Она не знала, что это такое. Вся засияла улыбкой. Она думала, что это новая игра. Мой ботинок завяз в ней. Когда я его вытащил, он был покрыт жемчужной смеющейся пылью. Потом она что-то поняла и замкнулась.

А уж как любопытна она была! Одно слово — баба. Она лакомилась новостями. Прорва их в нее вмещалась. Любопытство и подвело ее. Осенью ее украли. Заманили и умыкнули.

Через два дня сами принесли ее назад в мешке, перекошенные от тока. Я посоветовал им зарыться в землю, чтобы электричество стекало. До сих пор их не откопали — видно, не все еще стекло.

Я любил, когда она созывала гостей. Обычно приглашала Бориса Годунова, чету Макаровичных, нос Наполеона и ножку Павловой — остального она у них не помнила. Борис Годунов хорошо пел, но очень уж боялся автомобилей. Нос сидел у него на плече, как попугай, подпевая. Ножка Павловой сидела за столом строгая и прямая, чуть кивая балеткой, как туго натянутой шапочкой для душа. Угощала она телячьими запеченными окороками и лососями, которые помнила по нью-Йорку.

Как-то в лифте сексуальный маньяк, маскирующийся сумкой с инструментом Мосгаза, хотел трахнуть ее по голове гаечным ключом. Его так садануло током, что он, повибрировав, превратился в злобную растерянную энергию, которая на некоторое время увеличила скорость лифта. Через секунду лифт успокоился.

Ах, алкаши из Мосгаза! Опять сумку с инструментами в лифте забыли...

Однажды я предал ее. Но не мог же я везде таскать ее с собою! У нее в запасе была вечность, моя же жизнь была коротка.

Я сказал, что иду в контору, запер ее, а сам зарулил в гости. Когда я вывалился, напротив подъезда стояло такси с включенным счетчиком и отключенным шофером. В темноте машины я узнал ее мстительный взгляд. Дома, встретив, она ничего не сказала мне, но телефон неделю не работал.

Иногда она исчезала по своим цыганским непроглядным делам. Сначала я волновался, искал ее, боялся, что ее сожрут иные стихии и поля. Я оставлял форточку открытой, и она возвращалась. Я это узнавал по отключенному телефону.

Отлично работает телефон. Откровенно говоря, я рад, что от нее избавился. Возбужденные спелые кошки безопасно набираются солнца. Над Переделкином ревут самолеты. Никто не портит настроение.

Но какая-то пустота сосет под ложечкой, будто дыра какая тянет. Уж не сидит ли во мне самая темнота, карамазовщина, роднящая меня с ней?

Я связываю это с тоской по оставленной архитектуре.


Не заводите вторых профессий, второй страсти, второй семьи. Вас будет сосать вакуум. Ночью вы будете путать имена.

Вы начнете мудохаться с витражами. Провоняете дом эпоксидкой, но вас все равно будет тянуть.

Мне рассказывали, что мой друг-поэт мечтает, чтоб я вернулся в архитектуру. Этого же хотела бы моя мать, правда, по иным причинам. Ей хочется для меня режима и уверенных потолков. Мне снятся архитектурные сны.

Люди занимаются архитектурой не только из утилитарных соображений, а для того, чтобы заполнить пустоту, преодолеть пространство небытия, черные дыры, бездны, окружающие жизнь. Как спрессованное будущее, противостоят им белые колонны Парфенона, столп Ивана Великого, «белые дыры» стадионов.


Мне снится какая-то мраморная корона.

 тозвав меня в сторонку, слабо улыбнувшись, будто по малой нужде, Мур заводит меня за вертикальную мраморную плиту.

— Я знаю, чем вы интересуетесь. Ее здесь нет. — Он проводит ладонью по нагретой от солнца плите. — Она здесь была. Вот ее место в камне. Она из породы блуждающих черных дыр. Они улетают. — По лицу его пробегает тень. — Она была любимой из моих созданий. Поинтересуйтесь-ка у Пикассо. Он мог переманить. Он — пожиратель дыр.

Я заметил, что он не сказал все это вслух, словами, а передал посредством мыслей. «Не так-то прост этот садик», — подумал я.

Но Мур, подмигнув, через секунду уже превратился в классического Мура, его глазенки-незабудки озябли и спрятались под мохом бровей.

 кошко, круглое окошко домика на горе, прилепившегося, как известковое птичье гнездо. Уж не оттого ли круглое, чтобы удобнее было залетать? А для тех, кто не умеет летать, черные перила лестницы ведут в спальню второго этажа.

Как спят гении?

Может быть, на ковре-самолете, или на метле, или на шаре, или на эластичном матрасе, наполненном вместо ваты пружиистой водой, или в постоянном состоянии невесомости они приклеиваются снизу к перине, парящей над ними?

Вы спали в кровати Пикассо?

Не отчаивайтесь, если нет. Вы проворочаетесь всю ночь, вы очей не сомкнете. Квадратная низкая кровать — в правом углу, она заполняет половину такой же квадратной спальни.

Слева дверь в ванную. На полу длиннорунный палас его работы. Под лампой на тумбочке альбом его грациозной эротической графики. Кровать не хочет подминаться под вами, она помнит, как когда-то прогибалась под ним.

Давно ли вы лежали в той же позе лицом вниз, содрогаясь от рвотных спазмов?

Не топлено. От командорских известняковых стен несет стужей. Ледяные колючие простыни вонзаются в спину и икры.

Очень широкая эта кровать.

Пикассо не был большого роста. Что он, катался по ней из угла в угол, что ли, согреваясь, как бешеный колобок?

Вы по несколько раз бегаєте в горячий душ согреваться. Как страшно ощутить босыми ступнями скользкие, стоптанные, засаленные его туфли. Непроглядная нетрезвая мулатка спит, ворочается, темнеет, проборматывает во сне вздохи чужого языка. Дышит рядом с вами. Темные с алой щелкой губы. Ее зовут Лил. Разметавшись, спят Парижи, небеса и инстинкты.

Вдруг вы видите, как пустые шлепанцы, будто сами, без темнокожих ног, скачками шмыгают в ванную. Под дверью загорается свет. Шумит вода.

Вы нажимаете кнопку света на тумбочке, но кнопка сама вдавливается на мгновение раньше и свет зажигается на миг раньше, чем вы успели ее нажать. У вас зубы стучат, вас колотит озноб, хоть вы и уговариваете себя сами, что это от холода.

Так тихо, что слышно, как внизу, на первом этаже, в гостиной, дрожит, звякает таким же ознобом стеклянная посудная полка. Как в поезде.

На стекле полки подрагивает серебряный выводок маленьких лебедей.

Он мастерил эти маленькие лебединые фигурки из алюминиевых крышек от бутылок минеральной воды. Крышечки французских минеральных вод, как и наши московские водочные, имеют язычок для открывания. Надорвав и вытянув язычок, он получал голову и лебединую шею. Потом он сминал крышку пополам боками вверх, так что получились крылья.

Серебряная лебяжья стая скользит по стеклу. Продолговатая стеклянная полка распрямляется в овал озера. Звучит Чайковский, Чайковский...

Но не «Лебединое озеро» звучит, нет, а Первый концерт, которым он встретил меня в 1963 году.

Припоминая пустые залы,
с гостьей высокой, в афроприческе,
шел я, как с черным воздушным шаром.
Из-под дверей приближался Чайковский.

В комнате жара. Кажется, вот-вот проступит смола из высоких черных спинок испанских стульев. То ли топили, то ли он сам нагревал весь дом жаром своего печного пышущего тела.

Пикассо был полуголом, в какой-то сетчатой майке, как загорелый желтый бильярдный шар, крутящийся в лузе.

Лицо его уже начало обтягиваться книзу, появилась горькая осунувшаяся тень, отчего еще сильнее выделились выпуклые, широко расставленные глаза. У Пикассо была теория — чем шире расставлены глаза, тем человек талантливее. Он был гений.

Его глаза торчали навывкат, вылезали изо лба, казалось, будто интеллект изнутри выдавливал глаза пальцем.

— Жаклин, Жаклин, погляди, кто явился к нам! — завопил он в шутовском ужасе, вращая стрекозиными глазами. И, ерничая, добавил, поддевая гостя: — Ну-ка, включи ТВ. Наверное, его уже показывают. Смотри, какой он снег привез.

Вошла смуглая Жаклин в упругом зеленом платье. Вошел, замер и кинулся лизаться пес Кабул, белая плоская гончая со шучьей загадочной улыбкой.

И началось. Он буйно показывал озаренные зеленым холсты, и везде были Жаклин и пес. Он буйно поволок в подвал, где в дьявольской преисподней гаража дымилась его скульптурная мастерская, стоял орангутанг из металлолома, с головой из капота «Шевроле». Млели белые купальщицы с мячом, те самые, которые так повлияли на раннего Мура. Во всем была бешеная поспешность жизни, страсти, все было озарено его счастьем последней любви, последней пылкой попыткой жизни. В доме пахло любовью. Предметы имели ореолы.

Если следовать звездной классификации, Пикассо был «белой дырой».

Это волевые натуры, в которых спрессованы сгустки будущего, память не о прошлом, а о будущем. Обычно это строители, оптимисты, борцы за правое дело. По гороскопу они часто быки.

В отличие от ностальгических черных они победоносны в форме, порой в эмоциональности уступая им. Дело не в размере, а в качестве таланта. Классическими черными дырами были Блок, Лермонтов, Шопен, белыми — Шекспир и Эйзен-

штейн. Я не встречал более таких доведенных до абсолюта «белых дыр», каким был Пикассо.

Космонавт, заколачивая в лузу белые шары, рассказывал мне о невесомости:

— Там у стола нет ни верха, ни низа... Режу на полшара!.. Можно подплывать к столу с любой стороны... Хорош своячок. Сейчас мы его нежненько... Чтобы люди не сдвинулись в сознании, остаются условные верх и низ. Нам спроектировали комфортабельные кресла со спинками, мягко поддерживающими усталое тело. Но что поддерживать, если нет притяжения?.. Сейчас зайчиков влупим. И сами себе подставим... Мы, конечно, эти спинки отменили. Психика еще не освоилась с полной свободой от притяжения... Ах, замазан. Жаль.

Меня удивляет, как далеки от действительности некоторые наши романисты, у которых последнее время все героини стали летать.

Их ведьмы летают вверх головами, опустив центр тяжести и другие дела, будто на них еще действует закон притяжения.

Я отчетливо помню, как ты поутру улетала от меня. Ты удалялась попросту, по-нашему вниз головой. Как будто твое отражение. Обратив лицо вниз, к земле, не отводя от меня прощального взгляда.

Над тобою, будто ты подвешена к ним и они уносят тебя, плыли белые тувельки вверх полукаблучками, срезанными наклонно, словно трубы удаляющегося теплохода.

Пикассо мог все. Он преодолел притяжение. Он преступил бездну. Может быть, в этом была его трагедия.

Он не давал мне опомниться. Тащил, оглушал вопросами, чтобы я только не успел прорваться с главным вопросом, вертящимся на языке. Я уже вроде бы начал: «А не видали ли вы, маэстро...»

Но он затыкает мне рот, попросив прочитать «Гойю» по-русски, и, поняв без перевода, гогочет вслед, как эхо: «Го-го-го!..»

Потом он обжирался дырами.

Склонив набок голову, зажмурясь, он со смачным всхлипом, причмокивая языком, высасывал дыры из черно-лиловых мидий. Стол вокруг него был завален их раздавленными скорлупами с микроскопическими бороздками, как покоробленные осколки грампластинок, на которых записано море. Он шинковал ломтями золотые пахучие дыры дынь, называе-

мых у нас «колхозницами». Затем, опорожнив, выковыряв дыру из банки, он намазывал на ломоть белого хлеба тонким слоем дырки черной икры, так что ломоть становился похожим на маленькое решето. И наконец, подмигнув, высасывал ароматную дыру из темного горлышка пузатой бутылки, оплетенной прутьями, как корзина.

Когда он проходил, дыры шмыгали и забирались в норы. «Тссс? — слышался восхищенный шорох. — Идет пожиратель дыр».

Чревоугодник, он жадно втягивал в себя все новейшие течения в искусстве, опорожняя мастерские других художников, он присоединил их к своей империи, через них втягивал в себя будущее.

С особым вкусом он показывал керамику. Томилась пельница в виде слепка женской груди. Хохлились знаменитые голуби. Он торопился внести красоту в ежедневную жизнь всех. Той же идеей красоты для всех мучимы были Врубель и Васнецов в абрамцевской майоликовой мастерской. Это искус нашего промышленного века. Самая массовая буква «о» одновременно и самая орнаментально красивая из знаков.

Голубка Пикассо свила свои гнезда в миллионах халуп.

Если бы он одну только «Гернику» написал, он уже был бы художником века. Пикассо был самым знаменитым из всех живших на земле художников. Он не имел посмертной славы. То, что обычно называется ею, он познал при жизни. В этом он преодолел смерть.

Пикассо жаждал знать все.

Вращая, как шарообразным сверлом, своим мозолистым глазом, он вытягивал из меня информацию о публике, бывшей на моем вечере.

— Они же не умеют слушать стихи в театре, — бурчал он.

Мне хотелось не самому рассказывать что-либо ему, а его слушать. Но и видеть, как он слушает, как меняется в лице, было наслаждением.

На моем поэтическом вечере, состоявшемся в театре «Вьё Коломбье», справа в зале сидел Брегон с ватагой, слева маячил белоснежный пик Арагона с товарищами. Два поэтица, когда-то братья по сюрреализму, теперь они смертельно враждовали. Зал был похож на омут с двумя плавающими но-

жами. Если справа хлопали, слева закручивался вакуум тишины. И наоборот. Это вообще был первый вечер русской поэзии в театре Парижа. Там ранее не было традиций поэтических вечеров. Поэтому так полярно разнообразна была аудитория. Восседали мэтры, бушевали студенты, шуршали ш умные платья мемуаровые. Зал, как корзина для голосования, полная черных и белых шаров, был доверху полон белыми и черными дырами людских судеб. Снаружи ломились, напирали шары судеб, не попавшие в зал.

Рассказанное и виденное исчезало в утробе Пикассо. Он, урча, вбирал информацию о московской художественной жизни, которую знал лишь понаслышке, с трудом разбирая незнакомые ему длинные русские фамилии, — еще! еще! — жаждал вобрать всю энергию века, одним из строителей культуры которого он был.

Век стер многие страницы. Намечается новая общность людей — творяне, как назвал их на заре века поэт: «Это шествуют творяне, заменившие Д на Т». У каждого из них за спиной свое трудное Т — такой формы был крест первых христиан.

Блажен, кто посетил сей мир
в его минуты роковые.

Похожий на генералов-усачей 1812 года курганский творянин Гаврила Илизаров, Мур наших костей, выращивает, как волшебные каллы и ландыши, новые живые голени, ступни и кисти. Нервные узлы расцветают, как орхидеи. Осчастливленной женщине он вылепил новое рубенсовское бедро. Сейчас он, как бамбук, выращивает позвоночник.

Отсутствующий палец вырастает на глазах в белую дыру кости, затем обрастает плотью, и на конце его, как лепесток, распускается ноготь.

Теория не поспевала. Но руки и ноги стремительно росли.

В жизни он то хмуро-сосредоточен, то жаждет шумного общения. Обожает чудесить с картами. Под его добродушными усами черви у вас на глазах чернеют в пиковки. Я, как и все, сначала не доверял ему, но потом несколько раз из колоды, перемешав ее своими руками, вытаскивал четыре дамы.

В Кургане я пошел в первый класс. С тех пор, может, не без его чар, деревянный одноэтажный городишко вырос в девятиэтажный центр с клиникой, которая дает ошеломленному

миру уроки магического материализма. Маячит элизиум теней — работает Илизаров.

Осовелым, завистливым взглядом следят за творянами упыри.

По ночам на запущенном кладбище вздрагивает крышка гроба. Зеленая рука, как ящерица, выскальзывает из щели наружу, открывая гробовую крышку. Черные норы проваливаются в холмиках могил.

Как сова, встряхнулась урна старого колумбария. Сдвигается крышечка. Из маленького жерла вылетает прах мерцающим роем. Так некогда из жерла вылетал прах Лжедмитрия. Рой обретает очертания тел, материализуется — появляются лжепоэты, лжегерои, лжепередовики производства. Упыря можно узнать по тухлому взгляду. От его взгляда киснет молоко и увядают молодые поэты. Он внешне энергичен, он делает карьеру, он пробует быть обаятельным. Но люди не любят его, инстинктивно чуя, что под кислым перегаром скрывается сладковатый запах мертвечины. Люди холодны к его «творениям». Он не может ничего построить и сотворить, от этого он ущемлен и ненавидит тех, кто творит и строит.

В ампирных рамках мерцают портреты великих упырей — тех, кто опробовал кровь Пушкина, кто надел удавку на открытую шею Есенина, кто угробил Манделштама, чтобы долго сосать их кровь. С брезгливостью взирают портреты на своих последышей. Где вы, богатырские упыри, перед которыми содрогались восхищенные народы? Нет, не тот пошел упырь. Мелок, склизок, как летучая мышь с детскими пальчиками. Завидуют. Плетут клевету, интриги, гнусь. А это кто шустрит за столом? Кто следующий на повестке ночи? Уж не наш ли это осведомленный критик? Он водрузил на стол тяжелую дубовую доску с прорезанным круглым очком посередине. Просунув голову в очко, он, как собака из конуры, вещает: «Водопроводы всё, унитазы... Забыли мы классические традиции!» Взволнованный, под жидкие аплодисменты уходит к двери. «Куда?» — подзрительно спросили. «Волгу» прогрею. Вьюжит. Да секретку проверю». Через полчаса из туалета доносится вороватый шум спускаемой воды. Не тот пошел упырь. Нет чистоты убеждений.

Уханье, хлюп, храп. Осторожнее, читатель, не шурши платьем. Услышат. Заметили!

Мерзкие глазенки оборачиваются на вас со злобой и страхом, скользкие мышинные пальчики тычут в вашу сторону.

Погоня. Чур меня, чур!

Упыри преследовали Пикассо. Он должен был покинуть Испанию.

Тореадоры специально приезжали на юг Франции из Испании, чтобы устроить для Пикассо корриду. Он рисует на книге, которую дарит мне, быка и пикадора. Это его автопортрет, потому что художник всегда и пикадор и бык одновременно.

И вдруг я заметил, как жадно и жалостливо мелькнул его зрачок, и я понял, что век столетия истекает, но через секунду он уже хохочет и, подмигнув, рисует мне Деда-Мороза.



сыпается небо.

Я привез снег в Антиб.

Темные зеленые роци изумленно ежились, как крупной солью, пересыпанные снегом.

Мы вышли на морозную террасу. Наконец мы одни. Его слова были окутаны паром. Пар исходил не только из губ его и ноздрей, пар шел изо всех пор его горячего тела, гневного столба его жизни, все тело его клубилось на морозе.

Так же под ярким синим небом, отходя от неожиданного снега, дымилась разомлевшая земля. Пар шел от мокрых скамеек, дымилась и остро, пряно пахли мокрые веники лавровых и апельсиновых кустов, ошпаренных снегом и потом солнцем. Дымилась банная деревянная шайка замка под горой. По розовым разомлевшим дорожкам, как клочок белой мыльной пены и пара, носился счастливый пес.

В бане люди откровенны. Сейчас я спрошу его.

Не подозревая, что они ему позируют, внизу, под горой, млели с ручейками между лопаток женственные стены домика из розового известняка. Шла великая парилка. И далеко внизу, скорее угадываясь в тумане, млело море, дымящееся, как Ватерлоо старинной гравюры, бездонная загадка существования, история.

А надо всем этим слева от меня торжествовал, кричал, дымился жизнью гениальный банщик с ровным клочком как будто мыльной белой пены вокруг загорелого загривка. Он весь был окутан паром, порой только веселый и отчаянный глаз проглядывал в просвет между белыми клубами.

Я отвернулся, следя взглядом за буксовавшей машиной, газующей на нижнем шоссе.

Когда я опять обернулся к нему, рядом со мной стоял столб пара. Пар рассеялся. Пикассо не было.

Я обернулся через двадцать лет.

Отверстая черная дыра затянула его, неужели и его тоже?



вдохнем, мой читатель. Оторвемся в глушь.

Сейчас такой июнь и омут!

Скрывшись от посторонних глаз, как волшебный столбняк фиалок на полуметровых стеблях, цветет баснословный остров молодой сильной лесной крапивы.

Этого не видишь у затурканных дачных крапив.

Лесная крапива дает сильные лиловые цветы, размером похожие на фиалки. Они растут столбцами, как гиацинты, вокруг стеблей. Каждое соцветие формой напоминает лиловый львиный зев. Я заметил, что цветут только молодые крапивы с мелкими листьями. Орясины с большими листьями цветов не дают. Я очень люблю эти заповедные цветы.

В них есть блеклая гамма Борисова-Мусатова, острая зелень Гончаровой. Они напоминают угрюмство юной Цветаевой. Потом она гибла от быта, мыла посуду, имела колючий нрав, но цвела упрямо и заповедно. Люблю эти цветы.

Давайте, я нарву вам, милый читатель, дикую охалку крапивы, она молодая, не так жжется, это будет с ней потом, когда ожесточится.

Вы поставьте этот ворох в ведро с водой, лучше колодезной.

После первых гроз красиво
фиолетово цветет
некрещеная крапива —
розы северных широт.
Иностранцы и кассиры
не познают до конца,
в чем скрывается России
ведьмовидная краса.
Будет в доме изумленном
острый запах красоты
и лиловые с зеленым
декадентские цветы.
Этот омут декадентский,
притаившийся в шипах,

так похож на нрав твой женский
в фиолетовых шелках.

Тебе много ломали цветов, черемухи, роз, я и сам наламывал тебе сирень, но уверен, что никто не дарил крапивы, — а ведь как свежа и хороша! Я дарю полную охапку, вон девчонки у речки смеются — мужик крапиву рвет, наверное, лечится, я рву, я дарю ее вам, переполненную охапку, уже рук не хватает, столько ее вокруг. Я дарю вам всю опушку, весь остров дарю, да и что там — все оставшееся...

В траве прошелестел Осведомленный критик.

Очень может быть, что ты мстишь мне, насылая на меня, как радиопомехи, всякие воспоминания. Или я заразился от тебя, подхватив бациллу памяти? Какой бы поступок я ни совершил, одновременно происходит со мной уже бывшее в моей нынешней или прошлой жизни. Где-то ты носишься, как темный спутник связи, посылая мне через себя непрошеное прошлое? Сам процесс памяти для меня связан с тобой, он представляет тревогу и, не скрою, наслаждение. Кого бы я ни вспоминал, вспоминал тебя. Как ты, наверное, там мстительно торжествуешь — я не расстаюсь с тобой.

Без тебя все слова как без воздуха, и страницы — как душевные стены без дыр и окон.

«Отец мужчины — детство», — читаем у Вордсворса. Я родился в Москве. Но с детских лет мое московское «а» обкатывалось круглым «о» володимирской речи.

На моих глазах овальная музыка речи обрела форму.

Так же округлы были холмы над рекой, облака, праздничные яйца, крашенные суриком, золотом и жареным луком. Овальным, завершенным был уклад жизни и скорлупы лесных орехов, которые мы собирали огромными корзинами, а потом сушили на крыше. Собирать орехи радостно. Не надо сгибаться. Когда берете гриб или ягоду, надо сначала поклониться, как бы благодаря их за то, что берешь. Бруснику же вообще собирают на коленях.

Орешник по росту вам. Впрочем, лесные орехи круглы-то круглы, но имеют сверху шлемовидное завершение. Они растут на ветках кучками, по четыре-пять, прижавшись один

к другому, каждый в своем зеленом гнездышке. Их светлые затылки торчат из зеленых гнезд, как выглядывают из зелени на холмах умышленные далью пятиглавые соборы.

Сродни этой плавности была широкая округность огромного города, из которого я приехал, образованного семью холмами и двумя кольцами — Садовым и Бульварным (в отличие от прямоугольной планировки Ленинграда или Нью-Йорка).

Свердловчанин Севастьянов рассказывал, что из черного космоса Москва выглядит ромашкой с круглым центром и лепестками новых кварталов, оборванных, как при гадании «любит — не любит».

Я знаю наклоны, повороты и подъемы этого города сердцем и кишками, не раз прогнав по Садовому на велосипеде.

Сейчас много и правильно говорят о душевной общности и стиле литературных школ — вологодской, сибирской и т.д. Думаю, что философам нашим надо подумать о душевном складе и стиле мышления уроженцев Чистых прудов и Замоскворечья.

Сердце так же стонет, как от порубленной рощи, от снесенных кварталов и оград.

Арбат — это наш Вишневы сад.

Что ты хочешь сказать, насылая на меня эти круглые воспоминания, зачем ты хочешь закружить меня?

Во Владимирской области на границе с Горьковской есть места с дурной славой — это обычно низины с заболоченным хмурым пейзажем. Там даже местных жителей начинает «водить». Вы кружите полдня по лесу и потом выходите к тому же месту как бы под тяжелым гипнозом. Народные суеверья относят это к влиянию ведьм и русалок. Что ты водишь меня по кругу, плутаешь, путаешь меня в чащобах памяти, возвращая все к тем же воспоминаньям?

Ориентировалась ты по излучению. У тебя не было глаз, ушей, чтобы узнавать цвет или звук. Порой ты забиралась в кого-нибудь, как кошка в старую туфлю, и из него наблюдала мир.

Однажды ты вселилась в школьницу, напав на себя, как комбинезон. Ее ноздрями и зрачками ты поняла, как пахнет белый гриб, как красна рябина. Ты проникла в мир наших первичных ощущений, для тебя наивных и свежих, как Пиромани. Этот мир увлек, влюбил тебя.

Во время сдачи прыжков на норму ГТО школьница внезапно зыркнула на трех зазевавшихся кошек. Те сникли под ее взглядом. Школьница взлетела без шеста на четыре сорок, однако, взлетев в зенит, увидела под собой изумленные лица, поняла, что, видно, делает что-то не то, и с половины прыжка скромно вернулась к исходной точке.

Но на уроке истории школьница ляпнула две фразы, в бездне информации которых утонул учитель. Он свихнулся. Тебя увезли в «скорой помощи». В унылом доме, куда тебя привезли, санитары не верили тебе, что Петр Первый был сыном Никона, и оказались противниками 17-го уравнения Бора. Вырываясь от них, ты порезала руку о пробитое окно, как рвут брюки, пролезая через забор. Ты была в крови, было больно, по-человечески отчаянно, ты была в смятении — ты побежала по проволоке электропередачи вдоль загородного шоссе. Под тобой бежали санитары, толпа, выли сирены.

Ты не понимала, в чем дело. Ты приносила людям, в которых радостно вселялась, несчастья. Потом ты вселилась в поэта Репкина. Он написал гениальную поэму. Но все опять кончилось плачевно — он развелся.

Обиженная шаровая энергия освобожденно летела над рекой.



Оказывается, что я всю жизнь как бы готовился к встрече с тобой. Не могла же ты подтасовать все эти кругляшки в моей памяти?

У деда в саду было два улья. Над ними кружился золотой гул в форме роя. На речке дед учил меня плести корзины из лозы — согнутые в дуги, стояли остовы для корзин, как овальные рамы, белые и скользкие прутьевые рамы речного пейзажа.

А вечерами дугою вытягивалась гармошка, а в последние годы трофейный аккордеон. Крашенная перекисью проглядывающая продавщица с синими наведенными бровями и в трофейных чулках с черным швом, поддавшая, но еще в норме, выходила из круга и, сдав подруге на хранение лаковую сумку, подбочивалась кренделем и кричала частушку. Ее восхищенно-непечатная речь отличалась речным вольным воздухом от нахмуренного блатного фольклора многоэтажных дворов. В самой жизни, как бы тяжела она ни была, незримо присутствует светлый рублевский овал, созданный, как известно, в годы народных бедствий, когда жгли города и живьем по пояс закапывали людей в землю.

На попутном грузовике по знаменитой Владимирке мы приехали в город с белым кремлем на холме.

Белокаменный проем арки гениальных Золотых ворот обретал форму О, по пояс врытую в землю.

Одолело виденье!

Одугловатый медвяный образ преследует меня.

Отстань! Я прилеплю тебя к этой странице, чтобы ты от меня отцепился.

Круглых дураков мне не встречалось, зато овальных хватает. Зайдешь к нему, к редактору, в кабинет. У него абсолютный вкус убийцы. Его глазки мгновенно сужаются, найдя лучшую строку. «Гениально», — сладострастно стонет он и вычеркивает ее. У поэта Вентилянского есть тетрадь вычеркнутых им строк из разных авторов. Это целая антология.



бластное Владимирское издательство выпустило первую мою книгу. Нашла меня редактор Капа Афанасьева и предложила издаться. В России нет литературной провинции.

Капа была святая.

Стройная, бледная, резкая, она носила суровое полотняное платье. Правое угловатое плечо ее было ниже от портфеля. Она курила «Беломор» и высоко носила русую косу, уложенную вокруг головы венециановским венчиком. Засунутые наспех шпильки и заколки осыпались на рукописи, как вдвоенные длинные сосновые иглы.

Дома у нее было шаром покати.

Они с мужем, детьми и бабушками ютились в угловых комнатах деревянного дома. Вечно на диване кто-то спал из приезжих или бездомных писателей. У нее был талант чутья. Она открыла многих владимирских поэтов. Быт не приставал к ней. Она ходила по кухне между спорящими о смысле жизни, не касаясь половиц, будто кто-то невидимый нес ее, подняв за голову, обхватив за виски золотым хватом ее тесной косы. В ней просвечивала тень тургеневских женщин и Анны Достоевской. На таких, как она, держится русская литература. Когда Некрасов писал о русской женщине, он писал о Капе.

Когда вышла «Мозаика», грянул гром. Это была пора страшная, которую потом называли волюнтаризмом. Позволили прикрыть тираж, но его уже продали. Капу вызвали в большой город. Сановный хам, собрав совещание, орал на

нее. Обвинения сейчас кажутся смехотворными — например, употребление слов «беременная», «лбы» квалифицировалось как порнография и подрыв основ. Он шил политику. Капа, тихая Капа прервала его, встала и в испуганной тишине произнесла вдохновенную речь в защиту поэта. И, не dokonчив, выскочила из зала. Потом несколько часов у нее была истерика. Ее уволили с работы.

Капа, прости меня.

В тот момент в «Неделе» шли мои набранные стихи. Мне удалось к одному стихотворению поставить посвящение ей. Это подействовало на местные власти. Капу назначили главным инженером типографии, даже повысив оклад. Но талант издателя в ней был загублен. Последний раз я видел ее во Владимире, когда мы приезжали играть «Поэторию».

Ее золотой венчик, сплетенный, как ручка от корзинки, поблескивая, возвышался над креслами. Когда Зыкина под колокола пела «Мать Владимирская единственная...», она поклонилась Капе...

«О» — это вздох, кислород языка.

Овалами антоновки тяжелела яблоня. Ее прогибающиеся ветви дедушка подпирал рогатинами.

Она стояла за домом, против рассвета. Каждое утро из-за спины силуэт ее омывался сиянием. Сквозили лучи в косую линейку. Силуэты яблок были обведены сияющими ободками, как прописные буквы «О» с нежным нажимом, будто утро учило чистописанию.

Из-под одного яблока змеился червячок, как незнакомая еще мне «Q».

О моя первая учительница письма! Тысячи лет назад в ином саду другая упругая первая учительница, робея, протянула сияющую овальную букву, с которой начался род человеческий.

Наливалось дерево языка. Вначале было слово, не имеющее формы. Человек свято и греховно сотворил форму для слова, создав кириллицу, рисунок, скульптуру.

Мне снится, как мне снится золотое дерево языка! Оно растет сквозь меня, всасывая мои соки, оно прорастает сквозь мою жизнь, шумит кроной надо мной.

Крона языка — моя навязчивая идея. Мне хочется на какой-нибудь площади поставить монумент языку. Это будет памятником ушедшим великим словам — «не лепо ли ны бя-

шет, братие», — это будет вечный огонь живого слова. Как колокола, будут раскачиваться золотые «А», сережками будут звенеть «С», фыркнет филином «Ф», будут наливать винные гроздь «О».



тлитое на родине Гефеста из сплетенных букв, осуществленное фантастической энергией Зураба Церетели, меднолистое Древо языка покачивается над Большой Грузинской.

Буквицы везли через всю страну по одной-две в пяти-тонных «МАЗах». У них расходились швы на ухабах. Они были закинута навзничь, как азбука для слепых. Великое небо, подобно слепцу, ощупывало их дождями, зноем, утренними лучами и сумерками. Одна машина испарилась. Последний раз ее видели в Ростове. Не там искали! Она, наверно, нашла свои иные речевые пути, пристала к стае. Ее надо теперь искать на перепутьях «Задонщины» и «Слова о полку Игореве»!

Буквицы монтировали краном, подвешивая их на двух тросах. Зураб в неизменном синем автозаправочном комбине зоне на двух лямках походил сам на буквицу, поднятую за плечи. Он летал над площадкой. Для жизнеописания фантастической судьбы Зураба нужна кисть Бальзака!

Среди монтажников вы сразу выделяете медный, оттянутый книзу пушкинский профиль и русые кудри Алексея Кузьмина, его насмешливую развалочку. Некая искра связала нас. Приходя на стройку, я чувствовал на себе его взгляд. Он обучил меня перехлестывать страховочную веревку с замком, облачил в прозодежду и пластиковую красную каску. Когда я залезал на верхнюю площадку, он неизменно, как бы шутя, подстраховывал меня.

На сорокадвухметровую высоту Речи ведет узкая лесенка с редкими перекладинами, типа пожарки на 14-этажном доме. В первый раз мы взбирались в открытом пространстве, на воле, пробирало свежестью. Впоследствии, когда панели вокруг смонтировали, путь оказался тесным душным лазом. «Осторожненько, сейчас будет отсутствие перекладки, — распевно подсказывал под вами Кузьмин. — Покачивает, чуете? Поэтому у нас морская прозодежда — роба и штаны матросского пошива».

Снизу кто-то подсматривал за вами. Поблескивала черным глазом скважина колодезного дна. Знакомая тяга была в ее взгляде. Между вами и ею был Кузьмин.

Покачивало. Тишинский рыночек относило в сторону, он как бы отлетал, отплывал налево, потом совсем исчез из глаз, став историей.

Как пронзительно свежо на верхотуре Речи! Как свежо, захлестнувшись веревкой за сварной уголок, греться, словно на железной печурке, на горячей от солнца букве Т, свесив ноги над утреннею Москвою!

Внизу, уменьшенная высотой, как свернувшаяся зеленая гусеница, надувалась, готовилась к взлету букваца венца. Ее покрывали сусальным золотом, прикрыв от дождя прозрачным тентом.

Как и слово, медь с годами меняет окраску. Из красновато-золотой она становится малахитовой. Там, где должны быть виноградные листья, венец покрывали особым раствором, ускоряющим процесс зеленения. По химическому составу раствор этот схож с мочой. В дневниках старых мастеров мы читаем, что они подмешивали мочу в акварель для придания живописи вечной гаммы.

«Смешав в одно земную низость с самым высшим — с звездами дно...»

Впоследствии от городской загазованности, от времени, истории все медные буквы монумента примут этот цвет. Так стихотворение говорит на языке будущего, притягивая за собой весь речевой состав.

Естественно было залезть на верхнюю площадку, как матросы на мачту, по-человечески цепляясь руками за перекладины ступенек. Но мне хотелось пройти путь буквы, понять, что чувствует буква, когда ее подымают за шкирку стрелой крана. Моей голубой мечтой было подняться на кране.

Я договорился с Быченковым, вожакom монтажников, и крановщиками. Быченков обмозговал особый вид крепления.

Утром на пустынных столах Тишинского рынка расставляли продукты. Везли ящики черешни. Кто-то непроглядный прятался в бочке. «Дура ты, дыра, — весело думалось мне, — таись, колдуй, злобствуй, а я сейчас буквально стану буквой, сам взвзовьюсь в небесную субстанцию».

Бочка обиженно промолчала, но, как мне показалось, насмешливо. Это меня насторожило.

Увы, никто из моих приятелей не явился в назначенный час. Пряча глаза, с лицами, опухшими от раскаяния, они проскользнули через час на свое рабочее место. Оказалось, что Зураб ночью прознал про наш сговор и все категорически запретил.

Я оглянулся на бочку. Она катилась куда-то как ни в чем не бывало, как будто не имела к этому инциденту никакого отношения.

Кузьмин утешал меня. Предлагал подвеситься на десять метров для ощущения. Это было несерьезно.

И вот мы снова с ним по-человечьи лезем железной лесенкой. Упрели. Жаль, но особенно я не сокрушался. Так я не стал буквой.

Вес кольца был за пределами подъемного крана. Стрелу крана надставили и несколько раз репетировали, подвесив кольцо в небо, и замирали на нужном уровне.

Небо, как часовщик, этой вставленной в глаз лупой разглядывало нас. Потом кольцо укрепили конструктивной крестовиной, и оно застыло в небесах, будто буквица, которую написали, а потом вдруг решили перечеркнуть накрест.

Ослепительные дни. Стремительные дожди.

Венец показывал характер. Тучи, как щеки, гневно надувались над Большой Грузинской. Зеленые губы округлились посреди неба, как открытый ужаснувшийся рот. Безмолвное досель небо обрело голос. Губы склонились к гигантскому качающемуся медному кларнету. Боги, боги, мы содрогнемся от музыки той!

Подъем венца был апофеозом стройки. Люди обнимались, плакали, вопили. Из неба летели искры. Алексей Кузьмин с товарищами доваривал устои венца.

Осуществилось. Монумент поставлен, крепкими корнями втянувшись в смысл земли. Будет что облаять доброжелателям. Но почему Образ речи не отстает от вас? Что-то продолжает тянуть.

Я беру подрамник. Забиваю с обратной стороны гвоздики для лески. Замешиваю крутой клей из ржаной муки. Мочу в ванной широкий рулон бумаги, натягиваю, прижав поплотнее углы, гляжу, чтобы не было складок. Оставляю горизонтально — вялой мокрой простыней.

Рано утром гляжу — как празднично натянулось! Упруго, но податливо, а не туго, как барабан. Бумага дышит.

Так Бог без единой морщинки натягивает за ночь снежное квадратное переделкинское поле и крышу над нашей халупой.

Проверив леску, натягиваю свежееобструганную горизонтальную рейку. Провожу первую линию. Она звенит, как струна.

Одержимость только может оправдать обучение в Архитектурном институте.

Читатель, знаете ли вы, что такое ионики?

Конечно, вы знаете, что это архитектурная деталь яйцеобразной формы, принадлежность ионического и, конечно, коринфского стиля. Они примостились в центре ионической капители, будто некая божественная и коварная птица снесла три белых яйца между рогов ионического барана. По форме они странно напоминают оники, как в старину называли букву «о». Даль приводит пословицу: «Брюшко оником, ножки — хером».

Давайте нарисуем с вами хотя бы эти три ионика.

По форме они не круглые, а сужаются книзу. Их не вычертишь ни по линейке, ни по лекалу, ни циркулем — только от руки. Один должен идеально походить на другой. Их рисуют от руки, через кальку, зачернив обратную сторону грифелем, слегка продавливая легкий контур, а потом обводят острейшим, самым твердым карандашом «6-Н». Постоянно замеряют точки измерителем. Вы уже устали, читатель?

Но их надо нарисовать целый карниз — три тысячи микроскопических, каторжных, лукавых яичек. Доцент Хрипунов будет злоратно проверять каждое из них. В Камероновской галерее, которую я вычерчивал, их было несколько тысяч. Легче почистить двадцать ведер картошки, обстругать ножом овальные клубни, как приходилось во время дежурств в солдатской кухне.

Нет, вы не знаете, что такое ионики!

Окрестил я его «Позтархом». Поток воздуха, огибая шар, подымает вибрирующие тросы со звучащими буквицами мировых языков.

Монумент мог бы передвигаться из города в город, из страны в страну, ритуально символизируя единство человеческой культуры.

Конструкция сферы проста — то, что называют в архитектуре «сеткой Фуллера». Внутри сферы может расположиться зал для поэтических чтений и музыки. Шар — идеальная форма для зала. Нижняя часть его служит амфитеатром, верхняя — куполом. Надеюсь, что вам, мой читатель, доведется быть среди первых слушателей и посетителей Позтарха.

Проект приняли, чтобы построить на Парижской выставке 1989 года. Он понравился Жаку Лангу, смуглому и стройному министру культуры. Однако вдруг всю выставку отменили.

Или опять черная дыра вмещалась?



тсоедините, пожалуйста, девушка! Кто-то подключается. Нет, это не бюро обмена. Я просил Тбилиси. Алло. Скульптор, ты слушаешь? Да, принялся за старое. Кроме того, у меня есть идея Поэтарха...»

Отключили.



днако нам пора продолжать поездку. Усадьба Мура находится в полутора часах от Лондона. Но мы, выступив в лондонском «Раунд-Хаузе» («Круглом театре»), даем круг по всей стране с выступлениями и через озера добираемся до Мура.

О чем я думаю, откинувшись в растущую скорость автомашины и одновременно с нею стремительно нарастающую скорость сумерек? Ты улетела, без тебя все теряет смысл. Ты испарилась из жизни, как пузырьки из брж ма...

Сумерки — раств ренная черная дыра. Тв й взгляд обв ливает меня. н все сильней и глуше бв лакивает пр исх дящее и предметы.

Х чу реабилитир вать сумерки. Напрасн ими крестили эпохи упадка. Люблю сумерки. Эт сам е в лшебн е с ст яние души и сут к. Сумерки дикт вали лучшие н ты Чайк вск му и Бл ку.

М жет, сейчас сумерки века? Шестидесятые г ды были хрепт м ст летия. ни были высвечены пр жект рами, отсветом иных век в, их судьбы были выпуклыми, яркими. Может, сейчас время перех да, с зрвания культуры, тв рчesk г наращивания?

Пр н сятся сы фар, удлиненных ск р стью. Лев ст р ннее движение с бщаает странн сть мыслям. Пр плывает Эдинбургский зам к. В студенческие г ды я был пленен ег не бычайн й даже для шотландских замков красотой. Гигантская скала незаметно для глаза переходит в стены, контрфорсы, башни, как бы сама кристаллизуясь в них. Это единый комок скульптуры. Я много раз рисовал его, пытаюсь разгадать загадку зодчего. Будто гигантская рука смяла сверху скалу как бумажный пакет — и получились вмятые складки замка.

Несколько рисунков белым по черному я дал Пастернаку. Один из них он подарил О. Ивинской, и рисунок застекленно висел в ее комнате. Из мерцающего приемничка машины доносится старая арфовая музыка, видно, модная в этом сезоне. Она уходит к эпохе Оссиана.

Окутанный паром дыхания, я как-то брел морозной подмосковной скрипучей ночью. В кювете на боку лежала «Волга».

Уже припорошенная снежком, она походила на птенца, выпавшего из гнезда, выбившегося из сил и притихшего.

Я провалился в сугроб, открыл дверцу. Во тьме проема кто-то спал — его грузное тело сползло от руля к дальней дверце. Я попробовал вытащить и поднять его — тело было неподъемным.


Неожиданно я узнал эти смуглые непробудные скулы. Они принадлежали таланту сильному, мускулистому, упрямому. М. Луконин прошел фронт и мировые бездны. Его раненого вытащил на себе Наровчатов. Мы не были друзьями. Когда он читал, покоряла недюжинная свобода интонаций, то есть судьба. Его губы были притянуты близко к носу, будто он принимался к кислому суетному быту после широкого ветра войны. Сейчас в нахмуренном трудном сне губы тянулись совсем по-детски.

«Волга» лежала против движения. Вероятно, сознание оставило его, когда он разворачивался, или он сбился с пути в непонятном мирном существовании, или хотел рвануть наперекор всему — кто знает?

В этот непроглядный час машин ни на дороге, ни на шоссе не ожидалось. Я дошел до гаража городка, добудился сторожа, потом мы подняли в теплой квартире из домашних снов шофера в заспанной майке. Тот для порядка поматерился, но воспринял все как естественное.

Вывернули колеса «Волги». Самосвал напряг трос, машина хмуро дернулась. Как ей не хотелось покидать мягкое, снежное, холодное гнездо, вырваться из снов, дурмана, памяти войны, молодости — так душа и улетевшая жизнь хмуро противятся воле реаниматоров, познав уже дикую угрюмую свободу, не даются тросу реанимации, который уверенно и неотступно тянет ее сквозь ирреальную дыру обратно в земное бытие.

Потом, встречаясь, мы никогда не заговаривали с Лукони об этой дороге, но что-то между нами произошло. Я частенько чувствовал на себе его особый тепло-карий взгляд...

 сипшие тормоза машины вырывают меня из грез российских воспоминаний. Возвращают, так сказать, к реальности, к прозе жизни.

— Приехали!

Разминаем затекшие ноги. Перед нами белая усадьба Мура. Круг замыкается.

Осторожнее, не потревожьте мастера! Мур невозмутимо лепит свои крохотные фигурки — нас с вами. Круг кончается. Век кончается, а он все будто не понимает, зачем вы заявились к нему и что пытаетесь спросить. Входит рабочий с хомяком в руке. Он, разговаривая, перебирает хомяка рукой, как свисающие живые золотые четки. Хомяк не всегда в восторге от этого. Об этом свидетельствует прокусанный палец. Мур хищно впивается в золотую изгибающуюся форму. И опять будто не замечает, что я, прощаясь, стою ссутулившимся вопросом.

Вместо ответа, что-то ворча под нос, он дарит свой рисунок. И сам упаковывает. Мол, дома развернете и все поймете. Закутывает в целлофан, прокладывает картонкой. Не найдя второго картона, отрывает обложку от альбома для набросков. Потом все аккуратно заклеивает скотчем.

Отвечьте себе, ну почему вы тогда не удержали ее? — Обладайте всей полнотой жизни, обновляйте форму, дерзайте, — говорил мне Павлов, — но только не теряйте себя, не преступайте бездну, не вступайте в черную дыру.

Черная дыра стоит посредине моей комнаты. Ее взгляд открыт и ожидающ.

Я вошел в черную дыру.

Дант ошибся, описывая ее как безнадежный промозглый сводчатый коридор. Его ад — память. Его заставили забыть, что он видел, стерли память и вложили вместо этого ложную информацию.

Там нет ни времени, ни пространства. Все заполнено бескрайним внутренним голосом.

Ориентиром, запоминающим место, где я вошел, оставалось лишь висящее, как на вешалке, мое поношенное тело с изъеденным молью затылком и выдавшим виды немодным носом. Было жаль расставаться с ним. Оно, удаляясь, уменьшалось.

Я продвигался, минуя воздушные ямы. В них томились клочки сметенной энергии. Это были мученики памяти. Так в деспотиях Берии пытали, сажая на ведро с крысой. Бедное животное, чтобы вырваться наружу, проедало внутренности.

С краю бледный акселерат в бесчисленный раз бил молотком по черепу своей матери. Страдалица, подняв залитое кровью лицо, молила: «Оставьте его, он не виноват, я сама ударилась».

Измученный юнец обернулся ко мне и, запыхавшись,

спросил: «Новенький, что сейчас лабают на планете? Напомни мне «Пинк Флойда». Всю память тут отшибли».

Я напомнил. Он кивнул, как благодарят за затяжку, и вернулся к своему занятию.

Смеркающийся самодержец целовал отрубленную голову своей любовницы. Изнемогающего живописца терзали птицы с женским лицом и грудью. Тут мое зрение отключилось.

Звучал только голос. Но это была еще преддыра. Она была наполнена вопросом.

Вернее, голосов было два. Они задавали вопросы. «Что важнее — вера или предмет веры? Смысл жизни или жизнь смысла? Свобода или путь к свободе? Безграничность мысли или ограниченность земных ресурсов?»

Между вопросами струилась энергия. Она создавала города. Над ней радужно расцветали и испарялись цивилизации. Между вопросами возникали войны.

Меня спросили: «Ты хочешь знать Ответ?» Мне хотелось. «Но ты видел тех, кто пытался, кто преступил. Ответ дается ценой жизни».

«Жизнь отдают за кило колбасы».

«А как вдруг, узнав, ты проклянешь себя? А как вдруг по этому Ответу твоя мечта окажется жабой? Царевна-то — склизкой лягухой? А дрянь окажется «величественней, чем Лев Толстой»? А вдруг своей извилиной ты не поймешь Ответа и будешь внимать лишь химере своего убогого разумения? (Как века люди молятся неверно законспектированному Евангелию.) А? А как, вдруг уже познав, ты сразу забудешь его?»

Я шагнул в Ответ.

Ясность Ответа поразила меня. Он вмещался в одно слово. Это творящее Слово пронзило счастьем все мое существо. Я познал, что моя жизнь осуществилась, удалась, но она уже не имела значения. Она слилась с Ответом. Я растворился в Слове.

Годы, века? — не знаю.

Но как-то, счастливо и растворенно плывя в исторических пространствах, отдалившись к окраине, я почувствовал некую тягу вроде тайника, пустота которого простукивается в стене, или скрытого лаза. Я давно заприметил это место. Это был тайник черной дыры, смущенная память, где она помнила то, что скрывала от себя.

Я увидел какую-то убогую комнатку с обшарпанным шкафом. Автопортрет хозяина, покосившись, прижимал отстав-

шие обои. Света не выключали. Подслеповатая лампа склонилась, как над пальцами, над натянутым подрамником с запыленным эскизом какого-то золотого шара.

Форточка была безнадежно открыта.

Обернувшись вокруг, невдалеке снаружи я обнаружил мое висящее, довольно прилично сохранившееся тело. Я с трудом стал натягивать его. Оно село, покоробилось, оно не узнавало меня. Ноги жали. Ничего, разносятся!

Я раздвинул пошире скрипучую фортку и впрыгнул в комнату.

«О-о-о... — обездоленно и бескрайне послышалось за моей спиной. — О-о-о...»

Ко мне бросился мир — горячий, карий, васильковый, щечечущий, русый, живой!

Автопортрет, не узнав меня, отшатнулся и вдавился в стенку. «Что ты давишь на психику?» — трясаясь от страха, сказал он. Первый, кто узнал меня, был хромоногий стол. Он кинулся, визжа, по-собачьи уткнулся мне в живот. С покосившегося шкафа мне на плечо спрыгнула ваза, когда-то подаренная тобою, и обплакала всю рубашу. Я едва успел поймать ее в объятия. В окно забарабанили, стали лизаться лохматые ромахи. Половицы, мяукая, выгибались и терлись о мои ступни.

«Родные, я привез вам Ответ! Сейчас вы все узнаете!»

Но тут я понял, что забыл Ответ.

Я забыл, я все забыл.

Я живу, все дни я пытаюсь вспомнить Ответ. Портрет не узнает меня. Какая мука — вспоминать, вспоминать и не вспомнить! Может быть, Слово случайно само сложится из букв строящегося облака? Может быть, Ответ надо не получать с небес, а строить самому, и в этом тоже есть смысл Ответа?



откажитесь от идеи Поэтарха. Опасно после стольких лет отвычки братья за архитектуру — облагаетесь! Архитектура в отличие от зданий не стоит на месте. Ваш объект все равно зарубят.

Оппонент Омлетов категорически против. Он звонит по ночам конструкторам, членам худсовета, вашим соавторам, запугивает их, чужим голосом ухаает, хрюкает, храпит в трубку». — «И мяукает?» — «Откуда вы знаете? И мяукает».

Боже, неужели и до этого ты докатилась в своей низкой мести мне? А может, и вправду идея не удалась?



тмщенье!

Спустились, набрякли, взбесились небеса. Природе отшибло память. В июне под Москвой выпал снег. Урожай сгорели и померзли.

Вытаращенный несчастный шар носился над поселком!

«Я тебе сделаю! Я тебе устрою архитектуру! Я тебе сворую
 Ответ! Я связалась с подонком!»

Ты лупила по мне, как кнутом, черными молниями. Но, слепая от гнева и горя, промахивалась. Ташкент шатнуло землетрясением. Ты швыряла мечети оземь, как чашки.

«Я тебе снюхаюсь с «белыми дырами!»»

Всеобщее затмение ума! Черемуха зацвела черным. По всей округе молоко в чашках стало черным и превратилось в пустогу. Я не могу ни рисовать, ни писать на ставших черными листках бумаги, слова утопают, сливаются с темнотою.

Ты вселилась в обезумевших кошек, кур, прохожих — они несутся найти меня, заклевать, выцарапать, проработать.

Солнце, твой родич, почернев, вздымает над головой взбешенные кулаки, будто, пыхтя, пытается подтянуться на невидимом турнике. Будто опять мой взбесившийся пупс на трибуне. Он кричит что-то яростное, солнечное, августейшее на своем, как у всех толстяков, тонком обиженном дисканте.

«Погода балует! — Соседи заперлись на крюки. — Все небо продырявили».

Я один знал, что это я виноват во всем. Зачем я приручил тебя к нашим земным утехам? Я виноват в том, что сгорели урожаи. Я виноват в том, что я лишь человек, что мои поступки человечьи, я мыслю, увы, не высшим разумом, а по-дурацки, лишь по-людски.

Ты обезумела, ты обезумела, ты обезумела.

«Где ты прячешься? Ах, ты запер все фортки! Небось со своей тварью. Да, я глухая, слепая, но погляди на себя, портреты шарахаются от тебя. (Портрет, перекосясь, плюнул в меня.) Что я нашла в этой роже? Глянь в зеркало — подбородок в краске, а может, это помада? (Зеркало хлобнуть — вдребезги.) Ну, теперь я уже не промажу!»

Слепая, она проносилась мимо.

Вдруг, видно вспомнив, она зависла в зените точно над моим домиком. Крыша вжалась. Она застыла. Сейчас последует неотвратимый удар. Она не промажет. Но она медлила, видно, чтобы продлить наслаждение мщенья.

Потом вдруг дрогнула и окуталась каким-то туманным облаком.

Ты плачешь? Ты можешь плакать, несчастная, злобная, нескладная, мокрая, как электрический скат? Ты плачешь впервые в жизни. Бессловесная кикимора, ты можешь плакать?

Все отсырело в комнате. Черные бумаги просветлели, прояснились, но стали волглыми, на них расплылись слова. Ну вот, наорут, все перебьют, а потом утешай их!

Окно снаружи запотело. Потом по стеклу побежали чистые ручьи. Я открыл раму.

Тебя не было. Хрущевидное солнце садилось за полем, все еще машинально подымая и опуская кулак, будто спускало из бачка воду. В такт ему набегал трепет листы в кладбищенской роще, будто накатывающиеся и стихающие аплодисменты.

Я выпрыгнул в сад. Я прижался щекой к внешней стороне стекла. Щеки стали мокрыми от твоих слез.

Годы, века? — не помню.



канчиваю. Я прощаюсь с тобой, моя темная повесть! Ты скоро разлетишься по свету на тысячи буквочек, как бусины распавшихся бус, но в каждом из маленьких «о» отныне будет отсвет твоего тепла.

Вечереет. Я пишу в Переделкине за садовым столом. Белые рамы дома как бы отдаляются в сумерках. Белый лист бумаги покрывается теменью моих словес, исчезает под строчками.

Уже совсем темно. Не видно ни листа, ни пера, ни руки — они сливаются с твоей тьмой. Прощай. Я столько суток провел с тобою. Я забывал для тебя друзей и дела. Как ты меня мучила! Спасибо, что ты меня нашла.

Оловянное небо написано нейтральным на подаренном рисунке Мура. Сумерки встревожены, небо волнуется, ищет тебя. В тучах просвет, будто открытая фортка.

Поспешный овал озера. Четыре дерева на другом берегу. В центре озера стоят три грации — Поэзия? Архитектура? Разлука? Прижавшись друг к другу, они образуют триединый беломраморный столб.

Они стоят на темном пьедестале. Судя по черному плавнику, это спина дельфина, кита-касатки либо лох-несского чудища. А может, это черные шестерни нашего жестокого века?

Видно, как кисть художника торопится, мазок поспешает, летят брызги, видно, как он, волнуясь, приготавливает в баночке нейтральгин, смешивая берлинку, умбрию и свою тоску. Кисть торопится, он разбрызгивает воду, краску, жизнь. Век торопится, век истекает. Он спешит сообщить нечто важное, происшедшее с ним.

Но что это? Или это изъян бумаги? Нет, это явно не клякса.

В центре неба повисло темное отлетающее тоскливое пятно. Оно замедлило взгляд. Оно глядит на озеро, на белый столб, на нас с вами. Торопитесь! Оно сейчас улетит.

Рука Мура безотчетно сама запечатлела, что с ним произошло, в самый момент твоего отлета. Это твой единственный портрет.

Я вешаю этот рисунок на стену переделкинской комнатки, где ты провела столько дней. Он расположился рядом с солнечным эскизом павловского павильона плавательного театра, где в трех белых дырах плещутся вода, солнце, смех.

Сумерничаю с Муром.

— **О**тлично слышно... 08? Это ты, Скульптор? Салют! Что?! На худсовете утвердили наш проект?! Повтори... Не может быть! Ура! А оппонент Омлетов? Не явился?.. Как — провалился? Шел по проспекту и провалился в какую-то дыру? Там же не было дыр! Ну, наверное, ремонтировали. Ну пусть не роет другому яму — сам попал...

Одновременно в трубке завопили голоса и Мура, и Капы, и твой. Все орали, поздравляли. Одновременно слышалось уханье и храп.

Ну почему я вдруг обернулся?

Я узнаю этот взгляд из тысячи. Из угла, набычась, радостно глядела моя черная дыра. Вернулась!

Ну почему я не успел тогда сразу же захлопнуть форточку?

Она метнулась к окну. Она задержалась на мгновение в форточке. Помедлила. Покачалась. И тоскливо обернулась.

Больше я ее никогда не видел.

Кенгауры

Иду на Человек с головою песьей,
иду на Зверь с человечесьей спесью,
иду на Вор с соловьиной песнью.

«Иду на Вы» — этот клик опробовали
все от Святослава до Роберта.
Иные битвы — иные опыты.

Но я иду, темнотой изрезан,
чтобы услышать из темноты
пропащий отзыв из чащи леса:
«Иду на Ты!»

Мы все родились искать ответа
на «ты» нам — чаща, на «ты» — цветы.
«Иду на Вы» — это щит поэта,
смысл поэта — идти на «ты»!

Иду на Ты, человеке дивный,
в снегу целую твои следы.
Неразумеющие, идите вы...
Иду на Ты!

Пять капель неба

I

России — крах? Демонтаж сфинкса.
Свобода, демоны и прах...
Святой Андрей Филадельфийский
светает в синих куполах.

Ты не был взорван, не был засран,
не стал ты хлевом под свиньей,
сюда необъяснимо заслан
предчувствующей синевой.

Храни, тайник филадельфийский,
взор нерасстрелянных веков
и зубчики филателийские
Кремля под сургучом орлов.

Но почему не успокоит
души странноприимный храм?
Как две коробки упаковки,
стоят два дома по бокам.

Свет реставрирован отверстый,
я так души не почию.
Но почему, отец, ответствуй,
так ранит синий, почему?

Зачем строители «Варяга»
куски Андреевского флага
наклеили на купола?
Чьи звездочки на купол сели
с погон морского офицера?
С кем эмигрировала вера
пока страна еще — была?

Детей, почуя преисподню,
как в сейф, вложила в край чужой...
Что там с тобой сейчас, сегодня?
Господь, безумных успокой!

II

Синь, избежавшая ГУЛАГа,
сестра «Варяга», что на дне.
Неужто вариант «Варяга»
сужден стране?

III

Филадельфийская портниха
что о России знать могла?
В необъяснимое проникла,
мисс Бетси Росс, ваша игла.

Как штопают на ложках бабки,
на звездно-синих куполах
Троице-Сергиевой лавры
натянут звездно-синий флаг.

Рисуя звездами на синем
по флагу, древний Джаспер Джонс
неужто купола России,
увидел, ими поражен-с?

В закате пашни полосные,
то белые, то огневые —
лежали борозды в снегу,
и звезды купола в углу
по голубому — золотые...

IV

Молись, дитя в джинсах овчинных,
молись за родину, малыш,

за Язу и за Пречистенку,
за потопляемых пучиной
первопричины помолись.
Молись за горстку, что над рыком
наладить пробует ладью...
С двумя свечами, как с обрывками
веревек лестницы, стою.

V

Не луковки, а капли сини
с крестов набухли, как печаль.
Нам Ты от жизни депрессивной
пять капель неба прописал.

Четыре синие набрякли.
А пятою полны глаза,
а с пятой роковою каплей
пока что медлят небеса.

Россия рвется в Апокалипсис.
Мы не спасем — ни я, ни вы.
А вдруг спасет церковка-капельница
в слезах целебной синевы?

Завгар, ты — дружинник и член партбюро,
лицо твое в прессе почет обрело,
выходишь ты в полночь,
в кармане сжав гирию, —
«Опять изнасилованную убили!»
Спи мирно, держава. Дорогами слез
гуляет Варавва и ходит Христос.

По области сперму берут на анализ.
Сознались два нервных. Рок-группа созналась.
Но телеграфирует новая ночь —
убита с подругою твоя дочь.

Пирует с дружиною страшный завгар.
И молится мальчик на воли закал.
Повсюду мерещится крик из-под кляпа:
«Папа!»
А утром записка у нового труппа:
«Да здравствует террор! Подпольная группа».

По области почерк берут на анализ.
Расстрелян один. Еще восемь сознались.
Незримый Варавва в глуши земной
творит свой мини-тридцать седьмой.

— Скажи мне, прохожий, а ты не Варавва?
— Зачем мне, дружинник, делить твою славу?
Да разве облавою схватишь в снегах
присутствие дьявола в наших шагах?..

— Я городом шел, где забытый Шагал.
Стояла тюрюга у края оврага,
верней, монастырь,
превращенный в тюрюгу.

Там воеет в наручниках
страшный завгар.
Неужто мы жили, молясь на Варавву?..
Прости нас, Боже правый!

Помощь явная — тщеславная,
чтобы видела толпа.
Верх тщеславья — помощь тайная,
перед Богом похвальба.

Мадам де Пробир

— Как наши мужчины, мадам Перекусихина, подруга наша верная, мадам де Пробир?

— Купец у Малой Грязной (ныне Куусинена) кулем дверь пробил — кулак занозил.

— Все хахоньки да хихоньки, мадам Перекусихина?
— Их, как сельдей, напихано, моя императрица: граф Иловайский с сыном шаг пробуют гусиный, есть жеребенок ихний, есть генерал под тридцать, боюсь, что не годится, моя императрица.

— А что вы покраснели, мадам Перекусихина?
— Чай, дула печь топиться, моя императрица.
— А кто там в вашей спальне, мадам Перекусихина?
— Наверно,мышь резвится, моя императрица.
— Давно ль у мыши сабля, мадам Перекусихина?
— Я памятью ослабла, моя императрица, кузен мой, Лешка Зуев, молоденький да тихонький, пришел к сестре проститься, моя императрица...
— На что ты покусилась, мадам Перекусихина?!
Пускай подаст мне в спальню глясе-пломбир.
Императрица станет тебе мадам Пробир.

Бедная, бедная мадам Перекусихина!

Тюльпаны на полюсе

Сюда земной не залетает звук.
Налево — юг, направо — юг,
юг — спереди, и сзади — юг,
и снизу юг глядит, как черный люк.
И, словно воплощенье телепатии,
живые подмосковные тюльпаны
стоят и озираются вокруг.

Есть города — но это все южнее,
есть путь сюда — но это все южнее,
чужие, да и ваши, пораженья,
южнее — жизнь, которая сбылась,
тюльпанным капюшоном голубея.
Наверно, есть красивей и нужнее,
но нет на свете севернее вас.

И нет тебя нежней, московский парень,
который месяц не снимавший лыж,
когда ты эти ломкие тюльпаны
от холода собою заслонишь.

Ты перенес ледовую жестокость,
радирировал со льдины при свече.
Наверно, полюс собирает в фокус
все абсолютное в тебе.

Призеры и фанаты горизонта,
в тюльпанных куртках шедшие сюда,
к торосам, озаренно-бирюзовым,
лечите душу синим светом льда!

Дозорный перед полем Куликовым

Один в поле воин.
Раз нету второго,
не вижу причины откладывать бой.
Единственной жизнью
прикрыта дорога.
Единственной спичкой гремит коробок.
Один в поле воин. Один в небе Бог.

Вас нет со мной рядом,
дозорных отряда.
Убиты. Отправились в вечный покой.
Две звездочки сверху
поставите свечкой
тому, кто остался доигрывать бой.

Дай смерти и воли,
волшебное поле.
Я в арифметике не силен.
Не красть вам Россию,
блатные батии.
И имя вам — свора, а не легион.

И слева и справа
удары оравы.
Я был одинок среди стужи ночной.
Удары ретивы —
теплей в коллективе!
И нет перспективы мне выиграть бой.

Нет Сергия Радонежского с тобою.
Грехи отпустить и тоску остудить.
Один в поле воин, но если есть поле —
то, значит, вас двое,
и ты не один.

Так русский писатель — полтыщи лет после,
всей грязи назло —
попросит развеять его в чистом поле
за то, что его в сорок первом спасло.

За мною останется поле великое
и тысячелетья побед и невзгод.
Счастливым моим, перерезанным криком
зову тебя, поле!
Поле придет.

Сентябрь

Загрибок сохатый, как карагач —
невесткин хахаль,
снохач, снохач!..

Он шубу справил ей в ту весну.
Он сына сплавил на Колыму.
Он ночью стучит черпаком по бадье.
И лампами
капли
висят в бороде!

(Огромная осень, стара и юна,
в неистово-синем сиянье окна.)

А утром он в чайной подсядет ко мне,
дыша перегаром,
как листья в окне,
и скажет мне:
«Что ж я? Художник, утешь.
Мне страшно, художник!.. Я сыну — отец...»

И слезы стоят, как стакан первача,
в неистово синих глазах снохача.

Бесконечными дни нам казались.
И раскидывались, пlying,
словно длинные

ноги
красавиц,
в небе длинные чаек крыла.

Унеси в твое небо и море!
Ты плывешь — все так долго плывет.
После каждого часа с тобою
надо снова встречать Новый год!

Поднимая бокалы за это,
как с шампанским поднос долгождан,
нам рождественской елкой лета
зацвечал за окошком каштан.

Изумрудный юмор

I

«Алло!
Я вас предупреждал о Неопознанной летающей О».

Нынче всех повело:
ноль становится НЛЮ.

«Принял форму академика, наш-то, ноль-то...»
Ноливо.

Треугольная шляпа во время оно
носила НЛЮлеона,
скрестившего руки знаком икс,
принимавшего форму
св. Елены, Ванц, колонны,
Европы, коньяка и идеи-фикс.

НЛЮжницы
отличные наложницы,
принимают форму Венеры и Вирджинии Вульф,
а если сможете, то двух.

Выше Брумеля — а кто такой Брумель? —
над миром летит изумрудный юмор.

«Милая моя!
Пиши мне до востребования. Комиссия А-я!»

II

Время ночное. Нету автобуса.
В море маячит три изумрудины.
Это на лампу ловят анчоуса.

Значит, три сейнера в море орудуют.
Я не люблю эту ловлю со взломом.
Белые лампы в лоно нырнут.
И, очарованную зеленым,
тонну анчоуса жрет изумруд.

Чем очаровываешься, анчоус?
Тягой Луны? Сладострастием лишь?
Ближе ль ты к истине, если очнешься?
Или за миг поблагодаришь?

Дуло. Сермень опускали. «Дура,
комса космически прет на свет».
Как я пронзительно о Тебе думал!
Страшное время. Выхода нет.

III

Зачем летит изумрудный юмор,
приобретая форму лайнера?
Это зуммер
метафорического сознания.

Так поэт, адресуясь потомкам,
любовною лодкой стал в финале.
Другой обертывался жеребенком,
чтоб небеса его понимали.

Не для того, чтобы злить митрофанов,
живем мы, сдвинутые по фазе.
Я разрабатываю метафору,
что стала духовным каналом связи.

Это не литературная школа,
а если школа — то сигнализации.
Ученики ее будут скоро
связывать цивилизации.
Изумрудные кошки зажглись по крышам,
как огни посадочные Прибывшим.

Они, думаю, не Минотавры.
Никто не изнасилован и не умер.
Небо общается через метафоры.

Над миром летит изумрудный юмор...
Если небесная мысль преследует,
зачем рыдать в туалетный кафель?
Следует
разрабатывать язык метафор.

В начале пути моего над лесом
взошла изумрудная запятая.
Сейчас перечитываю с интересом,
что записал я, не понимая —

зеленое зеленое зеленое
заплакало заплакало заплакало
зеркало зеркало зеркало
эхо эхо эхо

Романс из оперы «Юнона и Авось»

Белый шиповник, дикий шиповник
краше садовых роз.

Белую ветку юный любовник
графской жене принес.

Белый шиповник, дерзкий поклонник,
он ей, смеясь, отдал.

Ветка упала на подоконник.
На пол упала шаль.

Белый шиповник, страсти виновник,
разум отнять готов.

Только известно — графский садовник
против чужих цветов.

Что ты наделал, бедный разбойник?

Выстрел раздался вдруг.

Красный от крови — красный шиповник
выпал из мертвых рук.

Их схоронили в разных могилах,
там, где садовый вал.

Как тебя звали, юноша милый?

Только шиповник знал.

Тот, кто убил их, тот, кто шпионил,
будет наказан тот.

Белый шиповник, дикий шиповник
в память любви цветет.

Матросы

В море соли и так до черта,
моря не надо слез.
Наша вера верней расчета,
нас вывозит «Авось»!

Вместо флейты подыдем флягу,
чтобы смелей жилось
под небесным
флагом и девизом «Авось!».

Нас мало и нас все меньше,
и парус пробит насквозь,
но сердца забывчивых женщин
не забудут, авось!

Буря — это всего лишь буря,
глупо в ней ждать конца.
Пуля — дура, конечно, дура,
но умней мудреца.

От нагрузки на наши плечи
гнется земная ось,
только наш позвоночник
крепче —
не согнемся, авось!

У русалки солены губы
и вместо ножек — хвост.
Сэкономим на паре туфель.
Не погибнем, авось...

Но от нашей надежды, своей
сетям пустых судеб,
через век назовут авоськой
сумку, где носят хлеб.

Кончита

Десять лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты все ближе ко мне.
Хорошо ли приладил седло?
Чтоб в пути тебе было светло,
я свечу оставляю в окне.

Двадцать лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты все ближе ко мне.
Ты поборешь всемирное зло.
Чтоб в бою тебе было светло,
я свечу оставляю в окне.

Тридцать лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты все ближе ко мне.
У меня отрастает крыло!
Без меня чтобы было светло,
я оставила свечку в окне.

1977

Свадебная песнь

Аллилуйя возлюбленной паре!
Мы забыли, бранясь и пируя,
для чего мы на землю попали —
аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя их будущим детям.
Наша жизнь пронесется аллюром.
Мы проклятым вопросам ответим:
аллилуйя любви, аллилуйя!

Я люблю твои руки и речи,
с твоих ног я усталость разую.
В море общем сливаются реки.
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя Гудзону и Волге!
Государства любовь образует.
Аллилуйя, князь Игорь и Ольга!
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя свирепому нересту!
Аллилуйя бобрам алеутским!
Лишь любовью оправдана ненависть.
Аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя Кончите с Резановым.
Исповедуя веру иную,
мы повторим под занавес заповедь:
аллилуйя любви, аллилуйя!

Аллилуйя актерам трагедии,
что нам жизнь подарили вторую,
полюбивши нас через столетие.
Аллилуйя любви, аллилуйя!

1977

Ресторан

Я пою в нашем городке
каждый день, в праздной тесноте.
Ты придешь, сядешь в уголке.
Подберу музыку к тебе.

Подберу музыку к глазам,
подберу музыку к лицу,
подберу музыку к словам,
что тебе в жизни не скажу.

Потанцуй под музыку мою.
Все равно, что в жизни суждено —
под мою ты музыку танцуешь,
все равно...

Ты уйдешь, с кем-то ты уйдешь.
Я тебя взглядом провожу.

За окном будет только дождь.
Подберу музыку к дождю.

В ресторан ходят отдохнуть
и когда все не по нутру.
Подберу с ходу что-нибудь,
Как тебя помню, подберу.

Мы нашли разную звезду.
Но всегда музыка одна.
Если я в жизни упаду,
подберет музыка меня.

1977

Ну, что ты стесняешься
пошлого танго,
как лабух стесняется
Божьего дара,
его заглушив ресторанными тактами —
та-ра-ра...

Ты сам написал его
в пору безденежья,
но в нищую ноту
прорвалась народная...
Ты выразил в ней
современную женщину
с дурным огоньком
старомодной смородины.

1977

Регтайм

Полюбите пианиста!
Хоть он с виду неказистый

и умеет плавать, как топор.
Не спешите разрыдаться —
жизнь полна импровизаций.
Гениальным может быть тапер.

Черный клавиш — белый клавиш.
Все, что было, не поправишь.
Он еще не Рихтер и не Лист.
Полюбите пианиста!
«Быстро. Быстро. Очень быстро» —
современной музыки девиз.
Но однажды вдруг возникла
чемпионка мотоцикла —
забежала в зал без всяких дел.
И сказала: «Завтра ралли.
Догоните на рояле!»
И рояль за нею полетел.

И взлетел он на рояле,
нажимая на педали.
У рояля есть одно крыло.
Все машины поотстали.
Стал он чемпионом ралли,
хоть в рояле тысяча кило.

Полюбите пианиста,
закажите «Вальс-мефисто»
и летайте ночи напролет.
Не спешите изумляться,
жизнь полна импровизаций,
с ним в оркестре гонщица поет.

1983

Миллион роз

Жил-был художник один,
домик имел и холсты.
Но он актрису любил,
ту, что любила цветы.

Он тогда продал свой дом —
продал картины и кров —
и на все деньги купил
целое море цветов.

Миллион, миллион, миллион алых роз
из окна видишь ты.
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен —
и всерьез! —
свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Утром встаешь у окна —
может, сошла ты с ума?
Как продолжение сна,
площадь цветами полна.

Похолодеет душа —
что за богач там чудит?
А за окном без гроша
бедный художник стоит.

Встреча была коротка.
В ночь ее поезд увез.
Но в ее жизни была
песня безумная роз.

Прожил художник один.
Много он бед перенес.
Но в его жизни была
целая площадь из роз...

1981

Будто дверью ошибся,
пахнет розой и «Шипкой»,
будто жизнью ошибся во тьме —
будто ты получил свиданье,
предназначенное не тебе.

Ни за что — это время
и репей на коленке,
вниз сбегаящей по тропе, —
удивленное благодаренье,
предназначенное не тебе.

Благодать без понятия
или камня проклятье,
промахнувшееся в слепоте?
Задушили тебя в объятьях,
предназначенных не тебе.

Эти залы с цветами,
вся Россия за вами,
и разбитая песнь на губе —
заповеднейшее свиданье,
предназначенное не тебе.

Отпираться наивно.
Есть, наверное, лифты,
чтоб не лезть на балкон по трубе.
Прости, Господи, за молитвы,
предназначенные не тебе.

1979

Голос

Ловите Ротару
в эфирной трансляции,
ловите тревогу
в словах разудалых.
Оставьте воров,
милицейские рации —
ловите Ротару!

Я видел:
береза заслушалась в заросли,
надвинув грибы,
как наушников пару, —
как будто солистка

на звукозаписи
в себя удалилась...
Ловите Ротару.

Порою
из репертуара мажорного
осветится профиль,
сухой, как береста,
похожий на суриковскую Морозову,
и я понимаю,
как это непросто.

И волос твой долог,
да голос недолог.
И всех не накормишь,
по стройкам летая.
Народ голодает — на музыку голод.
И охают бабы — какая худая...

1977

Песня на «бис»

Концерт давно окончен,
но песня бесконечна.
Снял звукооператор уставший микрофон.
Я вместо микрофона
спою в бутон тюльпана!
на сцене мировой.

Я вам спою еще на «бис» —
не песнь свою, а жизнь свою.
Нельзя вернуть любовь и жизнь.
Но я артист.
Я повторю.

Спасибо за тюльпан,
за то, что пело в нас,
спасибо за туман
твоих опять влюбленных серых глаз.

Я повторю судьбу на «бис».
Нам только раз в земном краю
дарует Бог любовь и жизнь.
Но я не Бог.
Я повторю.

1981

Две школы — женская, мужская.
Две школы — проза и стихи.
Зачем их разлучать? Не знаю.
Я пел хоралы и хиты.

Классификатор скрупулезный,
поди попробуй разними —
стихами были или прозой
поэтом прожитые дни?

1981

Девочка с удочкой, бабушка с удочкой
каждое утро возле запруд —
женщина в прошлом и женщина в будущем —
воду запретную стерегут.

Как полыхают над полем картофельным
две пробегающих женских зари!
Как повторяется девичьим профилем
профиль бабушкин изнутри!

Гнутые удочки, лески капронные
в золоте омота отражены,
словно прозрачные дольки лимонные.
Но это кажется со стороны.

То ли мужик перевелся в округе?
Юбки упруги. В ведрах лещи.
«Бабушка, правда, есть рыба бельдюга?»
«Дура, тащи!»

Как хороша эта страсть удивившая!
Донная рыба рванет под водой.
И, содрогнув, пробежит по удилицу
рыболовецкий трепет мужской.

Кузнечик

М. Чаклайсу

Сыграй, кузнечик, сыграни,
мой акустический кудесник,
и в этих музыках вкуснейших
луга и август сохрани.

Сыграй лесную синеву,
органы лиелупских сосен
и счастье с женщиной несносной,
которым только и живу.

Как сладостно, обнявшись, спать!
А за окошком долго-долго
в колках древесных и восторгах
заводит музыку скрипач...

Сыграй, зеленый меломан.
Роман наш оркестрован грустью,
не музыкальная игрушка,
но тоже страшно поломать.

И нам, когда мы будем врозь,
дрожа углами ног кудесных,
приснится крохотный кузнечик —
как с самолета Крымский мост.

Сыграй, кузнечик, сыграни...
Ведь жизнь твоя еще короче,
чем жизни музыкантов прочих.
Хоть и невечные они.

Пасечник нашего лета
вынет из шумного улья
соты, как будто кассеты
с музыкою июля.

Смилуйся, государыня скрипка,
и не казни красотой
мяты и царского скипетра
перед разлукой такою!

Смилуйся, государыня родина,
выполни самую малость,
пусть под жилыми коробками —
но чтобы людям осталась!

Смилуйся, государыня совесть,
спрячься на грудь мне, как страус.
Пой сколько хочешь про Сольвейг,
но чтобы после осталась.

Мосточек

В. Старкову

Над речушкою головешки.
Над двадцатой верстой от Москвы.
Почему неизвестные лешие
каждой ночью сжигают мостки?

Эта речка — ничья. Без повестки,
из такого же теста почти,
почему мужички неизвестные
утро каждое чинят мостки?

Чтобы я, человек неизвестный,
перебрался над бездной реки,
кто-то тайный и неизбежный
и сжигает и чинит мостки.

В. Б.

Нет у поэтов отчества.
Творчество — это отрочество.

Ходит он — синеокий,
гусельки на весу,
очи его — как окуни
или окно в весну.

Он неожидан, как фишка.
Ветренен, точно март...
Нет у поэта финиша.
Творчество — это старт.

В. Бокову

Лежат велосипеды
в лесу в росе,
в березовых просветах
блестит шоссе,

попадали, припали
крылом — к крылу,
педалями — в педали,
рулем — к рулю,

да разве их разбудишь —
ну хоть убей! —
оцепенелых чудищ
в витках цепей,

большие, изумленные,
глядят с земли,
над ними — мгла зеленая,
смола,
шмели,

в шумящем изобилии
ромашек, мят
лежат,
о них забыли,
и спят,
и спят.

Величальная открытка В. Бокову

Милый Виктор Федорович,
выйди, Свитер Фертович,
Винтичек Отверткович,
Вытри-слезы-Горькович,
Ветром Свирь-строй Тертович,
Вытегра Осетрович,
Акварель Офортovich,
Скворка Фьюить в форткович,
соловей-работничек,
чтобы девки — навзничь,
мужички — ничком!

Новые Неновые

У моей околицы
трое бритых овнов.
Подошли знакомиться
новые Неновые.

Новые Неновые,
прагматичны — ладно бы! —
новые виновные,
что талантливы.

Покупают «вольвы»
новые-неновые
бунтари невольные,
как ни именованы,
имена дарованы
им не очень ношенные
и не очень новые
девушки киношные...

К дадаисту давнему
толпы разлинованы —
сальвадордальние
новые Неновые.

Кровь артериальная
перешла в венозную.

Параной помойный
стал яснее битлов.
Старое есть новое,
хорошо избитое.

И творят сенсации
над старыми неонами
соловьи за станцией —
новые неновые.

таша говорю я на
низм ты говоришь комму
ыкант наливает муз
иноактриса пошла к
сотка улыбнулась кра
вать советует уби
лам сломалась жизнь попо

Зеки шьют кресла Аэрофлоту.
На преступленьях мои полеты,
мнимых и страшных. Из крепкого репса
Аэрофлоту зеки шьют кресла.
Катапультировать бы из рейса!
Мне не заснуть в затененном отсеке.
Нитку насильник кусал большерото.
Оговоренная портила веки.
Аэрофлоту кресла шьют зеки.
О незнакомом молю человеке,
что, матюгаясь, шила мне кресло.
Боже, погибла или воскресла?
Небо. Свобода. Божие чресла.
Аэрофлоту зеки шьют кресла.

«Господь, помилуй меня,
Господь, помилуй меня,
восславим Господу славу и честь...»

Летят «афганцы» в гробах.
Не заживет Карабах.
Неужто страшная месть?
Тысячелетье Руси —
тысячелетье души.
Пришло ей время воскресть.

Страну помилуй, Господь,
народ, что пущен в расход...
Откуда ж певчие в душу вошли?
Раскол. Тиран пучеглаз.
Россия самосожглась.
Есть черный ящик души.

Душа несется, моля:
«Помилуй, Яков, меня...»
«Восславим деспоту славу и честь!»
Взрывают храмы. Салют.
Свидетелей ликвиднут.
Души черный ящик есть.

Есть в черном ящике том
«Христа Спасителя» стон
духоизмещением в тысячи тонн.
И брошенное дитя
все спрашивает, глядя:
«Что в черном ящичке том?»

Душа, помилуй меня,
зажги свечей имена,

за то, в чем косвенно все мы грешны,
за то, что душу забыл,
болит, кричит что есть сил:
«Я — черный ящик души».

Народы в креслах сидят,
народы в «ящик» глядят.
Восславим горстку, кто жил не во лжи!

Сгорит планета людей.
Летит меж Млечных путей
черный ящик души,

Прости мне, Юстинас, дайны
погибшие, мертвую воду
и протоколы тайные
39-го года.

Прости мне продажу пиррову
этих людей и бора,
нас тот же вождь оккупировал,
стреляя без протокола.

Прости мне невозместимость
краев — твоего, моего.
Тебе все яснее, Юстинас.
А мне-то спросить с кого?

Портрет Хуциева

Марлен Мартыныч, Марлен Монтирович,
Арестованыч Картиныч,
как лист сутулыч,
как лист осеннич,
летишь, христовыч,
на свой чердак.
Тел в твое время не арестовывали —
душе впаяли четвертак!

Все годы лучшие твои схватили —
не самого тебя, слава Господи.
Убили душу лишь, Марлен Мотивыч,
и распахали в Госкино.

Топтал ботиныч асфальт Державы,
а в заточенной твоей душе
сидели Слуцкий и Окуджава,
зал нестудентов теперь уже.

Душа с Распутиным срока навертывала
(с Григорь Ефимычем) — за годом год...
Она вернулась, от пыток мертвая,
и нас с тобою не узнает.

Бродило тело меж нас, не плакало,
нематерьяльное, как вина.
Ведь, по свидетельству Андрея Плахова,
фильм закрыли из-за меня.

И что тут выправишь?
И что тут вычленишь?
Как все постичь?
Мерлин Мартинивич, Политехничевич,
Нечечевичевич,
ты всех простишь.

Я шел асфальтом. Серый день.
Сегодня не было теней.
Но предо мной ложилась тень,
от жизни брошена моей.

Я оглянулся. Никого.
Но тень была. Верней всего,
твой ответ, в памяти живой,
шел, как с фонариком, за мной.

Нельзя в ту же реку стать дважды.
Верните коня на скаку.
Когда возвращается жажда,
верните за гриву реку.

Ты вечно, ты вечно другая,
река, возвращенная вспять...
Как в кроле, рука, засыпая,
высвободится опять.

Певец

У него колечко в ухе
вспыхивает под лучом —
чистым слухом в век чернухи
с музыкою обручен.

Отпевание Jacki

Ты от нас убежала джаггинг
по Центральному парку
как туманная буква «J»

Ты вернулась в алфавит
где «J» рядом с «K»
остальное — ноль

Всем известна фотография
где Ты по эту сторону гроба
теперь —
по ту сторону

почему Ты выбрала бабочку?
Тебе бабочка шла к лицу
Ты летишь через город баночный
оббивая о стекла пыльцу

Ты летишь над иными травами,
позабыв земной марафон —
обрамленный каймою траурной
нам приснившийся махаон

Яблоки с бритвами

Хэллувин, Хэллувин — ну куда Голливуд?! —
детям бритвы дают, детям бритвы дают!

В Хэллувин, в Хэллувин с маскарадными ритмами
по дорогам гуляет осенний пикник.
Воздух яблоком пахнет,
но яблоком с бритвами.
На губах перерезанный бритвою крик.

Хэллувин — это с детством и летом разлука.
Кто он? — сука? насмешник? добряк? херувим?
До чего ты страшна, современная сука!
Хэллувин...

Ты мне шлешь поздравленья, слезами облитые,
хэллувиночка, шуточка, девичий пыл,
но любовь — это райское яблоко с бритвами.
Сколько раз я надкусывал, сколько дарил...

Благодарствую, Боже, твоими молитвами,
жизнь — прекрасный подарочек. Хэллувин.
И за яблоки с бритвами, и за яблоки с бритвами
ты простишь нас. И мы тебя, Боже, простим.

Но когда-нибудь в Судное время захочет
и тебя и меня на Судилище том
допросить усмехающийся ангелочек,
семилетний пацан с окровавленным ртом!

Прощание с Венецией

Вода в бензиновых разводах,
венецианские потёмки
и арок стрельчатые своды
сродни гусиным перепонкам.
Я не разгадывал кроссворды.

Дорога до аэродрома
в моторной лодке проходила.
Во всем тревожило огромно
наличие этой третьей силы.
Чей труп распухший под паромом?

Кого убила ты, Венеция?
В свиданье с другом через годы,
во всем — свинцовое неведение
воды и гибельной свободы.
Какое вечное невечное!

Ступни гусиные показывая
пред прибывающей водою, —
Венеция? —
Царица Савская —
поддергиваешь подола.

За речкой Птичь

Е. Б.

Ты художник, Женья, художник ландшафта,
коров твоих 110 прошли ТО,
скачет на лугу твоём вишневая лошадка —
это все твое!

Дон Кихот, ты восстанавливаешь мельницу!
И устав от мерзости, послав всех на,
могилку нарисуешь себе в саду, за ельничком.
«Мне здесь труп не нужен», — сказала жена.

А садовый сумрак съедает мелочи.
Женщины коричневые, как кисти беличьи,
набухают страстью, как краской кисти,
пора ими красить, чтобы не закисло!

Плотинку восстанавливаешь через Птичь
и этим устанавливаешь в сердце тишь.
Всего мы не объедем. Потом обедаем
твоими натюрмортами. Что за дичь,

что интеллигенты восстанавливают
сельхозяйство!

Ты сквозь разбой
сердцем расправляешь каждую козявочку.
Кто, Женья, восстановит нас с тобой?

Что там «новорусские»?!
В мир, испуг навеявши,
входят неворующие
русские новейшие!

Очень часто гений
на условность харкает;
что аборигены
называют «хакером».

Роковые Чацкие,
не поймут старейшины
рокового, чатского
юного новейшину!

Судьи в Калифорнии,
чем срока навешивать,
постигайте формулу
рифмы «innovation»...

Лишь бы вы, старейшины,
талант не угробили...
Русскому новейшине
присудите Нобеля!

Опять, Ираклий Луарсабович,
пошаливает биоритм.
Ваш поздний свет в окошке за полночь
о Лермонтове говорит.

Поручик юный, чтоб не мучились,
прислал Вам деву горних мест.
Ведь отсвет лермонтовской Музы
на самом деле в Джуне есть.

В ее угрюмости витает
легучей Вечности огонь.
На снимке тучка золотая
венчает узкую ладонь.

Люб мне Маяковский — Командор,
гневная Цветаева — Медуза,
мускусный Кузмин и молодой
Заболоцкий — гинеколог музы.

Но едва спадает битвы жар
или лай особенно несносен,
Державина громоздкий дирижабль
меня с чугунной легкостью уносит.

Классицисту

Всегда с лицом пирамидона
глядите тухло-глубоко.
У Рафаэлевой Мадонны
от вас свернется молоко.

Бриллиантовая легенда

Помилуй, Время, рабов своих
непросчитанные варианты!
Носится дух, забывший,
он — дворник или Генсек?
Транзитный орден Победы
с выковырянными бриллиантами,
как будто вставная челюсть
легла
в буфетный отсек.

Кому принадлежат бриллианты?
Павшим за них миллионам?
Зомби большой эпохи,
он соблюдал режим.
Ходил он,
к сигнализации,
наверное, подключенный.
Кому мы принадлежим?

Его не судили ни стар ни мал:
«Сам он жил и другим давал».

А женщину обхаживали
генерал-бриллианты.
Тот, кто ее улецивал,
теперь обличать здоров.
Замученная игрушка
блистательных шулеров,
она с пустыми ушами
бродит по бильярдной,
где больше не слышно
шаров.

Пропали ее бриллианты,
салютами отпылали.

Ведом генерал-бриллиантом,
на «красный» шел «мерседес»,
Лежит на снегах
столица
с выковырянными
куполами.
И выковырянные таланты
с чужих
взирают
небес.

Чары Чаплина

Как жужжали по-над миром
усики под котелком —
точно шмель, неуловимый
черным мчащимся сачком.

Эта жалящая музыка
над облавами земель,
нападающие усики
беззащитностью своей!

Хохот слезы утирает.
Убирают реквизит.
Шмель эпохи умирает,
кверху лапками лежит.

Воры с телом удирают.
Вечно музыка звенит.

Тенистый парк. Твои плеча.
Знакомства первая притирка.
И за стеною из плюща
звук теннисного мяча —
как откупорена бутылка.

С ясеней, вне спасенья,
вкось семена летят —
ключечками
хоккейными
валятся на асфальт!

Что означает тяга,
высвободясь, пропасть?
Непоправимость шага
и означает страсть.

Уточка подсадная!
Бабочкой на свечу,
хоть пропаду — я знаю, —
но все равно лечу!

Льнешь ли лживой зверью,
юбкою вертя,
я тебе не верю —
верую в тебя.

Бьешь ли в мои двери
камнями, толпа, —
я тебе не верю.
Верую в тебя.

Красная ль, скверная ль
людская судьба —
я тебе не верю.
Верую в себя.

Я так считаю. А кто не смыслит —
Ходи в читальню.
Есть у поэта и эта миссия,
я так считаю.

Поэтарх

Поэма

I

Как бы ни ярился сегодняшний Плутарх,
но ко мне явился
Поэтарх.

Он был в летах
предвоенного Пастернака,
дух, ищущий форму, сполох мрака.

Он шел, прогнув горизонт за Мамонтовкой.
Я его чувствовал потрохами.
Державин и Пушкин, строя памятники,
были первыми поэтархами.

А в глубинное золотого взгляда
Данте глядел, архитектор ада.

Электричеством тряхануло.
Он сказал мне: «Литература,
мысль изреченная — утомлена.
Тебе трудно. Мне архитрудно.
Я — поэтическая архитектура.
Я тебя выбрал.
Выстрой меня».

Жизнь моя кончилась с этого дня.

(Струны, как стропы, струились сверху,
снизу же ни опор — ничего.
Поэтическая атмосфера
сферу поддерживала его.)

Живу в лачуге патриархальной.
Поэтархальны мои запросы.
Латунный шарик-модель порхает,

поддутый трубкой от пылесоса.
И распускаются над ним нити.
И в небе откликнутся струны арф.
В это мгновение — извините —
ко мне является Поэтарх.

II

Зачем посещаешь меня, Поэтарх?
Что-то не так? Что-то не так?
Зачем освещаешь мой темный этап?
Ты — жадное солнце. Я — жалкий пятак.

Моя ли вина, что в подлунном краю
две силы боролись за душу мою?
Небесна — одна, а другая — земна.
Несоединимое соединю.

Две музы летели — добра или зла, —
и каждая правду свою несла.
Одна на лире сводила с ума.
Другая сработала лиру сама.

Я юность в земную науку вдолбил,
своей золотою свободой обил.
Я дом спалил и развеял прах.
Тебе недостаточно, Поэтарх?

А вдруг, Агасфер, обманул глазомер?
Модель удавалась на первых порах.
Врага пригвоздил, чтобы серой не пах.
Но где же разгадка твоих атмосфер?

Где воздуха взять в загазованный час?
Не помню, не помню, в столетье каком
поэт розу с жабой хотел повенчать?
Повис между полом и потолком.

Бил мой молоток. И стучал в потолок
сосед. Я был бог. Я обшивку толлок.
Сломав молоток, я прервал монолог.

Спустился сосед: «Возьми мой молоток».
Он принял глоток и ушел в потолок.
А рядом стояли года и дни,
и чьим-то прообразом были они.
И зданье сирени в махровых цветах
воздвиг неведомый Поэтарх.

Я дверь отворил. Я прошел на балкон.
Он был на уровне облаков.
Попробовал воздух — был крепок, как пол.
Та дверь была меньше. Я дальше прошел.

Я шел по открытым дверям анфилад.
В мужском туалете мыл руки Пилат.
Мерцали таблички и справа и слева:
«Власть», «Слава», «Котельная атмосферы».
Спросили, дыша фимиамом и серой:
«Чего тебе?»
Я сказал — «атмосферы!»

Откройте! Я не был большим человеком,
но я — атмосфера двадцатого века,
глоток городской, загрязненной донельзя,
но все же — поэзии.

Меня очищали, ловили ушами,
но все же — дышали.
Как врач говорю, проходя общежитье:
дышите! дышите! дышите!

Как мне хочется во всех сферах
поэтической атмосферы!
Дома, в обществе ли — душевных
поэтических отношений.

Хочет даже шавка ошейная,
даже волк, политически серый,
человеческого отношения,
поэтической атмосферы.

Кто-то в точку опоры верил,
для меня она — атмосфера.

Все таланты, по Демосфену,
погибают без атмосферы.
Воду горную лет на тыщи
запечатывают в консервы.
Так хранится в четверостишье
глоток пушкинской атмосферы.

Дайте каждому атмосферы
от рассвета и без отсева —
сердцу малому, странам целым,
без предвзятости осовелой.
Чтоб дышала донизу сверху
поэтическая атмосфера!

Если нет ее — задыхаюсь.
Я хочу, чтобы ею дышал
ей поддерживаемый над хаосом
поэтический земной шар.

III

Но помнится — я поломал молоток.
Спустился сосед. И с обшивкой помог.
Сказал мне: «А твой “Пахтакор” — молоток».
И шарик повис, как в стакане желток.

Спустилась соседка — дай шар подержу!
И помолодела, как сняв паранджу.
И кот на помойке сказал: «Покажу
я стрелочку компаса в желтом глазу».

Сокурсник нашел и помог в монтаже,
ошибка в душе, а не в чертеже.
Да здравствует дружба, которой талант
нас держит невидимый, но Атлант!

Я мистику бросил. Прошел на балкон.
Он был на уровне облаков.
Попробовал воздух — был крепок, как пол.
Над городом я, как по трапу, прошел.

По стрелочке компаса передо мной
я вышел, где жмурился шар золотой.

Уже в конце трапа по арфам в дверях
почти понимал, что вхожу в Поэтарх.
Сидела ты там, непростенный мой грех,
тетрадку стихов под себя запахав,
и щеткою волосы впопыхах
от шеи зачесывала наверх.
И пели в них струны небесные арф.
Так вот чьей моделью ты был, Поэтарх!

Упала тетрадка. Но не Петрарка
был автор первого Поэтарха.

Памятник

Я прожил как умел. На слове не ловите!
Но, видно, есть в стихе свобода и металл.
Я врезал в небеса земные алфавиты.
Мой памятник — летал.

И русский и француз
в Нью-Йорке и на Дальнем
пусть скажут: «Был поэт, который кроме книг
не в переносном смысле, а в буквальном
нам памятник воздвиг».

Я бросил тетрадку. Все бабьи дела!
По куполу, вывинтив ножку стола,
я врезал! Я рушил ошибку. Сбивал
обшивку. И сыпались звезды в провал.
Свобода вылупливалась из скорлупы.
Лупи за прозренье, за глупость лупи!

Кретину треногому в пах угодил.
Он рухнул. Конструкции выли: «Добей!»
Сочтемся, кастрюлька, тебя я родил!

Шло самоубийство идеи моей.
Все перекроив, я упал, как дурак.
Вокруг неврединно стоял Поэтарх.

«Готовы?» И я понимал, что летим.
И сразу все стало внизу золотым.

Несло в неопознанном измерении,
где чувства реальней, чем море и время.

Над огородами пролетали мы —
уроды делались идеалами.

Под нами раскаивались убийцы,
и обнимались все и любились.

Где раньше чернели неурожай,
как отсветы шара, пшеницы лежали.

Мы плыли по ненависти столетий.
И дикие лебеди бредили Ледой.

Из смертных морей, кто устал через край,
мы брали в ковчег, точно зайцев Мазай.
Соседи. И кот. И сокурсник верный.
И враг, отложивший баллоны с серой.

От светлых дел и печальных дел
по шару своя набегала тень.

Две силы летят — ни добра, ни зла, —
и каждая правду свою несла.
Одно полушарие золотое,
другое — легкое, теневое.

Одна, как песнь, ушла за водою,
другая тайно осталась дома.
Одно полушарие золотое,
другое — легкое, теневое.

Но почему душа заколола?
Летим над Невоею или виною?
Одно полушарие золотое,
другое — легкое, теневое.

Но солнце одно. И, гонясь за собою,
они никогда не сольются, двое.
Одно полушарие наплывает,
а то, получается, убывает.

Алтушка-жизнь. Не дрожу над сором.
Но улетает — держите вора! —
одно полушарие золотое,
другое — легкое, теневое.

За что это нам? Ни за что. За то ли,
что это не жизнь, а уже иное?
одно полушарие золотое,
другое — легкое, тeneвое.

Как сладко лететь! И как тайно знать —
по струнам сейчас пробежала мать.

IV

Так вот для чего я губил пылесос.
Провел полжизни в аэропортах.
Великим народам кричал в лицо —
осуществите Поэтарх!

Я слышал в ответ изреченную мысль,
я беспокоил зодчих земли.
Твердил себе — торопись, не уймись,
покуда варвары не пришли.

Не в смысле того, что проект без затрат,
но он отношений иных дубликат.
За Матриархато-Патриархатом
я вижу эру — Поэтархат.

Там зданья стоят на воздушных столбах,
из горного воздуха стилобат.
Там люди добры, как сегодня пора б.
Я вашей свободы сегодняшний раб.

Мы жили, чтоб жизнь поэтично-чиста.
Пусть люди живут в облаках на лету.
Мир, как известно, спасет Красота.
Если мы сами спасем Красоту.

V

В стране Бояна или Артюра
уже не помню, какого дня —
«Я — поэтическая архитектура, —
он сказал мне, — выстрой меня!»

Но отвечивал я бедняге:
«Дуй на Щусева. Здесь СП.
Мы союзов не объединяли».
Повернув, он пошел к себе.

Я за ним побежал, но ах... —
«Поэтарх, — кричал, — Поэтарх!..»

Структура гармонии

Пастернак — присутствие Бога в нашей жизни. Присутствие, данное не постулатно, а предметно, через чувственное ощущение Жизни — лучшего, необъяснимого творенья мироздания.

Дождь дан как присутствие Бога в нем, еловый бор как присутствие Бога, Бог дан в деталях, в стрижах, в каплях, в запонках, и наше чувство — это прежде всего в чистом виде Божье присутствие.

Каждая вещь для поэта — Благовещение. Я бы сказал о благовещиизме Пастернака. Выставка, посвященная столетию Пастернака в музее им. Пушкина, полна вещей — вестей от Бога.

Проходя по залам, я думаю: какой он благодатный поэт для выставки! Вещи века — «ЗИЛы», «ЗИСы» и Татры, галоши, ледяной цикламен, лампы «Светлана», матерчатый лист смородины — все для экспозиции. Есть раковины — гудящие и мертвые.

Вещи поэта — это гудящие раковины, их всегда наполняет Нечто большее, чем скорлупа.

Вот он пишет тень — «Она сияла, как и подстаканник». Поэт и в темном видит свет. Он сам ходил одетый в однобортную куртку с матовым мельхиоровым отливом. От него исходило сияние.

Если в «Сестре моей жизни» это ощущение лишь проборматывалось, то в конце пути оно сказало о себе ясно, как знамение.

Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разлука.
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.
И через много, много лет
Твой образ вновь меня встревожил.
Всю жизнь читал я твой завет
И как от обморока ожил.

Я всегда воспринимал встречи с ним как встречи с отсветом Бога, присутствующим в нем. Жил он окнами на храм. В нем присутствие это было в максимальном для человека подобии. Других подобных я не встречал. Это чувствовали и элита, и переделкинские разнорабочие. Ныне, вглядываясь в итог столетия, мы по наивной шкале мер и весов ищем альтернативу Сталину — Троцкий? Бухарин? Рыков? Увы, это все шахматные фигуры той же доски. Духовной альтернативой тирании стал Пастернак. XX век выбрал его для решения известного русского противостояния — Поэт и Царь, Власть и Дух, воплотившийся в одиночке. Тиранин с его мистическим суеверием это понимал, не трогал поэта. О жизни и смерти, т. е. о Боге, пытался говорить по телефону поэт с тираном. Отсюда мессианство Пастернака, которое он ощущал.

Даже инициалы его «Б. П.» говорили о его беспартийности. В то время было немало великих поэтов — Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Есенин, Маяковский, Заболоцкий, — но время и то, что мы понимаем под Богом, выбрали именно Пастернака. И когда престол занял Н. С. Хрущев, духовной альтернативой опять стал Пастернак. Глава Державы, хоть и не был силен в делах культуры, инстинктом политика и антиинтеллигентской сметкой понимал враждебность этого духовного полюса власти. Сидя в ложе, он направлял, как пса, Семичастного, отрепетированно облаявшего на стадионе автора «Доктора Живаго». Антидуховность в нем чуяла опасность. Никто точнее не сказал, чем поэт в посвящении Б. Пильняку:

Напрасно в дни великого совета,
где высшей страсти отданы места,
оставлена вакансия поэта.
Она опасна, если не пуста.

Именно духовному XX веку посвящены вечера Пушкинского музея. С Пастернаком они двойники. Век. — «Сильнее моего нытья? И хочет быть как я».

Почему в Пушкинском музее изобразительных искусств?

Не подражавший никому поэт лишь Пушкину написал «Подражательную» и увидел в губах сфинкса не только

пушкинские губы, но и свои. Муза его по-пушкински полифонична. Музыкальная программа «Декабрьских вечеров» организована гением Святослава Рихтера, это как бы многоголосое эхо его скорбной переделки игры на похоронах поэта. В музыке поэт питался XIX веком — Шопен, Шуман, Брамс, да и Скрябин — это все вышло из культуры итоговой. Зато в визуальности он вобрал и предвосхитил всю живопись именно века XX. Его строфы были выставкой шедевров, запрещенных в то время к показу нам. Когда искусствовед спрашивает нас, что приходит на ум при взгляде на растекающийся циферблат Сальвадора Дали с муравьями, память мгновенно приводит:

Текли часы. Текли жуки с отливом.
 Стекло стрекоз сновало по щекам.
 Был полон лес кишеньем торопливым,
 Как под щипцами у часовщика.

А вот наш русский абстракционизм:

Лучше вечно спать, спать, спать
 и не видеть снов... Душа душна.
 И даль табачного
 Какого-то как мысли цвета.

«Молодость в сотах», «расцветшая сирень» — возвращают нас к ульям П. Филонова.

Не говорю уже о его пейзажах последних лет, с нестеровской слезой, с корейскими северными фресками, и о великих его полотнах христианского итога под стать старым мастерам Возрождения.

Как на выставке картин —
 Всюду залы, залы, залы...

Путь по этим анфиладам культуры — от пантеистического бога — к Богу духовному, как шел и исторический земной путь человечества.

Поэт начал с «чашки какао», испаряющейся в трюмо. «Мы были музыкою чашек, ушедших кушать чай во тьму», а кончил Гефсиманской чашей.

Если только можешь, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Символично, что эту его чашу «Гамлета» до последней черты не пропустили в печать. Таким образом, она стала как бы заключительными словами, слетевшими с посмертных губ поэта. Воздействие Пастернака на современников огромно. Он определил многое не только в поэзии, но и в прозе века. Даже В. Набоков, ревновавший его к Нобелевской премии, обвинявший в бенедиктовщине и т.д., как поэт до конца дней не освободился от пастернаковского влияния. А проза? Вспомним великую набоковскую книгу «Лужин». Вы помните, как герой, шахматный русский гений, выходит на лунную террасу немецкого городка? Ему мерещится его соперник Турати. Ночь полна белых и черных фигур. Деревья — фигуры. Лунный свет делает террасу схожей с шахматной доской. Ему на колени садится возлюбленная. Он ссаживает ее. Она свидетель его муки. Ночь — черно-белая шахматная партия. Где мы читали это? Русский глядит на марбургскую ночь.

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу...
И страсть, как свидетель, седеет в углу...
И тополь — король. Я играю с бессонницей...
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью,
И ночь побеждает — фигуры сторонятся...

«Марбург» — завязь набоковского романа.

Выставка наша — особого рода. Эта выставка — пространственный роман. Бродить по ней — словно по анфиладам «Доктора Живаго», выходя к духовному финалу, к алтарю.

«Доктор Живаго» — роман особого типа, роман поэтический. Он тоже — о присутствии Бога в нас. И покидании Бога нами.

Огромное тело прозы, как разросшийся сиреневый куст, несет на себе махровые гроздья стихотворений, венчающих его. И как целью куста являются кисти, а смыслом яблоки — яблоки, целью романа являются стихи, которые из него в финале произрастают. Мы видим, как в процессе жизни,

в душевной смуте автора, героя романа, сначала брезжит пламя свечи, виденное сквозь морозное окно, в этом озарении возникает «Блок — это явление Рождества в русской жизни», затем ночная чувственная свеча становится символом его любви к Ларе, метель, символ истории, задувает этот одинокий огарок, гибнет личность, одухотворенность, интеллигенция гибнет — и наконец в финале романа расцветает чудо классического стихотворения — «Свеча горела на столе», без света которого уже нельзя себе представить нашей духовной культуры. Там же из судьбы героя рождается свет «Рождественской звезды», вздох «Гамлета»: «Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти».

Проза Пастернака отнюдь не статья «Как делать стихи», нет, это роман, жизнь поэта, роман о том, как живут стихом и как стихи рождаются из жизни. Таких романов еще не было. Произведения классиков живут во времени, со своим нравом. Их смысл, как цветок, то раскрывается читателям, то в иные времена закрыт от него. Так было с тургеневскими романами, с Дждойсом.

Увы, «Доктор Живаго» — это теперь не просто книга, роман сросся с позорными событиями вокруг него. Тридцать лет пропаганда наша, не прочитав его, не вдумавшись в лирическую музыку его волшебного русского языка, выдавала роман за политического монстра, за пасквиль. И вот роман напечатан. Напечатан в череде сегодняшних горячих общественных шедевров. Думаю, что кое-кто из миллиона читателей, подписавшихся на «Новый мир» из-за публикации «Живаго», находился в недоумении: какое несоответствие тридцатилетней чудовищной Лжи вокруг романа и его лирических страниц! За что травили автора? За что исключили из Союза писателей, собирались выслать из страны?

За любовные страницы Юры с Ларой? За знобящее описание соловьиных трелей, сравнимых разве что с тургеневскими? Увы, кроме преступления против личности поэта совершалось многолетнее преступление против смысла романа. В результате всесоюзной брани роман нельзя сегодня читать объективно. Читатель ныне тщетно ищет в книге обещанную «крамолу». Барабанные перепонки, ожидающие пушечной канонады, не могут воспринять музыку Брамса.

Увы, вина этой дезинформации лежит на тогдашних руководящих литературных интриганах, возглавляемых

А. Сурковым. Спровоцированный ими Н. С. Хрущев организовал травлю поэта с тем же размахом и темпераментом, как Карибская эпопея или освоение космоса и кукурузы.

Семичастный упоенно орал правительственную метафору: «Если сравнивать Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал... Он нагадил там, где он ел...» Ныне без тени стыда и раскаяния отставной оратор раскрыл уровень свинарника, в котором родилась эта «свинья»: «Я помню, нас пригласили к Хрущеву в Кремль накануне Пленума. Меня, Аджубея. Там был и Суслов. И он сказал: «В докладе надо Пастернака проработать. Давай сейчас мы наговорим, а вы потом отредактируете. Суслов посмотрит — и давай завтра...» Надиктовал он две странички. Конечно, с его резкой позицией о том, что «даже свинья не позволяет себе гадить...» Там такая фраза еще была: «Я думаю, что Советское правительство не будет возражать против, э-э, того, чтобы Пастернак, если ему так хочется дышать свободным воздухом, покинул пределы нашей Родины». «Ты произнесешь, а мы аплодируем. Все поймут». Так, согласно высочайшему указанию, протранслировав по телевизору на всю страну, и срежиссировали. Сразу после слов оратора о свинье, которая не гадит, дали крупный план грозно аплодирующих Хрущева с соратниками. Поэт и это предвидел.

И каждый день приводит тупо,
Так что и правду невтерпеж,
Фотографические группы
Сплошных свиноподобных рож.

А вот несколько цитат с позорного шабаша собрания писателей 27 октября 1958 года, исключившего поэта и требовавшего от правительства высылки его из страны. Ораторы пытались не отстать от Главы Державы. Стенограмма эта, опубликованная ныне, стала политическим документом самого аполитичнейшего из поэтов. «Пастернак по существу — это литературный Власов. Генерала Власова советский суд расстрелял! (Крики с места: повесил!) Вон из нашей страны, господин Пастернак. Мы не хотим дышать с вами одним воздухом!»

Маститый критик вопил: «Пусть отправляется туда. Мне и нашим товарищам даже трудно представить, что такие лю-

ди живут в нашем писательском поселке. Я не могу представить, чтобы у меня осталось соседство с Пастернаком. Нелзя, чтобы он попал в перепись населения СССР».

Это о Пастернаке-то, лучшем поэте времени, дышать воздухом поэзии которого было редчайшим счастьем, как и дышать хрустальным воздухом Байкала и Арала, чудо которых так же тупо уничтожали!

И вполне логично, что тот же критик, ведя артподготовку к этому собранию, писал 9 сентября 1958 года в «Литературной газете»: «Религиозные эпигонские стихи Пастернака, от которых несет нафталином из символического сундука образца 1908—1910 гг.». А вот письмо прославленной писательницы 68-летнему поэту: «...Пулю бы загнать в затылок предателя. Я женщина, много видевшая горя, незлая, но за такое предательство рука бы не дрогнула». Каково было поэту читать такое! Но поучимся великодушию у патриарха поэзии.

Он ответил этой «доброй» женщине, Жданову в юбке: «1-го ноября 1958 г. Благодарю Вас за искренность... Меня переделали годы сталинских ужасов, о которых я догадывался еще до их разоблачения... Вы моложе меня и доживете до времени, когда на все происшедшее посмотрят по-другому... Я Вам пишу, чтобы Вам не показалось, что я уклонился от ответа. Б. Пастернак». Жаль, что писательница не дожила до наших дней. Но куда более жаль, что не дожил он.

А 1 ноября «Литературная газета» писала: «Не случаен... бухаринский панегирик в его адрес!» «Доктор Живаго» — не духовный ли сын Клима Самгина? Горький разоблачил Самгина. Пастернак в «Живаго» разоблачил сам себя». Герой — автор. Следовательно, поэта надо высылать!

Вот письмо, которое я получил от сестры поэта Жюни Пастернак, приведу его целиком:

«Оксфорд, 1990.

Дорогой Андрей Андреевич,

Благодарю, благодарю Вас за Ваше милое приглашение. Но я стара, мало двигаюсь. Разрешите ограничиться письмом. Говорят, что будут речи собравшихся в память брата. Была бы весьма обязана Вам, если бы Вы взяли прочесть вслух это мое письмо

как вклад в общее торжество. Воспоминаний о Боре и связанных с ними разнородных ассоциаций хватило бы на целую книгу, но ограничусь немногим.

Мне 12 лет. Боря сидит на моей кровати и читает мне свои ранние стихи, кстати и какое-то стихотворение Бурлюка — оно мне нравится. Борины стихи прекрасны... Но вот странное ощущение поражает меня, ощущение, что рядом со мной сидит самый замечательный, самый необыкновенный и великий человек в мире. Не может быть. Как он попал сюда, возможно ли это... Но изменить этого моего ощущения я уже не в силах.

Нечто подобное я испытала много лет позднее, в Лондоне, на выставке отца в «Доме имени Пушкина». В переполненной зале Сэр Исая Берлин знакомил нас — сестру и меня, с братьями Нухлеу. Старший Нухлеу, известный ученый говорил с нами. Aldous Huxley молчал. И вдруг я почувствовала нечто похожее на то, что много лет назад испытала рядом с братом. Я поняла, что передо мной стоит гений. Aldous принадлежал к писательскому кругу Bloomsbury в Лондоне. И хотя он был известен своими полунаучными, полуромантическими произведениями, ничем особым не отличался. Но вот он написал Утопию *The Brave New World*.

Слово Утопия от греческого у — топия, т.е. нечто, чего нигде нет. Первая утопия появилась в 16-м веке, автор Sir Thomas Mooge. Грубоватое, как тогдашние нравы, но передаваемо захватывающее описание законов на несуществующем острове. Были ли в прошлом еще утописты, не знаю. В нашем веке — и русские и иностранцы, писавшие свои утопии, по-видимому, не поняли сути утопии. В своих попытках они стараются описать — одни желаемое, другие — нежелаемое, но как бы достижимое, тогда как по самому определению — утопия означает неосуществимое. Это понял Нухлеу. Название он взял из самой великой Шекспировской драмы *The Tempest*, где наивная

и восторженная Miranda восклицает: «Oh, brave New World», не понимая, что соприкасается с испорченным, подчас преступным миром. В «The brave New World» трагедия проникнута комедией, комедия — трагедией. Герой наивен, как Миранда. В конце он погибает в страшных муках.

По насыщенности, по чуть не цирковому достижению балансирований взлетов и падений темы эти насмешки над возможностью утопий гениальна. Не знаю, чем руководятся в Комитете, но если кто заслужил Нобелевскую премию — Aldous Huxley заслужил ее.

Он не получил ее.

Семья наша была очень дружная, мы дети преклонялись перед творчеством отца и музыкой матери. У Бори это доходило до какой-то экзальтации, особенно в письмах к родителям.

В начале двадцатых годов Боря привез в Берлин свою молодую жену Женю, которая сразу вошла в нашу семью, покорила нас всех и добротой своей, и своим умом, и сияющей своей улыбкой. Женя была художницей, отец считал ее очень талантливой. Мы жили в недорогом пансионе, довольно скромно.

Не могу не записать двух характерных для Бори поступков.

Боре отвели маленькую рабочую комнату: стол, стул, лампа. Абажур был розовый. «Не могу же я писать при розовом абажуре!» — воскликнул он возмущенно, и он купил зеленый. Другое характерное воспоминание относится к Бориной доброте. Лида, как о чем-то несбыточном, мечтала о велосипеде. Боря купил ей велосипед.

И в Москве, и в Берлине Боря знакомил меня с поэтами, с писателями, с выдающимися людьми. Некоторые встречи навсегда остались в памяти. Особенно интересными были часы, проведенные у Бриков, с Маяковским, встречи с Эренбургами, с Бобровым и др.

Но не стану оттягивать этого письма описанием этих встреч.

В 1935 году, в Берлине, произошла моя последняя встреча с братом. Посылали в Париж на интернациональный съезд писателей, где должен был обсуждаться вопрос о всеобщем мире. Произошла наша встреча совершенно неподготовленно. Родители были в Мюнхене. Мы с мужем поспешили отсюда ночным поездом в берлинскую квартиру родителей. Сопровождавший брата писатель Б. привез Борю. Свидание было драматическое. Плача прерывающимся голосом, Боря рассказывал, что находился в санатории, где лечился от нервного переутомления и бессонницы. «И вот вдруг»... Он едва мог говорить: «Меня посылают... Но не могу же я... из санатория, так вдруг...» Приказ был из Кремля. Отговорки не помогли. Борю привезли в Москву, купили костюм, шляпу, ботинки — голос Бори прерывался от рыданий — «О, если б я мог заснуть...» Мы с Федей уложили его на кушетку, он тотчас же уснул и проспал 4 часа. Приехал Б. Нам с Федей больно было смотреть на Борю. Еще денек, может быть? Решили съездить в Посольство. Там нам сказали, что «Съезд кончается завтра». Федя пошел на вокзал справиться насчет спального вагона. Я с Борей очутилась в каком-то ресторане.

Произошла самая странная, быть может, самая значительная из моих встреч с братом. Боря то плакал, то говорил, то плакал, то говорил. Он говорил о Живаго.

«Она была так прекрасна, так обаятельна», — говорил он, вспоминая свою встречу с Зиной. Ее он собирался сделать героиней своего романа «Живаго». В «Живаго», конечно и положения и имена все выдуманные. Центральная фигура Лары вводится как «девочка из другого круга». Реальная Зина оставалась реальной Зиной, светской жен-

щиной, в кругу знакомых, друзей и почитателей Бори, писателей, гостей. Что же собственно было таким неожиданным для меня, почти неповторимым?

Это была сама задача, мысль о романе. Боря, конечно, не был так называемым эстетом, считающим себя выше толпы. Все ж стихи его — не по его вине — были недоступны многим. Но вот он решает подойти к народу, к народу в широчайшем смысле. Я поняла: Боря стал другим. Я поняла, что он протягивает руку — «мы с Вами одно, одно», он не отнимает руки: «мы с Вами одно в этом новом мире, в моей новой задаче романа». Это было в 35-м году. Говоря со мной, Боря сделал меня невольной свидетельницей перелома в его жизни.

Но вот наступило время расставанья. «О, если бы я мог уснуть» — услышали мы из окна тронувшегося поезда. Сердце сжалось от боли. Любимый, непередаваемый голос Бори.

Эта встреча была последней моей встречей с братом.

Впоследствии, после выздоровления, Боря стал собой — то радостным, то грустным, вернулся и к стихам, путешествовал — вел нормальную жизнь.

В более поздние годы новое лицо появилось в кругу его друзей. Этой знакомой он посвящал время, стихи. О ее существовании он не знал еще в 1935 году, когда распределял фиктивные роли в романе «Живаго». Но и впоследствии, не смотря на все перепетии с этим романом, он оставался верен первоначальной планировке, т. е. не вводил новых прототипов в конструкцию романа. Некоторые непосвященные ошибочно считают Борину знакомую — (вследствие какого-то недоразумения?) якобы оригиналом Лары. Думается, что ли-

тературоведы или историки обязаны исправить эту ошибку.

Обратиться к далекому прошлому заставляет меня горестная потеря сестры Лиды, которая играла такую роль в жизни и творчестве брата.

Когда Лида послала ему свой перевод на английский язык одного из его стихотворений, он ответил ей восторженной телеграммой: «блестяще! продолжай».

Лида сделалась Бориной признанной переводчицей, ее книга Бориных стихов «Poems of Boris Pasternak, chosen and translated by Lydia Pasternak Slater» переиздавалась много раз. Нет времени перечислять участие сестры и в журналах, и в лекциях, в чтениях по-английски — а иногда — русским аудиториям и по-русски — Бориных стихов, и в Оксфорде, и в других городах. Она переводила кое-что и Бродского, и Цветаеву, и других. Боря же считал ее несравнимой ни с кем из «старавшихся» понять и перевести его.

В начале революции особенно сказалась близость между Борей и Лидой. В введении к книге переводов на английский язык, она вспоминает как радостны они бывали, когда выдавали хотя бы мерзлую картошку, пшено — были голодные послевоенные годы — как они вдвоем, на санках, возили «продукты», смеялись, радовались, как любили физический труд. После одного особенно сильного снегопада вызвали — чистить снег, т.к. приостановился подвоз к Москве и продовольствия, и поезда до города не доходили.

Боря и Лида отправились чуть не на рассвете, с толпой других вызванных, большинство которых было не служебного возраста, старых, усталых, мрачных, и недовольных. Боря же и Лида смеялись, восторгались и синим небом, и ярким солнцем, и блестящим белым снегом. Вот это — так вдохновило Борю к изображению — во второй части Живаго к сцене, когда поезд не может продвигаться из-за снега, и пассажиры помогают расчистить дорогу поезду!..

В юности Лида отличалась талантом писания юмористических стихов. Наиболее удачна ее «аллегорическая» поэма «Зверинец». Мы с Лидой веселые «слонята», подруга — «рысь», — не помню остальных зверей, а Боря — носорог. Не важны наименования, они — случайны, важно описание ситуаций, действий этих зверей. Спальни наши соприкасались, все они были проходные. Конечно, при открытых дверях слышно было, что где происходит. Но никто не слышал соседей, так все было привычно и неинтересно. Зевали, но не обращали внимания. Не обращала и я. А теперь вижу, слышу зевающего Борю. Лида услышала:

...«Их сосед
По клетке носорог усталый
Зевал так зычно, что казалось,
Он пасть зевотой разорвет»...

Это единственный существующий словесный портрет с Бори. Каким усталым бывал Боря после дневной напряженной работы. И как он зевал! И Лида одна увековечила его в четверостишии таким, каким никто его не знал — кроме соседей по комнате. Словесный портрет. С натуры, как говорят художники. Хотелось бы, чтобы это мастерское четверостишие не потерялось, чтобы этот — пусть и карикатурно звучащий, но единственный словесный образ утомленного Бори — несколько не преувеличенный, остался для тех, кто будут читать о нем.

Лида была сильной, в ней было острое чувство юмора — но главное — была ее скромность. Сила, смех и скромность? Но ведь и не показные, а настоящие святые соединяют в себе и силу и чувство смешного с крайней скромностью. Лида была не показная. По существу своему она быласвятой.

Благодарю тчеча и слушателей.

С искренним приветом, Пастернак».

И сегодня, в канун столетия поэта, политические противники обновления страны в бешенстве от романа, автора они называют «новоявленным гением», как выразился один малограмотный мыслитель, наветы на роман они перепечатают из старой травы в сегодняшних центральных газетах, даже полосой в «Правде» — и о Климе Самгине, и о том, что стихи из романа повторяют «расхожую поэзию того времени». Примером один из критиков приводит «Белую ночь», одну из жемчужин российской лирики.

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первою дрожью.
То, что тихо тебе я рассказываю,
Так на спящие дали похоже.
Мы охвачены тою же самою
Оробелою верностью тайне,
Как раскинувшийся панорамой
Петербург за Невую бескрайней.

Дай Бог, чтобы хоть одно еще такое стихотворение осчастливило российскую словесность! Судя по всему, критик лишен счастья понять эту музыку, музыку поэзии, музыку совести, которая составляет содержание романа. Ответ мой на эту статью в «Правде» напечатали рядом с альтернативным мнением — налицо плюсы плюрализма. Кстати, тогда впервые у нас были опубликованы крупнотиражно фразы стенограммы судилища над поэтом.

Я привожу сейчас в пример этого критика не из-за значительности его, а просто как один из примеров того, что и ныне не так уж все благостно с Пастернаком. А брань «Мол. гвардии»? «Искали улик фарисеи, юля перед ним, как лиса», — поистине пророческие стихи.

В стихах его строка сжимается, как сердечная мышца. Как щемяще наглядно усечена строка в строфах «Зимней ночи»! Пастернак любил работать такую укороченной строкой:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.

Большинство стихотворцев пошло бы катить по ямбической проторенной лыжне, ну, скажем:

Во всем мне хочется дойти
до самой сокровенной сути...

Но мастер укорачивает, сжимает четную строку, визуаль-
но указывая на «сжатость» сути... В стихотворении «Зимняя
ночь» цель иная:

Свеча горела на столе, свеча горела.

Здесь физически достигнуто ощущение того, как длин-
ная свеча — строка сгорает, сокращается до огарка. Ставит-
ся новая свеча, и она сгорает. Свеча, страсть, жизнь.

Не случайно А. Галич выбрал для песни, посвященной
судилищу над Пастернаком, именно этот размер, гневно, на-
батно сжимающийся и разжимающийся:

Мы поименно вспомним всех,
кто поднял руку...

Но вернемся к сегодняшним судьям романа.

«За ум да еще талант действительно многое прощается, —
снисходительно пишет газетный критик и задумывается об
авторе стихов романа: Умен он или неумен? Талантлив или
неталантлив?» Но мерилом таланта являются не админи-
стративные посты автора, не номенклатурное место в редак-
ционном кресле — увы, мерилом таланта являются только
стихи. А стихи в романе — великие стихи классической рус-
ской традиции — «Сказка», «Лето в городе», «Разрыв»,
«Магдалина».

Критик бранит поэта, автора стихов: «заурядность», «бла-
гополучный пупс до седых волос», «второстепенный поэт
или посредственный переводчик». Эти стрелы, увы, направ-
лены отнюдь не в адрес героя романа. Роман написан мето-
дом метафорической автобиографии. Все его герои и собы-
тия имеют прототипов в пастернаковской жизни. В Николае
Николаевиче мы видим Белого и Скрябина, Стрельников —
духовная метафора Маяковского. Автор статьи доктор фило-
логических наук Урнов знает, что Борис Пастернак писал:
«Этот герой должен будет представлять нечто среднее между
мной, Блоком, Есениным и Маяковским. И когда я теперь
пишу стихи, я их всегда пишу в тетрадь этому человеку

«Юрию Живаго». Значит, брань о «заурядности» сознательно направлена против Б. Пастернака, глубочайшего поэта нашего века! Да и гражданина.

В 1937 году, когда собирали подписи под письмом, одобряющим смертный приговор Якиру, Тухачевскому и другим, Пастернак был единственным, который отказался подписать это позорное письмо. В романе мы читаем фразу, обеспеченную риском своей жизни: «От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия». Травлю поэта критик называет застенчиво «несчастьем». Почему хоть сегодня не назвать все своими именами? «Стихи не лучше, не глубже его рассуждений в самом романе», — развязно пишет критик. Что стихи великие, известно ныне даже школьникам. Возьмем наугад «рассуждения» из романа. «Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Стало расти владычество фразы». Это написано за 40 лет до наших дней и не лишено глубины. «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с Победой, как думали, но все равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». Думается, не лишены глубины и эти, как обращенные к нынешним дням, строки.

Глубоки и его рассуждения о христианстве, без которого не понять тысячелетнюю отечественную историю, за этим стоят глубины духовной культуры — Дионисий, Покров на Нерли, Толстой, Достоевский, Флоренский, Вернадский. Евангельская тема решается поэтом удивительно по-русски — «с морозом, волками и темным еловым лесом». Поэт понимает Христа как новое, как поворот в истории, когда «человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти». «Если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозой, все равно каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник. Но в том-то и дело, что человека поднимала не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины...»

Христианство для поэта — человечность, духовность. В наше время, когда идет публицистическое разоблачение Сталина, порой примитивное, а то и конъюнктурное, важно

философское осмысление его палачества Пастернаком. Както в беседе поэт отнес Сталина к деспотам «дохристианской эры человечества», типа Ирода, «оспою изрытых Калигул». О встрече Пастернака с вождем рассказывает в своих мемуарах Ольга Ивинская, возлюбленная поэта, Лара из «Доктора Живаго».

Не случайна тема христианства — и в прозе, и в стихах. Роман трудночитаем, это — антибестселлер, но в мировой литературе мало страниц, равных по силе кинематографичности хотя бы в описании смерти героя, который задыхается в плетущемся трамвае. Его то нагоняет, то отстает от него фигура женщины — жизнь, смерть, судьба?..

Сегодняшние враги романа пытаются подпереть свое непонимание произведения, ссылаясь на второстепенных своих западных коллег. Для меня авторитетнее оценка Альбера Камю. По решению ЮНЕСКО в 1990 году проводился столетний юбилей Б. Пастернака. Не могу сказать, что восстановление справедливости к поэту в нашей стране проходило и проходит без труда. Одна борьба за музей чего стоит, в резиную стену упираешься. Н. А. Пастернак, ныне заведующая переделкинским мемориалом поэта, сохранившая предметы его быта, нашла в его столе папку, надписанную рукой Бориса Леонидовича: «Андрюшины стихи». Моя судьба интересна здесь лишь как пример его бережности к другим. Оказывается, он складывал в пачку мои мальчишеские письма разных лет, даже конверт, и наивные стихи, на полях которых отчеркивал, что ему понравилось. Что не понравилось — перечеркнул легким карандашом. Только сейчас я узнал, как он внимателен был.

Благодаря инициативе комиссии по наследию Б. Л. Пастернака было отменено позорное решение об исключении великого поэта из Союза писателей. Восстанавливать его в членах Союза было бы кощунственно. Однако легкомысленные журналисты продолжают твердить и требовать восстановления поэта... в членах СП. Что же, поэту в гроб членский билет положить? Поздравить со вступлением? Достаточно поиздевались над поэтом при жизни. Пастернаковская комиссия была первой в своем акте — Пастернак всегда ратовал за других. По примеру пастернаковской комиссии впоследствии были отменены позорные исключения из Союза О. Мандельштама, П. Васильева, И. Бабеля, В. Не-

красова, В. Мейерхольда, М. Ростроповича, Е. Эткинда и других. Конечно, при желании живых они могут быть восстановлены в Союзах, как, например, был восстановлен глубочайший исследователь литературы Е. Эткинд. Теперь Союз писателей имеет в Париже свое отделение в лице одного члена — впрочем, Е. Г. Эткинд стоит десятков. Второй живучий слух — о том, что Б. Пастернак вынужденно отказывавшийся от премии, не является Нобелевским лауреатом. Наша комиссия направила письмо в Шведскую Академию с идеей вручить Нобелевскую медаль семье поэта. Я был в Стокгольме, говорил с секретарем Академии проф. С. Алленом, который неформально отнесся к «делу Пастернака». Вопрос был поставлен на ближайшую сессию. И радость, правда запоздалая и горькая, — в декабре медаль была торжественно передана в Стокгольме сыну поэта Е. Б. Пастернаку.

Все это — судьба поэта, его век, двойником которого он стал. Может быть, явление Поэта — надежда на то, что человечество не так уж безнадежно.

Посетив Иерусалим, я был потрясен, как достоверны пейзажи в Евангельском цикле из «Живаго» — и путь из Вифании, и дорога вокруг Масличной горы, и пойма Кедрона внизу — хотя поэт реально никогда там не был. Скрытая камера его документально «гостит в иных мирах». Науке еще предстоит понять ясновидение поэта. Пройдем по выставке вещей, вещей Пастернака, вещей Века, попытаемся понять весть его, голос Бога за ним, разглядеть, что стоит за этим благовецизмом.

Попытаемся понять Благовецизм поэта.

МИНУТА НЕМОЛЧАНИЯ

Я попросил зал встать и провести Минуту немолчания. В память погибших книг, зарезанных рукописей, абортированных замыслов.

Зал встал. Мы вырубili свет. И тогда я, еще не представляя, как все будет, завопил в микрофон: «А-а-а!» «А-а-а!» — отозвалась темная масса зала. Мы слишком долго молчали, чтобы продлить это еще на минуту. Стояла минута крика. «А-а-а!» Я стоял в черной кубической гигантской минуте вопящей памяти.

Зал — главным образом молодые художники, поэты, студенты — выдохнул хором не молитвенно, а мощно — как каратисты: «А-а!» Со сцены за моей спиной вопили инструменты и синтезаторы рок-группы «До мажор». В первом ряду кричал свое «а-а» по-английски режиссер студии «Чэ-нэл 4» — видно, у него тоже что-то когда-то зарезали. Но большинство зала кричало «а» на русском языке.

От крика металась на сцене зажженная пастернаковская свеча. Так начались чтения «новой волны», провести которые меня попросила группа молодых поэтов.

Это звучало как авангардное стихотворение — реквием. В темную минуту слились голоса Г. Айги, Г. Сапгира, А. Аронова, К. Кедрова, А. Ткаченко, Ю. Арабова, Н. Искренко, И. Иртеньева, Е. Коцюбы, И. Путяевой, А. Осмоловского, и группы «Министры проблем СССР», и Г. Алехина с его «Вертепом». Продолжение крика следовало голосами И. Холина, А. Парщикова, О. Хлебникова, И. Кутика...

С берегов Невы, серебряно-сиплый, стонал В. Соснора.

То, что условно называют «неоавангард», в поэзии распространилось по стране высокой эпидемией. Не только в столицах.

Вот из Барнаула пришло письмо. Я там не был. Лишь давным-давно мне присылал стихи Николай Бажан, потевявший зрение. Теперь он выпустил первую книгу. Он рабо-

тает в традиционной струе. Пришедшее письмо говорит о настрое и вкусах теперешних молодых. «Фонд молодежной инициативы г. Барнаула совместно с шукшинским центром, занимающийся удовлетворением духовных потребностей молодых, провели опрос студентов учебных заведений и других групп населения по следующим вопросам: 1. Выдающийся русский поэт современности. 2. Поэт перестройки. 3. Любимые строки. 4. Вопросы избранныкам. Подавляющее большинство опрошенных объединили первые два пункта и отметили Ваше творчество. Среди вопросов Вам много о Б. Л. Пастернаке. Как-то в самый разгар «застойного времени» по «Голосу Америки» прозвучало в авторском исполнении «Есть русская интеллигенция». Тогда же сообщили, что по случаю присуждения американской премии Вас поздравил Тэд Кеннеди. Какая связь между тем, что Вас приглашает президент в Белый дом, что его супруга обедает у Вас на даче, что дружите с Э. Кеннеди, и тем, что Вы так независимо себя ведете, не двуличничаете? Как Вы относитесь к утверждению Солоухина, что Ваши стихи в американских переводах ничего не имеют с оригиналом, а Ваш успех в Америке связан с хорошо организованным «имиджем»?.. Мы живем в атмосфере духовного голода. Поэтических хороших сборников в магазинах нет. Приезжайте к нам с выступлениями, очень просим. В краевом театре идет «Юнона и Авось». В «Болтанке» у вас есть такое — «Пол-Алтай и страна под нами — болтает!» и т.д. Ждем Вас. Подпись: директор административного бюро Фонда молодежной инициативы г. Барнаула...»

4 часа лету. И вот 14 марта я в Барнауле. На бережку ледяной Катюни под деревней, когда-то родившей Шукшина, муж и жена в резиновых сапогах по колено в быстрой воде полоскали горячее белье. Желтые целлофановые мешки с бельем дымились. В дыму, как айсберг Аллы Пугачевой, полыхали алые, полоскаемые трикотажные платы. На берегу их ждал синий «Москвич».

С клубной афиши глядела «Маленькая Вера».

Водовоз с лошастью набирал воду в алюминиевые бидоны. Дал жестяную кружку напиток. Вода была ледяная, но абсолютно чистая — наверное, единственное место в стране, где можно пить, не кипятя? Может быть, микробы убивает высокое присутствие Гималаев.

Тот же локальный цвет и чистота света присутствовали в разговорах и стихах молодой барнаульской студии «ЭРА» — Эпицентр российского авангарда. Они ворвались на поэтическую сцену и шутейно провозгласили меня Папой российского авангарда. Я не обиделся. Даже благословил их. Еще Петр провозглашал папу шутов.

Рослый их лидер в белом пиджаке и очках «Джеймс Бонд» прочитал блестящую строку о балконах. Другой их вождь, косящий под Бальмонта А. Брехов (может быть, он натянул на себя такую голову с бородкой и локонами для розыгрыша?), читал свое: «Верую!»

Глуховато-спокойно читает Н. Николенкова, статная суриковская боярышня с котиковой стрижкой, будто отросшей после бритья наголо:

Замкнутые системы,
Бродим по Барнаулу, не совпадая, но рядом.

Их голоса я слышал в бескрайней кубической минуте немолчания.

В барнаульской ссылке умер Вадим Шершеневич. Чтение — это публикация ненапечатанных стихов на воздухе. Если в шестидесятые и семидесятые мы читали, потому что не могли напечатать стихи по политическим причинам, то теперь новые поэты не могут пройти в дверь издательства сквозь толпу профессиональных стихотворцев. На втором вечере «Минуты немолчания» произошло событие, до сих пор саднящее меня. Человек средних лет попросил из зала прочитать свои стихи. Я, ничего не подозревая, дал ему микрофон. Стихи оказались посвященными мне. Я ушел за кулисы — не слушать же про себя! Прошло минут 10. Поэт все читал. Еще не выступали И. Кутик, Г. Сапгир и другие. Я остановил его чтение. Оказалось, сюжет поэмы описывал, как автор, будучи в лагере на лесоповале, вместе с грузчиком «Чубуком» читали мои стихи, напечатанные в «Литгазете», и радовались им.

Он, ссутулясь, ушел со сцены в зал. Больше я его не видел. Так я невольно обидел бывшего лагерника. «А-а-а», — хохотало эхо.

Молодая Россия опять читает с эстрады и на углах нового Арбата.

«А-а-а!» — слышен выдох каратистов.

Ю. Арабов — в потертом свитерке, фаворит метафоры, автор сценариев для Сокурова. Когда впервые в Москве в Манеже выступал Б. Гребенщиков, казалось, было безумством читать после него стихи, я выпустил на сцену Арабова и Н. Искренко, и те спокойно взяли молодую ревущую аудиторию.

Геннадий Айги — это попытка записать на магнитофонную кассету «Агу» Христа. Лишь в этом году он сказал мне, что Пастернак завещал ему познакомиться и подружиться со мной. Поэзия — сообщающиеся сосуды. Мне кажется, я слышу крик Алексея Цветкова с берегов Потомака.

Он пришел ко мне со стихами в 1972 году. Тогда он был студентом МГУ. В его походке была основательность римского легионера. Тот же металл, позвякивающий иронией, был в его тяжеловатых ритмах. Ныне, за океаном, он защитил диссертацию по Платонову, выпустил две книги, которые показали его одним из сильнейших поэтов русского зарубежья.

Прошлой осенью он был в Москве — публика тепло принимала его в Доме медика. Не думаю, что органично для его стихов отсутствие знаков препинания (при классической метрике!), но это дело вкуса.

Слышится бурлацкий стон бородатой нашей «люмпен-интеллигенции» — новой формации выпускников университетов, дипломированных дворников, независимых личностей, идущих работать в истопники, ночные сторожа, лифтеры, лишь бы не вступать в компромисс с системой.

Из темноты звучит волжский голос Юрия Кублановского, еще юный, ломающийся, когда он звонил мне из приволжского городка. Он писал тогда несвойственные ему авангардные стихи. Мать его, партийный местный функционер, найдя мой телефон, умоляла не губить ее сына. Но, увы, я не был властен над ним — им завладела поэзия. Я лишь помог ему с институтом. Окончив, он ушел бродяжничать, был звериным сторожем, стерег зверей в зоопарке. Я написал в стихах «Люмпен-интеллигенция»:

Сторож Московского зоопарка
Пишет рифмованные стихи.
Но верблюдам ближе верлибр.

Сейчас он обрел манеру, близкую к русским живописцам XIX века. Жил то в Мюнхене, то в Париже. Присылал мне с оказией свои сборники.

Голос его не затерялся среди других голосов русскоязычного зарубежья — Василия Бетаки или Бахыта Кенжеева, у которого сквозь испытанную европейскую метрику нетнет да проступит затяжная азиатская система отсчета. С длинноволосой русалкой Инной Богачинской нас познакомил еще в Москве безвременно ушедший Володя Шленский. Теперь она в Университете Рокфеллера и, редкая из заокеанцев, пишет в размашистой московской манере.

Звучит «а-а-а» с округлым чешским акцентом. Вацлав Гавел. Я позвонил ему по телефону в день его освобождения. Какая радость была услышать его живой голос. Попросил передать привет друзьям в Москве, пославшим письма, заступаясь за его судьбу. «Вы думаете, мы с вами не виделись? Когда-то вы выступали в Праге в театре «Рококо». Я был в зале». «А я тоже ведь видел вас, Вацлав. Год назад вы не приехали в Амстердам, боясь, что вас не впустят обратно. В Амстердам на конгресс «Гулливера», европейского сообщества писателей, организованного Гюнтером Грассом, вы прислали свою видеокассету, где все объяснили и рассказали о том, что творится у вас. Мы в зале смотрели вас на экране». Чешский акцент всегда больно слушать. Прага была большой совестью нашего поколения и крахом надежд. Август 1968 года застал меня в Болгарии. Написанные тогда стихи «Пой, Георгий...» были напечатаны в первых числах сентября 1968 г. в болгарской газете «Литературный фронт». До сих пор не оставляет чувство ужаса, стыда и беспомощности тех дней. Все это в черном ящике памяти.

Голоса друзей, кого нет, кто далече, — хриплый Вики Некрасова, томный Геннадия Шмакова — слышны в эту минуту. Гена Шмаков, всеобщий баловень, автор монографий о М. Плисецкой, М. Барышникове, Н. Макаровой, издавший М. Кузмина, скуластый уроженец Свердловска, усыновленный петербургской культурой, погиб от СПИДа в нью-йоркском госпитале. Отменный гастроном, он каждый уик-энд готовил роскошнейшие обеды в загородном доме Татьяны Яковлевой-Либерман. Когда-то, еще в шестидесятых годах, в салоне Татьяны Яковлевой я встретил братьев Романовых: Никиту и Александра. Потом мы провели вечер.

Александр любит Чехова. Женат, кажется, на итальянской фабрикантше дамских украшений. Когда я читал «Московские колокола», подумалось: «Боже мой, я читаю про царей — но вот они, цари...» — Александр грустно улыбнулся.

Я стою в темной минуте кубического крика.

— А-а!

Поэзия — лишь минута немолчания, краткий крик среди темного немого Небытия и Вечности.

Безгласна ли Вечность?

«А-а-а», — колыхался над смеркающимся Иерусалимом вопль с минарета, и сразу вступили колокола к вечерне. Был различим доминирующий купол размером с садящееся за ним солнце и храм Петушиного крика левее. Православная колокольня была за моей спиной, многопудовый колокол ее я внесен в гору на руках безо всяких кранов российскими паломниками, их приходило до 50 тысяч ежегодно перед революцией, как рассказывал мэр Тэдди, который строго следит, чтобы все новостройки обкладывались местным камнем теплого тона, так что весь град смотрится как сквозь кальку.

Упрятав денежку, арабский мальчуган показывает путь к Гефсиманскому саду. «Вот место, где плакал Бог», — ткнул он на заросший масличными деревьями склон над стеной Св. Магдалины, которая все сильнее белела по мере наступления сумерек. Все было наполнено эхом разговора, начавшегося две тысячи лет назад. Оно излучало энергию и наполняло смыслом предметы вокруг. Мальчик выпросил «паркер» и с криком побежал к стайке сверстников — «а-а-»...

ИЗ СТЕНОГРАММЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА VIII СЪЕЗДЕ

Как насыщенно, выстраданно, исповедально проходит наш сегодняшний съезд. Каждое выступление звучит будто жизненная повесть.

Я вижу в зале лучших писателей Москвы, Тбилиси, Алма-Аты. Но мне представляется, что насколько наш съезд стал бы шире, ярче и многограннее, если бы в зале были бы Белла Ахмадулина, Булат Окуджава — прекрасные поэты, Юрий Черниченко, которому стольким обязана наша истрадавшаяся земля, Вячеслав Кондратьев, Давид Самойлов, Арсений Тарковский, старейший и драгоценнейший наш поэт. Нет в зале фантастов братьев Стругацких, нет сатириков — Горина, Арканова, Жванецкого. Пьесы «Мы, нижеподписавшиеся» и «Премия» были первыми ласточками, с которых началась наша перестройка, но их автора, Гельмана, нет в списке делегатов. Нет Рощина, нет Руслана Киреева. И еще, и еще... Нам сказала здесь Ревизионная комиссия, что выборы в Московской писательской организации, которой руководит Ф. Кузнецов, были фальсифицированы, и вообще, была ли истинная выборность? Сейчас нанесен урон нашему съезду. Платонов сказал: «Без меня народ неполный». Я думаю, что без этих писателей наша литература неполная.

Хочу сказать о литературном климате. Как нам не хватает доброты к иному, чем мы, таланту! Я считаю, хватит нам междоусобиц, хватит грызни, групповщины. У нас есть святое дело — литература, которая нас объединяет. Съезд наш проходит в трудную пору, когда над страной тяготеет беда Чернобыля. Среди многих «быть или не быть», которые повисли сейчас над человечеством, есть и такой вопрос: быть или не быть литературе вообще, т.е. делу, которому мы служим, которому мы отдаем жизнь. Волей судеб мы, может быть, почти последняя читающая страна в мире. Только у нас 300-тысячным тиражом раскупается Анна Ахматова,

а в Латвии — стране с населением около 2 миллионов — стихи Петерса и Зиедониса выходят тиражом 33 тысячи экземпляров.

На культуру наступает бездуховность. Здесь страстно говорили о преступности переборски северных рек, о гибели природы. Мой отец был гидротехником и завещал мне бороться против этого бессмысленного проекта, за чистоту вод, за Байкал. Но культуру сейчас так перекрутили, что и она иссякает, как реки! Я хочу сказать о наболевшем — о гибели духовности, об экологии культуры.

Наше равнодушие уничтожает прошлое, как разрушили Сухареву башню, пушкинскую усадьбу в Захарове. Равнодушные уродует настоящее — как одинаково безлики новые районы Москвы, Тбилиси, Ташкента! И что еще страшнее — порой мы губим будущее. Наследство нам досталось нелегкое.

Мы все ездили по Кутузовскому проспекту мимо снесенной Поклонной горы и вывороченного парка. Там идет строительство монумента Победы. Это стоит 130 млн рублей. Когда строили в честь победы над Наполеоном храм Христа Спасителя, весь народ пожертвованиями участвовал в его строительстве, и Герцен восхищался его первым проектом. Мы же поразительно равнодушны. Мы даже отработали субботник, но нам все равно, что будут строить, будто Москва не наша. И вот сейчас — по новым веяниям — проект выставлен на обсуждение возле Крымского моста. Сходите туда! Я вчера туда ездил. Проект представляет собой уродливый столб высотой в 70 метров, т.е. 30-этажный дом. Это гранитное знамя, которое, кажется, вот-вот раздавит группку людей под ним. Это один из самых уродливых и бездарных памятников в мире. На фоне неба даже красный гранит силуэтно смотрится как черный — я, как учившийся архитектуре, знаю, — и на въезде в Москву будет пугать всех гигантское черное знамя. Ужас какой-то!..

Я спросил у одного из участников работы: «Как вы к этому относитесь?» Он ответил: «Очень плохо». — «Зачем же вы это создавали?» — «Так нам велели свыше. Все запущено. Сто тридцать миллионов вложено. Не остановить». Но ведь приказал чиновник, слабо разбирающийся в искусстве. А художник услужливо выполняет. И памятник может испортить Москву на века, и им потомки будут пугать детей. Надо остановить это.

Но вернемся к литературе. Почему читатели отворачиваются от некоторых книг? Причин много. Народ знает правду о чудовищной силе зла, беззаконии, коррупции, лихоимстве, фальши, двуличии, он борется с этим злом в жизни, видит неправильное распределение благ, а ему подсовывают обкатанные редактором застенчивые книги, не «Мертвые души», а воведили.

Увы, лишь отдельные, немногие из нас забили тревогу о чудовищности преступлений. И сейчас главный враг внутри нашего общества — это бюрократизм, тормозящий перестройку, новое, это косность, старое мышление, которое, увы, не сдалось.

Сейчас в культуре все меньше белых пятен. Наконец издан Гумилев. Долго сомневались: если издать его — такое начнется! Напечатали — ничего не обвалилось. Читатель созрел у нас, чтобы читать все. Но у нас нет не только прилично изданного Аввакума, «первого русского авангардиста», у нас нет академических собраний Маяковского и Есенина. Пора издать Замятина, Ходасевича, пора наконец издать полную Ахматову, полного Пастернака. Кому, как не Союзу писателей, заняться защитой шедевров и судьбой литературной среды?!

На днях я вновь зашел на дачу, где жил Пастернак. Картина удручающая. Гению поэзии XX века даже не оставили кабинета, в котором он работал. Мое мнение остается прежним — этот святой дом должен стать музеем Пастернака. Сейчас там хозяйничает литературный музей Министерства культуры. Писатели должны взять это в свои руки. Кому, как не Союзу писателей, защищать честь писателей? Сейчас широко печатаются и Ахматова и Зощенко. Это классики. Но пугают умы — мне об этом написали письмо школьники — оскорбительные и устаревшие формулировки постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Думаю, постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» должно быть отменено.

Хочется, чтобы была создана авторитетная комиссия из уважаемых писателей, которые помогли бы рукописям, что долгое время не могут пробиться в печать. Их накопилось немало. Ведь порой писатель тратит 10 процентов своей жизни на написание книги, а 90 — на пробивание ее в печати. Это бывает и у бывалых мастеров. А что говорить о моло-

дых! Например, семь лет назад в Москву приехал из Киева молодой поэт С. Соловьев. Тогда ему был 21 год. Вскоре он напечатал в журнале «Литературная учеба» интересную поэму. Семь лет его книга, рекомендованная Б. Олейником, В. Вышеславским и И. Драчем, состоящая из уже напечатанных в периодике произведений, без движения лежит в издательстве. Ему сейчас 28 лет. Так мы теряем молодых. Книга поэта Коркия, рекомендованного Всесоюзным совещанием, 12 лет томится в издательстве «Современник». И это, увы, не исключение. А как нам нужны молодые таланты со свежим взглядом!

Сейчас в театре проходит эксперимент самоуправления и доверия, когда театр сам выбирает, что ему ставить. Почему бы нам не создать кооперативное издательство, во главе которого стал бы совет из 5—7 известных мастеров, таких — как совесть нашей интеллигенции академик Д. С. Лихачев, В. Быков, Ч. Айтматов, Д. Гранин, В. Распутин, С. Залыгин? Читатель им доверяет. Глядишь, и книги бы раскупали, и столы бы освободились.

Не надо думать, что все уже сдвинулось и решено. Отечество наше может быть в опасности сейчас, если не произойдет полная демократизация, перестройка, если не победит новое мышление. Повторяю, главный наш враг внутри — не острая книга, а чудовище бюрократизма и инерция старого мышления, тормозящие новое.

Но за это надо бороться каждому. У нас есть в стране прорабы духа, есть они и в этом зале.

Несколько раз у нас на съезде поднимался вопрос об уважении к могучей литературе, созданной в республиках. Значит, наболело! Значит, к этому надо быть внимательными. Пусть девизом истинного интеллигента остаются слова Достоевского из его проповеди о Пушкине: «Мы не враждебно, а дружески, с полной любовью приняли в душу нашу гении других наций, всех вместе, не делая племенных различий».

ТРИ БАБОЧКИ И НЕБЕСНЫЙ МУРАВЕЙ

В детстве я часто шарил по дедушкиной библиотеке. Золоченые тома «Истории человечества» Гумбольдта или Брэм привлекали меня тончайшей папиросной бумажкой, проложенной над цветными иллюстрациями. Она требовалась для каких-то детских надобностей — кажется, на расческе дудеть.

Однажды я снял с полки затиснутый толстенный том англо-русского словаря в красной обложке. Из него посыпался засушенный кем-то меж страниц домашний осенний гербарий. Резные осиновые кружочки лесов прошлого столетия, золотые березовые сердечки, будто абрисы православных куполов, кленовые алые гусиные лапы планировали на пол из словаря.

А листовая словарь, меж страниц на букву «Q» я обнаружил заложенные засушенные там крылышки бархатного персидского махаона. Какой начинающий жестокий Набоков засушил их там? Или сама бабочка, заснув, была некогда захлопнута в книге рассеянной дачной курсисткой?

Золотая, бирюзовая и черная пыльца впредсавалась в две словарные страницы. Шеренги слова, возглавляемые королевской «Q», оделись в золотые блески, будто собирались играть на сцене «Генриха IV» или «Венецианского мавра». Их окружали силуэты отпечатавшихся крыльев. На самих же крылышках, сквозь которые уже просвечивали осыпавшиеся остовы, на золотых их пятнах, впечатались со страницы буквы латинского и российского алфавитов, увенчаннные ятями.

Бабочка краткой человеческой культуры осыпалась крылышками в бездне немного мироздания.

Как стремительно исчезают виды природы! Не стреляйте белых лебедей! Снимайте обувь, заходя в музеи! Не сливайте мазут в море! — уже все дно Черного моря промазучено...

Поэты гибнут не только от свинца в груди, это лишь более искренний способ их уничтожения. Может, ныне они исчезают как вид?

Люди с крепкими нервами, «философы новой эры», предполагают исчезновение человечества как биологического вида, утешаясь тем, что останется все же жизнь на Земле в виде простейших растений и микроорганизмов. У микробов, вероятно, тоже есть сознание, а стало быть, и своя культура... Исчезновение культуры предвещает гибель ее носителя.

Я согласен с ними во многом, кроме одного — я храню крупицу активной надежды и веры в «прорабов духа». Хотя есть от чего впасть в отчаянье.

В Балтийском море осталось всего тысяча тюленей.

Красная книга Культуры отличается от подобной — Белой — книги Природы тем, что ее надо вечно кому-то писать. Культура — не лось и не лес, ее не спасти в заповедниках. Наоборот, культура умирает, как жемчуг, без общения с живым телом. Мы знаем, что архивные рукописи сохнут, книги гибнут в хранилищах, если их не листают любящие руки. Картины чахнут, если держать их в подземельях запасников без людского взора.

В Ленинграде размещенный на первом этаже дворца Института электромеханики так сотрясает вибрацией кирпичные стены, что стены рушатся, а находящееся над ним на втором этаже хранилище восточных рукописей, вторая по значению коллекция после Британского музея, портится. Представьте, как гибнут, осыпая пыльцу, драгоценные персидские миниатюры.

Три случайных бабочки культуры не идут из моего ума.

Кирпичная Сухарева бабочка на три столетия замерла на московском снегу. Барочно-красная с белыми пятнами, она была преступно погублена, исчезла и осталась лишь своими отпечатками на архивных страницах.

А развернутый, соперничавший с ней раскручивающийся кокон Татлина, из которого выпорхнула бабочка будущего?

Синий махаон Шагала бьется в мое переделкинское стекло.

Перелетные бабочки культуры возвращаются к нам, долетают из небытия, сквозь столетия и иные трения.

Осенний воздух собрался в сборки от движения крыл. Да полноте, бабочка ли это? Прозрачные крылышки табачного оттенка — может, это летающий муравей?

Поблескивают крылышки пенсне. Вопреки басням изнурительный характер труженика в нем сочетается со стрекозиной легкостью танца. Стихи его пропитаны муравьиным спиртом.

Ходасевич — летучий муравей российской поэзии.

Пробочка над крепким йодом!
 Как ты скоро перепрела!
 Так вот и душа незримо
 Жжет и разъедает тело.

Даже одною этой едкой строфой Ходасевич навеки вьелся в изящную русскую словесность. Но почему именно она волнует нас, во всемирный период полураспада йода, когда, пощелкивая щитовидкой, мы проборматываем эти стихи? 65 лет назад, в пору написания, строки эти казались ерническими, «аптекарскими», оригинальничанием — душа и йод, ну что у них общего?

Академик Ферсман, назвав йод вездесущим, писал: «Трудно найти другой элемент, который был бы более полон загадок и противоречий, чем йод. Больше того, мы так мало о нем знаем и так плохо понимаем самые основные вещи в истории его странствий, что до сих пор является непонятным, почему мы лечим при помощи йода и откуда он взялся на земле».

А душа? Не она ли полна загадок, опасностей, лечебных тайн и противоречий? Не самая ли это странная субстанция — душа, не она ли основа всего сущего? Как объяснить химическую формулу ее, к которой автор так стремился? И что грозит нам в период полураспада ее? Ее таинственное опасное могущество до всех Эйнштейнов и МАГАТЭ почувал брезгливыми ноздрями желчный поэт с йодисто-желтым лицом, «шипящий шуткой» и рыцарской верностью классической розе.

Современники не слишком ценили его. Авангардисты считали его стихи «дурно рифмованным недомоганием». Остролов князь Святополк-Мирский назвал его любимым поэтом всех тех, кто не любит поэзию. Однако зоркий бабочник Набоков так описал его, увы, уже в некрологе: «Крупнейший поэт нашего времени, литературный поток Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней». С ним сходен Горький, в письме к Федину, за 16 лет до этого охарактеризовав «Ходасевича, лучшего на мой взгляд поэта современной России...».

Характеристика эта тогда не убеждала — в то время существовали Ахматова и Цветаева, Пастернак и Бунин, Хлебников и Маяковский, Есенин и Мандельштам. Подобные высказывания не заглушили скептицизма общего хора. Его петербургский ровесник Гумилев надменно обмолвился: «Он пока только балетмейстер, — и добавил, подумав: — Но танцу учит священному».

Владислав Ходасевич родился ровно столетие назад, в 1886 году, в Москве, печататься он начал тоже в 1905 году, одновременно с Гумилевым. Будущий поэт был шестым ребенком в небогатой семье Фелициана Ивановича Ходасевича, обедневшего дворянина, незадачливого художника родом из Польши, ставшего торговцем фототоваром.

Позднее на чердаке в Париже поэт помянет отца шестипалой строфой своих дактилей. (Так случилось, что именно эти стихи цитируются в моем шестом томе.)

Был мой отец шестипалым...
 Веселый и нищий художник.
 Много он там расписал польских и русских церквей...
 Станем играть вечером, сев за любимый диван.
 Вот на отцовской руке старательно я загибаю
 Пальцы один за другим — пять. А шестой это я.
 Шестеро было детей. И вправду: он тяжелой работой
 Тех пятерых прокормил. — Только меня не успел.

С детских лет всю жизнь поэт бедствовал, жил лишь литературным заработком, трудился до изнурения, одиночеством, много и тяжело болел. Наставниками его лиры были не только Бальмонт, Белый, посаженный отец его свадьбы Брю-

сов, с кем он стал на короткое с шестнадцати гимназических лет, но и тульская крестьянка Елена Кузина.

Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный твой язык, —

с волнением произнесет он в одическом посвящении ей.
Увы, куда залетели крылышки пенсне, в какие дали от полей и песен Елены Кузиной?

От ничтожной причины — к причине,
А глядишь, заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти.

Будучи в сентябре на фестивале в Западном Берлине, я заехал в чудом оставленные войной угрюмые кварталы, где в 20-е годы жили Андрей Белый, Горький, Цветаева, Ходасевич. Угловое кафе «Прагердиль», воспетое им в стихотворении «Берлинское», сохранилось. Я пошел в «Прагердильчик». Массивная дверь начала века захлопнулась за мной.

Здесь творил свои безумные пляски Андрей Белый — в черном жабо и с желтой розой в петлице, именно в этом кафе он назвал стихи Ходасевича ванной Архимеда, где все лишнее вытесняется. К этой стойке подходил Есенин с Дункан после вечера в Клубе литераторов, поотругивавшись от монархистов и за распахнутость таланта получивший шквал аплодисментов. Сюда присаживался отдышаться Маяковский, покоров аудиторию русского Студенческого союза, где бывший кубофутурист выступал на сцене с бывшим эгофутуристом Северяниным и Кусиковым. Здесь бражничал, заглушая тоску буйством, Алексей Толстой.

Что ж? От ознобы и простуды —
Горячий грог или коньяк.
Здесь музыка и звон посуды
И лиловатый полумрак.

Поздние хозяева перестроили интерьер и стойку бара. Горячего грога не оказалось. Звонит посуда с другими на-

питками и другая музыка. Из колонок вопит английская группа.

Я сел у окна, спиной к залу. Вид за толстым стеклом ничуть не изменился за эти годы. В тумане мрачнели доходные дома стиля модерн начала века. Поблескивали трамвайные рельсы.

Многоочие трамваи
Плывут между подводных лип,
Как электрические стаи
Светящихся ленивых рыб.

Об эти тротуары и порог кафе некогда цокали набойки Пильняка. В окно глядел Берлин Федина, Шкловского и Ремизова. В те годы город был буфером между культурами. В сорока русскоязычных издательствах — просоветских, монархических, сменовеховских — печатались приезжавшие сюда Бунин, Эренбург, Пастернак, Серапионовы братья. В один год здесь вышло на русском языке книг больше, чем на немецком. Отечественный Дом литераторов сотрудничал с берлинским Домом искусств.

Свет редких автомашин бьется о стекло. Будто крылышки дрожат. Накрапывает. Из толстого огромного ночного стекла выступают то ли отражения завсегдатаев кафе — то ли глядят, подступая к окну снаружи, лица берлинского тумана?

За этим столиком один из западноберлинских коллекционеров подарил мне неизвестную фотографию Гумилева, где петербургский сверстник Ходасевича поднял руку в окружении девиц Наппельбаум, полосатого банта Одоевцевой и акмеистки Лурье, дамы его сердца, проживающей до сих пор в Берлине.

Как известно, приезд в Берлин Ходасевича имел отнюдь не политические мотивы. «Кое-какие события личной жизни выбили из колеи, а потом привели сюда», — читаем мы в автобиографии. Поэт пытался отъездом вырваться из семейных пут. Он приехал в Берлин с двадцатилетней поэтессой Ниной Берберовой. Мемуары язвительно свидетельствуют: «Меня поразило, что он сматывался втихаря от женщины, с которой он провел все тяжелые годы и назвал женой». А вот хмуро вспоминает редактор берлинского журнала:

«Помню, как пришел только что приехавший из Советской России Владислав Ходасевич. Он был страшно худ, с неприятным лицом вроде голого черепа и длинными волосами... Ходасевич заходил часто. Один раз он меня крайне удивил, сказав: «Только, пожалуйста, если будут у вас рецензии о моих книгах, чтобы никаких неприятных резкостей. Я же ведь хочу возвращаться».

Он любил кошек — может быть, это Елена Кузина наговорила ему о коте Котофеиче? «Для такого человека, как Ходасевич, эмиграция была трагедией», — предваряет его «Избранное» Н. Берберова. Трагедия была не в тяготах быта, не в болезнях, кончившихся раком, — боль и трагедия духа зияла в каждой строфе поэта, душераздирающе наполняя кажущуюся ранее холодной его классическую поэтику. В последних стихах поэт сдирает с себя не только сюртук и сорочку — кожу сдирает. Вслед за «Закатом Европы» он разглядел Европейскую ночь и ужаснулся. Тютчевские тучи в ней набрякли ожиданием войны и фашизма. Последнюю жену Ходасевича в 1939 году немцы увезут из Парижа в Германию, где она погибнет в концлагере.

С позиции маленького, подпольного человека, с позиции пушкинского Евгения он судит бездны мировой истории, медный топот деспота и страшную стужу Европейской ночи в лучшей своей книге. Это свод леденящих душу замерзших шедевров.

Мне невозможно быть собой,
Мне хочется сойти с ума,
Когда с беременной женой
Идет безрукий в синема.

Какой гнев, сарказм в этих мцыриевых глухих уда-
рах ямба!

Ременный бич я достаю...
И ангелов наотмашь бью...

Какое бешенство энергии — такого поэт не знал до этого.
Трагедия сквозит в каждом из четверостиший-окон, где
мировая скука рассматривает телевизор квартир.

В иронии, черном юморе одиночества есть общее с написанными в те же годы вещами Заболоцкого, Хармса, Введенского. Набоков называл это «оптически-аптекарьски-химически-анатомическим налетом».

Сквозит беспощадная близость с Заболоцким, не случайно они оба увлекались музой капитана Игната Лебядкина, пожалуй, это редчайшие примеры чистого «сюрреализма» в нашей поэзии:

Вверху — грошовый дом свиданий.
Внизу — в грошовом «казино»
Восселись зрители. Темно.
Пора щипков и ожиданий...
За ней вприпрыжку поспешая,
Та пожирней, та похудей,
Семь звезд — Медведица Большая —
Трясут четырнадцать грудей...
И до последнего раздета,
Горя брильянтовой косой,
Вдруг жидколягая комета
Выносится перед толпой.

Запустите в это казино персонажей «Фокстрота» или «Свадьбы» Заболоцкого, они будут чувствовать себя в его стихе как дома:

И бал глядит, единорог.
И бабы выставили в пляске
У перекрестка гладких ног
Чижа на розовой подвязке.

Он, как и Заболоцкий, вводит в текст реальные фамилии: «Целует девку Иванов», «По лугу шел красавец Соколов», «Умирает вдруг Савельев»... «Дурак» для него не ругательство, а обозначение вида. Но там, где у Заболоцкого давка цвета, буйная вещьность, написанная плотно, плотски, сочным филоновским маслом, у Ходасевича процарапано духовной иглой офорта. И из щелей Дух сквозит. И за всем кричит трагедия. Офорты эти заходят за смертную черту, как и за черту дозволенного, — так дико Аидово видение старика с его одинокой страстью в подземном туалете:

А из соседней конуры
За ним старуха наблюдает...

Вопит отчаянно одиночество и предчувствие еще большего одиночества — предстоящего. Может, уже здесь посетил поэта предчувствие возможности исчезновения человечества как биологического вида?

Беспощаден, страшен и беззащитен автопортрет поэта, лицо, вплотную приближавшееся к читателю.

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого.
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?

В манере Владислава Ходасевича сияет сухость иглы офорта, отчетливость деталей, вытравленных ядовитой усмешкой на медной доске. Предметы как бы обведены светящейся линией. Культура стиха, вкус его порой даже слишком безупречны. Порой он прячется за черной самоиронией, в скорлупку скептика.

«На трагические разговоры научился молчать и шутить». Чем трагичнее называли разговоры, тем отчаяннее становились шутки.

Люблю людей, люблю природу,
Но не люблю ходить гулять,
И твердо знаю, что народу
Моих творений не понять.

Тут уже один шаг до Глазкова. Это от ранимости и сверходиночества. Каждый поэт всегда одинок, но вряд ли была в нашей поэзии столь одинокая фигура! Уходящие от него красивые жены лишь подчеркивали эту сквозящую ноту. В них была роскошь покидающей жизни. Первая супруга его, восемнадцатилетняя красавица полковничья дочь Марина Рындина, поражала эксцентричностью и эскападом в духе тех лет. «Была она необычайной красоты и совершенно бесстыдная, приходит, бывало, на литературное собрание, идет прямо к столу, в руках какие-нибудь необыкновенные орхидеи, сбрасывает шубу и садится за стол голая, ну, совершен-

но нагишом!» — хихикает уже цитированный мемуарист. Вскоре Рындина покинула поэта, выйдя замуж за редактора «Аполлона» С. Маковского.

Какие красивые у него были музы!

В Принстоне я цепенел от пантерной красоты Нины Берберовой, которая профессорствует там, одна из интереснейших сегодняшних прозаиков, последняя из тех, кто хранит дыхание Ходасевича.

Мало кто из поэтов так воплощал в себе Культуру. Классицист, скитаясь, он возил с собой по свету восьмитомник Пушкина, как горсть земли с собой носят. Он стучал парнасской палкой на «заумников», Хлебникова и Цветаеву. Не все из завсегдатаев «Книжной лавки писателей» на Кузнецком мосту помнят, что она была основана Ходасевичем и Муратовым.

Он как-то воскликнул: «Надо, чтобы наше поэтическое прошлое стало нашим настоящим и в новой форме — будущим». Упоительны его работы о Пушкине, шедевр о Державине, о «щастливом Вяземском», Дмитриеве, Грибоедове, «Слове о полку Игореве». Труженик он был отменный. Муравьиный характер сказывался.

Был ли он пушкинианцем по сути?

Поэтика, строфика, возлюбленный ямб — все идет от Пушкина. Но по мирозерцанию поэмы были противоположны. Солнечный космос Пушкина — день — покрыт покрывалом ночи. У Ходасевича вслед за Тютчевым — день, как покрывало, покрывает мировую ночь. В этом они подошли к нынешнему знанию черного космоса.

Об этом вслед за Тютчевым бряцал поэт на своей тяжелой лире в «Ласточках»: «Имей глаза — сквозь день увидишь ночь».

Как он любил Тютчева, как оберегал его от непонимания!

«Иногда поступали с варварской наивностью: просто зачеркивали то, что было истинным предметом стихотворения и для чего «картина природы» служила только мотивировкой иль подготовкой. Так, знаменитое стихотворение «Люблю грозу в начале мая» сплошь и рядом печаталось без последней строфы», — писал он в 1928 году. Увы, и ныне, в 1986 г., наши школьники учат по хрестоматиям это классическое стихотворение без последней строфы!

Порой в его пенсне отражались чужие лица и песни.

Ты скажешь, ангел там высокий
Ступил на воды тяжело, —

мы слышим тютчевскую интонацию.

В описании пляжа мелькнет Пастернак:

Какой огромный умывальник!

Но он щедро посмертно платил долги. В предсмертных строфах Пастернака есть общие мотивы:

О господи, как совершенны...
Как сладко при свете неярком,
чуть падающем на кровать,
себя и свой жребий подарком
бесценным твоим созnavать.

Культура его слышна и в поздних поэтах:

Но неудачник облыселый
высоко палочкой взмахнет.
(«Звезды»)

Лысый демон
Палочкой взмахнет...
(*Р. Рождественский*)

Владислав Ходасевич не был для меня самым любимым поэтом эпохи. Я поклонялся другим богам. Я понимал его скорее умом души, чем ее сердцем. Сердцем я затвердил его «Перед зеркалом» и десяток других, в иных стихах мешала скупость, некая сухость его гортани. Однако моя поэтическая полочка неполна без его фисташкового томика. Есть и другие суждения: «Ахматова — однообразна, Блок тоже — Ходасевич разнообразен, но это для меня крайне крупная величина, поэт-классик и большой строгий талант», — читаем мы в письмах Горького. Для меня Блок и Ахматова — полифонические эпохи. Да и зачем одним поэтом унижать другого? Но будем демократичны во вкусах и пойдем и такую точку

зрения, тем более что высказана она не шелкопером, а классиком и основоположником социалистического реализма.

Поэт был близок с Горьким, часто гостил у него в Сорренто. Муравьиный спирт чувствуется в воспоминаниях Ходасевича, так и видишь смущенную, чуть не плачущую усатую фигуру Горького.

Вот как он описывает свой откровенный диалог с Горьким:

«— А скажите, пожалуйста, что, мои стихи, очень плохи?

— Плохи, Алексей Максимович.

— Жалко. Очень жалко. Всю жизнь я мечтал написать одно хорошее стихотворение».

Был он строг и со студийцами Пролеткульта. Давний мой переделкинский сосед В. В. Казин, некогда пролетарский поэт, с благоговением вспоминал его лекции о Пушкине. «На основании этого знакомства, — читаем мы у Ходасевича, — я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших качеств русской рабочей аудитории — прежде всего ее подлинное стремление к знанию и интеллектуальную честность... во всем она хочет добраться до «сути»... Увы, вульгаризаторы Пролеткульта заревновали к Пушкину.

Порой вражда заслоняла от него поэта, как в случае с Хлебниковым и особенно с Маяковским, к которому, как к раннему, так и позднему, он был предвзят. Через десять дней после самоубийства Маяковского, в то время как Цветаева цепенела от горя, он написал злой фельетон.

Не о славе он молил и тосковал, не о «грубой славе и гоненьях», возвращаясь мыслями к земле Елены Кузиной, не кичился своим былым успехом, не самоутверждался гордыней, это его одиночество молило о понимании, лишь о понимании, из вступления к «Европейской ночи»:

Смотрели на меня — и забывали
Клокочущие чайники свои;
На печках валенки сгорали;
Все слушали стихи мои.

Думаю, нынешнему читателю он будет близок культурой стиха, требовательностью, экономным волшебством русского языка. Как неряшлива, необязательна сегодняшняя строка, как мало она задумывается над вечными вопросами, общечеловеческим, порхает за суетным!

В душе и мире есть пробелы,
Как бы от пролитых кислот.
Заполним пробелы.

«Хранят культуру не те, которые вздыхают о прошлом, те, кто работает для настоящего и будущего» — эти слова Ходасевича будто сегодня сказаны.

Закончу письмом:

«Ленинград, 11 декабря 1986

Многоуважаемый Андрей Андреевич!

Прежде всего хочу поблагодарить Вас за статью в жур. «Огонек» о замечательном поэте Владиславе Ходасевиче. Теперь Вы становитесь «первооткрывателем» 80-х годов имени этого тонкого ума, поэта.

Мне особенно дорого, т.к. он для меня был другом, чьи стихи я неоднократно слушала у себя дома, сидя на полу, на диванных подушках возле раскаленной печурки-«буржуйки», труба которой тянулась через комнату прямо на невский проспект, в форточку.

И вместе с нами была моя любимая подруга юности — Нина Николаевна, позже ставшая спутницей жизни поэта. А как прекрасно, одной фразой, сказали Вы об этой необыкновенной женщине!

Шестьдесят лет нашей с ней разлуки не погасили огня, что когда-то возгорелся, и она при любом случае шлет мне свои книги, портреты, стихи и даже голос... Хотя я, увы! не могу ей ничем ответить...

А теперь, надо сказать о том, что вызвало мое удивление и огорчение: почему фотогруппу с Николаем Степановичем Гумилевым Вы впервые увидели в руках иностранца, а не гораздо ближе, у меня в Ленинграде? Или сейчас в портфеле редакции, у Енишерлова, где она почему-то лежит в ожидании очереди на публикацию? А у хозяйки ее есть второй вариант «Звучащей Раковины» со своим Мэтром. И единственная сохранившаяся вещь тоже в моем архиве (его портсигар).

И еще хочу Вас уведомить, что у меня в архиве имеются копии двух писем Ходасевича от 25 и 26

годов. Адресованы моему покойному мужу, ленинградскому поэту Михаилу Алексан<дровичу> Фроману. Оба письма сугубо литературные и касаются его собственных стихов. И тем интересны...

Желаю Вам, Андрей Андреевич, всего-всего доброго и успешного на жизненном и творческом пути.

*С уважением,
Ида Ниппельбаум».*

Набоков — двуязыкая бабочка мировой культуры.

Давайте, читатель, разглядим осыпавшиеся крылышки его четверостиший. Вот васильковая расцветка «Первой любви»:

Твой образ легкий и блистающий
как на ладони я держу
и бабочкой неулетающей
благоговейно дорожу.

Все слова поэта цветные, зрительные. В письмах к сестре Елене он рассказывает про своего сынишку: «Настоящей страсти к бабочкам у него нет. У него окрашены буквы, как у меня и как это было у мамы, но у каждой буквы свой цвет — скажем, «м» у меня розовое, фланелевое, а у него голубое».

Главное наслаждение произведений Набокова — осознать заповедный русский язык, незагазованный, не разоренный вульгаризмами, отгороженный от стихии улицы — кристальный, усадебный, о коем мы позабыли, от вершинного воздуха коего кружится голова, хочется сбросить обувь и надеть мягкие тапочки, чтобы не смять, не смутить его эпитеты и глаголы. Фраза его прозы — застекленная, как драгоценная пастель, чтобы с нее не осыпалась пыльца.

С детства вторым языком автора был английский. «Поли-ту» и «Другие берега» он написал по-английски, создавая самостоятельный русский вариант произведений. В обоих случаях язык его упоителен. Это почти единственный после Конрада случай в мировой литературе.

Владимир Владимирович Набоков принадлежит к старому дворянскому роду! Вместе с семьей, юношей, оказался за границей. Окончил Кембридж. На Новой Земле есть «река

Набокова», названная в честь его прапрадеда, ходившего туда на корабле в 1816 году, его бабушке посвящал стихи Тютчев, отец его, человек долга и чести, член 1-й Государственной думы, погиб от пули, заслонив собой своего кумира, считая, что закрывает собой Россию.

Сам же автор, крупнейший мировой писатель, гордился более всего тем, что открыл вид бабочки, «неизвестную самочку, которая зовется Nabokov's Nimph в научной литературе». «Какое наслаждение наконец найти мою редчайшую крестницу на почти отвесном склоне, поросшем лиловой lupinой, в поднебесной, пахнущей снегом тишине (на высоте 3000 м)!» — захлебывается он своей корреспондентке. «И есть, кроме того, четыре nabokovi, названные другими, из них особенно мне дорога Eurychia nabokovi, крохотная геометридка...»

Но почему в нынешних набоковских ралли наших периодических изданий интересно представить читателю именно стихи Набокова, а не только его знаменитую прозу, в то время как другие собираются печатать «Защиту Лужина», один из лучших романов его, или «Машеньку», его первенца, или эссе о Гоголе?

Стихи — это то, что нельзя написать на чужом языке. Это — неподконтрольное, это высшее, где уже не материя, а дух языка кричит, не прикрытый коронным «приемом» автора, что иноязычно не выразить — ни Пушкин, ни Цветаева, ни Рильке не сумели этого, — в стихах прорывается непере译имое, голое чувство, тоска, судьба, а не литература, вопит слово «выть» — такое редкое для хрустального интеллектуализма художника.

По прозе пером его водила «с постоянством геометра» муза Геометридка, но в поэзии флейты его касалась губами простоволосая нимфа чувства, нимфетка, как потом он ее назовет.

Есть проза современных ему поэтов, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, где сохраняется метод поэзии, захлебывается ритм, аллитерации, напор, здесь же, наоборот, мы видим поэзию прозаика, близкую Бунину, — вдруг четкая деталь сквозь слезы:

...угол дома, памятный дубок, граблями расчесанный песок.

Не так-то беспечны его бабочки. Бабочка-память неотвязно напоминает ему желтой каймой своей зыбкую рожь, это березовая греза-бабочка России всюду ностальгически настигает его. Есть у него и стихи на английском, но, конечно, неудачные. Каждый, кто пробует писать стихи на неродном языке, расплачивается банальностью за кощунство. Для меня, например, это святотатство, я не пишу стихов по-английски, если не считать шуточных.

Когда началась всемирная эпидемия AIDS, иммунной беззащитности, по-русски СПИД, я написал в Нью-Йорке стихотворение о благородных традициях Эзры Паунда и Одена:

Murmaids have no AIDS
(Yeats).

По звуку:

«Мермэйдз Хэвно эйдз»
(ейтс).

Перевести это можно так:

«У адыгейцев нету эйдцев»
(Коломейцев)

или

«Только русалки
гарантированы от СПИДа»
(из Еврипида) и т. д.

А. Гинсбергу мое произведение понравилось, но публиковать его я не стал, считая несерьезным. Другое дело, когда в видеостихах русское «ТЕСНО МНЕ» зеркально отразилось в «ЕСНО WHEN»

Порой на набоковских крылышках среди своей пыльцы отпечатаны тексты других поэтов.

Вот интонация Гумилева:

Мы, быть может, преступнее, краше,
голодней всех племен мирских.

От языческой нежности нашей
умирают девушки их.

Вот Пастернак:

И покуда глядел он на месяц
синеватый как кровоподтек...

Вот его возлюбленный Ходасевич, которому он посвящал
восторженные статьи:

Ах, если б звучно их раскинуть,
исконный камень превозмочь,
громаду черную содвинуть,
прорвать глухонемую ночь.

Порой то Бальмонт, то Майков, то Мандельштам, то даже Маяковский отпечатается. Иногда он нарочито как бы пародирует. Есть такой вид бабочки, которая садится на лист, принимая как бы окраску листа (или коры, или цветка). Прикидываясь листом, она остается летучей бабочкой и, обманув окраской, срывается в небо, в главном оставаясь собой — в полете. Необычен этот поэт Набоков, — если все поэты идут от сложности к простоте, то он и тут перечит. В ранних книгах 1922 года «Горный путь» и «Грозди» он начинает как романсовик, идя путем Апухтина, а то и Ротгауза, подписываясь псевдонимами В. Сириин или Василий Шипков:

Простим мы страданье, найдем ли звезду мы?
Анютины глазки, молитесь за нас...

Суровый критик за издержки вкуса называл его Бенедиктовым.

В книге 1952 года он приходит к традициям Пастернака. Но, и садясь на книгу Пастернака, он остается своей бабочкой. В лекциях своих он наивно раздраженно ниспровергает Толстого и Достоевского, называет Сартра модным вздором, Миллера — бездарной похабщиной. Движимый не самыми почтенными чувствами, он обзывает Бенедиктовым... Пастернака — более сильного, чем он, поэта, не в силах освободиться до конца жизни от влияния его интонации. Ах,

бедная тень Бенедиктова! Кто только не тревожил тебя... Но простим эти слабости за боль его, даже за один этот его глубокий вздох:

Моя душа, как женщина, скрывает
и возраст свой и опыт от меня.

В жизни же он прикрывается одной страстью — исследователя бабочек — «лепидоптериста», — вы, наверное, и не слыхивали этого термина, читатель? Так Лермонтов кутался в свой расшитый ментик, а Пушкин выдавал себя за практичного издателя. Он прячет взор пророка за голубые, черные, алые стеклышки капустниц, аполлонов, махаонов, лимонниц, голубянок. Сообщая, что перевел «Слово о полку Игореве» и «пятитомного Онегина», он делится с сестрой главной радостью: «Я вот уже третий год печатаю частями работу о классификации американских «голубянок», основанной на строении гениталий (видные только под микроскопом крохотные скульптурные крючки, зубчики, шины и т.д.). Работа эта упойтельна, я себе испортил глаза, ношу роговые очки. Знать, что орган, который ты рассматриваешь, никто до тебя не видел, погружаться в хрустальный мир микроскопа — это так завлекательно, что и сказать не могу». Гиппиус назвала его талантливым поэтом, которому нечего сказать, не заметив, что подробности жизни и слова стали содержанием его. И сквозь этот яркий, отчетливый мир проступает:

Я помню, над Невой моей бывали сумерки,
как шорох тушующих карандашей.

Да и американскими «голубянками», а не европейскими «Alpes Maritimes» он занимался лишь потому, что вынужден был бежать из Берлина в Париж, а далее в другое полушарие, спасая жену-еврейку от фашистского геноцида.

Вернемся к письмам его, которые он в стихах сравнивает с лимонницами. Он по-семейному открыто пишет брату Кириллу, поэту «Пражского скита»: «Вопрос — обстоит так: пишешь ли ты стихи просто так... или действительно безудержно к ним тянет, они прут из души... Прежде всего нуж-

но учиться ценить, какое это трудное, ответственное дело, дело, которому нужно учиться со страстью, с некоторым благоговением и целомудренностью, пренебрегая мнимой легкостью. Бойся шаблона. Рифма должна вызывать у читателя удивление и удовлетворение — удивление от ее неожиданности и удовлетворение от ее точности и музыкальности!..»

Это надо усвоить тысячам наших пишущих, и любителям и профессионалам-графоманам, — «благоговение и целомудренность», «удивление и удовлетворение». Собственно, печатание ныне рукописей, что было невозможно напечатать в предыдущие годы, имеет кроме цели исторической справедливости цель «поднять планку», культуру, — главное, чтобы были рождены новые вещи новыми именами по «гамбургскому счету».

В стихах его зреют зерна будущей прозы. «Лолита» имеет невероятный успех, — пишет он сестре в 1958 году, — но это все должно было бы случиться тридцать лет тому назад». В 1928 году в чувственном стихотворении «Лилит» уже просвечивал образ его будущей знаменитой героини, хоть автор, склонный к мистификациям, нарочито отрицает это в комментариях.

«Писал ли я тебе, что открыл и описал несколько новых видов и что существует несколько названных в мою честь «*павкови*»? И далее: «Ника уже развелся со второй женой-американкой». Я знал этого «Нику», композитора И. В. Набокова. Встретиться с В. Набоковым было бы просто, но мешала некая целомудренность. Я боялся нарушить хрустальный образ, боялся, что пыльца останется на пальцах. Мастер был труден в общении. Недавно, будучи в Москве, Грехем Грин, давший мировую славу его «Лолите», защитив ее от цензурных запретов и выведя в кинозвезды, чтя автора как писателя, сдержанно отозвался о нем как о личности. Проза его магична — его школу прошел и поздний Катаев, и Битов, и многие.

Всю жизнь он прожил в гостиницах, отказываясь покупать и обживать свой дом вне дома.

Ах, где они теперь, две бабочки Набокова?

За год до смерти, глянув на бесстрастный сачок небосклона, он написал замершее стихотворение из двух строф, как двукрылую лимонницу. Перефразируя гумилевское «И умру я не на постели при нотариусе и враче», старый поэт улыбнулся автоэпитафией:

И умру я не в летней беседке
от обжорства и от жары,
а с небесной бабочкой в сетке
на вершине дикой горы.

Эти две строфы, кажется, вот-вот вздрогнут, подымутся, сомкнувшиеся вместе, и упорхнут — к каким другим берегам, к каким горизонтам?

Сейчас летят эти «грезы берез» по милым его сердцу среднерусским лесам и весям. Пусть летят Геометридка и Нимфа Набокова на свет вечерних ламп наших читателей.

Дорогой Адольф Адольфович!

Поэт и критик вечно ведут диалог. Поэт — стихами, критик — статьями. Я с интересом прочитал Ваше открытое письмо ко мне. В нем Вы «вынуждаете» меня, «оставив на время стихи», поговорить с Вами на Вашем языке, языке литературоведа.

Будучи не очень сведущ в этой лексике, признаюсь, я предпочел бы, чтобы Вы, оставив на время статьи, заговорили со мной стихами, на моем языке.

Но это, видно, в следующий раз...

Я рад, Адольф Адольфович, что Вы давно верите в меня. Но не будем так уж строги к тем поклонникам, которые, приняв меня за певца поролона, разочаровались во мне, поняв, что я не сумел воспеть тринитрооксигидронатроэлон.

Не будем строги и к тем, кто, радостно попредвещав очередные кризисы новой поэзии, теперь бодро примкнул к миллионам ее сторонников.

Вы — один из интереснейших наших критиков, опытный дегустатор стиха, своеобразный, думающий и, что самое главное, честный аналитик; мне лестно, что моя работа дает Вам повод для размышлений. Вы спрашиваете, что за «базальные истины» я исповедую по Главному вопросу?

Повторю классического Блока: «Поэт — величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы; но сущность его дела не устареет. Люди могут отворачиваться от поэта и от его дела. Сегодня они ставят ему памятники; завтра хотят «сбросить его с корабля современности». То и другое определяет только этих людей, но не поэта; сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна...»

И по сегодняшний день верны слова Блока о сущности назначения поэта: «Что такое поэт? Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами, то есть приводит

в гармонию слова и звуки, потому что он — сын гармонии, поэт.

Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок — космос, в противоположность беспорядку — хаосу».

Эта речь Блока порой использовалась против поэтов.

К этому хочется добавить, что есть разные системы гармонии. Вы это понимаете. Мелодистам Шостакович казался дисгармонией, кунштюком, сумбуром, хаосом. Между тем это просто иная система гармонии. Увы, дело в ухе!

В музыке существуют тональная и атональная системы. Двенадцатитоновой структуре Альбана Берга и Стравинского чужд ладовый строй Чайковского или Рахманинова. И те и другие совершенны.

Есть две геометрии — Евклида и Лобачевского, они говорят о том же, несмотря на непримиримость сторонников острых и тупых концов яйца. Яйцо-то одно.

В каком смысле поэзия может быть проводником гармонии? Строфа — модель мира, гармонический кристалл. Строфа — структура. В этом смысле (пример, а не назидание) можно говорить о воспитательной роли искусства.

Строфа сложна? В этом смысле она реалистична, она отражение жизни, она не дает решения конкретной задачи, «проблемы», как Вы называете. Она дает метод познания — каждый будет решать свои задачи, моральные, экономические; поэзия дает лишь настрой, метод.

Конечно, поэзия решает и конкретные задачи: отношение к НТР, охрана памятников старины, экология, проблема преимущества кальвинизма перед римской церковью и т.д. Это так же, как великая трагическая актриса дома моет посуду, готовит обед. И делает это блестяще. Посуда должна быть чистой, дети сыты. Но это не Главный вопрос поэзии — это ее многочисленные «хобби», заботы. Вы берете мое отношение, скажем, к НТР.

Из той же блоковской речи: «Мы знаем одно: что порода, идущая на смену другой, нова; та, которую она сменяет, стара: мы наблюдаем в мире вечные перемены...»

Недавно Вы тонко и точно на слух уловили гул чугунки в строках Фета: «Мосты мгновенные гремят». Успехи авиации поразили Блока, Хлебникова, Маяковского, Северянина, Каменского, Мандельштама — «летало», «летун», «авиа-

тор»... Правда, речь шла не о проблемах самолетостроения, а об ином. Так, например, Пьеро делла Франческа или Павел Кузнецов писали девуку, ну да, похожую и на натурщицу, с точными чертами сходства, — но сквозь нее писали и иное — Мадонну.

Приветствую НТР. Люди должны иметь где спать и что есть. Без НТР в наше время этого не решишь. Десятки городов у нас не имеют водопровода и канализации. Решать эти проблемы важнее, чем предаваться антимеханическому снобизму. Роботизация нам пока еще не грозит, и у меня она чаще всего лишь метафора механического в людях. Есть и страшноватые черты НТР, поэзия восстает против них. Но посуда должна быть чистой. Дети сыты и живы. Гражданская беззаветность и беспощадность — извечные свойства поэзии.

Не поэзия кризисна, она — зеркало, она кричит о кризисах мира.

Влияет ли НТР на стиль искусства? Стиль жизни меняется, создается стиль искусства — чего тут бояться? — как современники вряд ли боялись нарочитости кватроченто или александровского ампира. Иногда влияние технического уклада и прямо просматривается, иначе мы не имели бы Мартынова, Кубрика, Мельникова.

Изобретение ТВ конкурирует с книгой? И слава богу! В начале было Слово. Но кто сказал, что слово должно быть только письменным? Ведь и книгопечатание сначала отпугивало своей стандартностью после трепетного письма от руки.

Даже основные недостатки сегодняшних стихотворцев — графоманство и эклектизм — уподобляются технике, идут от водопровода со смесителем: слишком легко, без усилия включается бесконечная вода, легко теплеет. Поносили бы в ведрах — более ценили бы!

Но важны не механические черты, а изменения мышления. В современной ироничности — демократизм стиля. Это угроза иерархиям, но не ценностям. Ироническое «шеф» или «Дау» по отношению к академику Л. Ландау говорили не о пренебрежении, а о любви и не мешали беззаветному поклонению. Точно так же психологический эпитет «глупая луна» не посягал на тайну Селены.

Впрочем, часто за издевку принимают аналитичность, современность мышления. Как обижались на Филонова или

Заболоцкого! Их восторженные портреты воспринимались как сатира.

Не обладай юная подруга и модель Пикассо — Жаклин — чутьем и вкусом, она могла бы воспринять знаменитую серию своих портретов, многоглазых и треугольноротых, как серию карикатур. Но влюбленность и восхищенность художника здесь не подвергаются сомнению. Это просто иная система гармонии.

Последующие конструктивные композиции Пикассо не улучшают и не опровергают дымки его «голубого» периода. Так Врубель периода Демона не отменяет его «В ночном». Они не лучше и не хуже. Они иные. Иное раскрытие той же личности.

Механический прогресс произведений художника или поэта по крайней мере относителен. Я думаю, Вы скоро поймете, что к поэзии неприменимы школьные эволюционные термины вроде Ваших: «шаг вперед», «отменяя или прибавляя», «являются поправкой» и т.д. и т.п. «Возмездие» не было «шагом вперед» по отношению к «Незнакомке», «маленькие трагедии» не являются поправкой к «Чудному мгновению», краса осеннего Заболоцкого не отменяет «Столбцов», а «Земной простор» — юной свежести «Сестры моей жизни». Поэтому наивны Ваши лестные комплименты, что «Прохожий, я тебя люблю!» — шаг вперед по отношению к «Плачу по двум нерожденным поэмам», «Стыду» или, скажем, к «Не пишется». Каждое о своем.

Не уверен, что сегодня, как Вы пишете, в искусстве существует кризис перепроизводства остроты. Скорее наоборот. Перепроизводство пресности.

Прекрасное — не пресное. Огненная кухня творчества, с острой тем и решений, — не для всякого. Поэзия тут ни при чем, дело в неподготовленности желудка. Если же поэтика слишком остра, есть диетические столовые.

Не верю, что Вы с Вашим вкусом действительно могли воспринять восторженное описание чугунных плашек морозного коровьего навоза как эпатаж или хулиганство. В 1860 году Золя писал старому доброму Сезанну: «...В каждой вещи есть своя поэзия: и в навозе и в цветке», есть она и в плавках и в боге. Ведь отличие фигового листа на античных богах от плавков определяется лишь уровнем развития промышленности. «Цветы земли не знают грязи».

Когда-то Андре Бретон, матерый мэтр сюрреализма, встретил меня на пороге своей антикварной берлоги вопросом: «Что на что похоже — биде на гитару или гитара на биде?» Это было вроде теста, а не эпатажа. Важно именно направление связи — от низшего к высшему или наоборот. Вот что отличает поэта от непозта — высокое отношение к миру.

Ответив, что, конечно, биде похоже на гитару, я получил признание и объятия мэтра. Мы должны возвышать земные предметы сравнением с божественным. Однако потом я скромно спросил мэтра: «Вопрос в том — чья гитара и чье биде? Умывалка прекрасной дамы выше и божественней тысяч гитар». Мэтр был озадачен.

Вообще, зря Вы, следуя моде, обижаете метафору. Метафора не только короткое замыкание между полярными и схожими внешне электродами. Это лишь одно из ее проявлений. Средства выражения не так просты.

«Метафоризм — естественное следствие недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач. При этом несоответствии он вынужден смотреть на вещи по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия. Метафоризм — стенография большой личности, скоропись ее духа» (Б. Пастернак. «Заметки к переводам шекспировских трагедий»).

Вы пишете: «Метафора, в конце концов, не приспособлена для улавливания психологических оттенков. И это как бы упрощает поэзию».

Как открывается заржавевшая дверь,
С трудом, с усилием, — забыв о том, что было,
Она, моя нежданная, теперь
Свое лицо навстречу мне открыла.
И хлынул свет — не свет, но целый сноп
Живых лучей, — не сноп, но целый ворох
Весны и радости, и, вечный мизантроп,
Смешался я...

Это трогательное и точное, отнюдь не упрощенное, психологическое чувство Толстого — Заболоцкого не могло быть выражено иначе. И не метафора ли была излюбленным средством такого мастера психологических оттенков, как С. Есенин?

Как душевно-страшно, недужно и диагностически четко начинается «Черный человек», целиком поэма-метафора:

Друг мой, друг мой,
 Я очень и очень болен.
 Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
 То ли ветер свистит
 Над пустым и безлюдным полем,
 То ль, как рощу в сентябрь,
 Осыпает мозги алкоголь.
 Голова моя машет ушами,
 Как крыльями птица.
 Ей на шее ноги
 Маячить больше невмочь...

Да и Данте, дитя страшного и запутанного времени, шагу не ступал без метафоры. То был век пылких открывателей, назревшего взрыва производства и «пытливых ценителей» с тюремными щипцами. Лоцманская маневренность метафоры — отнюдь не манерность, она повествует не только о психологии персонажей и автора, но и о психологии эпохи.

А это? Я, быть может, не знаю в русской поэзии более пронзительной, праздничной и прощальной высокоточной по частоте и чувству строфы, чем:

Ты так же сбрасываешь платье,
 Как роща сбрасывает листья,
 Когда ты падаешь в объятье
 В халате с шелковой кистью.

(Б. Пастернак)

Увы, все метафоры... И что за дискриминации? Так завтра скажут, что и рифма не психологична. И обоснуют цитатой о том, что рифма — это бочка с динамитом и должна взрываться. Как будто нет рифмы не только взрывной, но и обнимающей, замораживающей, схватывающей явление, как гипс, и т. д.

Метафора — та же рифма, когда рифмуются не звуковые, а зрительные или иные подобные понятия.

Когда серебряный, легкий, как перышко, предсмертный, уже почти бестелесный Семен Кирсанов пел:

Время тянется и тянется,
люди смерти не хотят,
с тихим смехом: «Навсегданыща!» —
никударики летят, —

эти «никударики» воспринимались снобами как игра в слова, «штучки-дрычки». И мне многое кажется чужим, не трогает в его поэтике. Но за этими строками стояло иное — судьба и личность поэта. А его трагический «Ад», последняя вещь поэта, безысходно вписанная в форму ромба? Сколько отчаяния, такой тоски было в этой откосной воронке!

Хохма? Штукарство?

Средство выражения определяет личность.

Жизнь человеческая, пребывание на земле в виде говорящего существа слишком единственны, время отмерено так кратко, что жаль, да и непродуктивно тратить эти секунды на пустяки.

Как хотелось бы, чтобы исчезла предвзятость к восприятию художника, подозрительность к его методу. Так хотелось бы, Адольф Адольфович, чтобы, как Вы считаете, лишь в фантастической игре ума поэта был ужас существования и ложь прикидывалась правдой, а хаос гармонией! А если бы музыка боролась лишь с непочтительными тупицами!

Цинизм умен. Даже в евангельской пустыне искушал вопросами Дух, названный Духом умным и злым. И гетевский Мефистофель всегда более точен, неоспорим, он острее, глубже и Фауста, и Бога, и автора. Да и Манделштам не случайно брал себе в девиз Сальери, а ведь Сальери задуман как зло. Увы, все в одной душе, все в одной, Адольф Адольфович...

Наше время трудноато для пера. И все же каждый поэт, сын гармонии, пытается связать полюса:

Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

Пусть данный эксперимент не удался. Так сказать, «инцидент исперчен». Но не будем тужить и трусить. Авось удастся!

С искренним уважением —

Ваш Андрей Вознесенский.

P.S. Очень уж труден жанр письма через печать. Пишешь адресату — адресуешься тысячам. Подразумевается доля игры. Когда же пишешь стихи, не думаешь о печати.

Но я искренне рад Вашему письму, я давно люблю читать Ваши работы, Ваши пытливые, конструктивно-обстоятельные исследования, поэтому я отвечаю Вам письмом, а не открытой телеграммой, скажем.

Еще мне дорого, что Вы — ленинградец, что Вы из города Пушкина, Блока, Ахматовой, из города, столько испытавшего и выстрадавшего.

На моих недавних вечерах в зале «Октябрьский» я еще и еще раз чувствовал, что классическая культура, совершенство вкуса и ионическая грация ленинградской аудитории полны бурной душевной самоотдачи, проникновенности и порыва в понимании поэзии.

А позднее, в полуночных беседах с друзьями, витало эхо Эйхенбаума и Тынянова.

Очень тоскуется не просто по журналистской критике, а по содружеству поэта с теоретиком, — вспомните бешеную пару гнедых — Квятковского и Сельвинского!

Надеюсь, что письма не единственный способ выяснения истины. Буду рад познакомиться с Вами. Появитесь в Москве — заходите. У Вас, вероятно, есть мой телефон. Поговорим. Душа в душу. О главном.

P.P.S. Бестактно советовать в чужой работе, но все же решусь дать Вам один совет. Прошу Вас, когда цитируете стихи, не выпрямляйте их строк. Строки имеют свое дыхание, интонацию. Это все равно что проволочную скульптуру вытянуть в одну длинную проволоку. Или катком разутьюжить человека. Стихам больно, они живые, у них ломаются суставы. Будьте бережнее. Прошу Вас. *Искренне Ваш А. В.*

С интересом прочитал я выступление тов. Федорова в журнале по поводу моих стихов. Обычно я не вмешиваюсь в критические споры, полагая, что поэт должен писать стихи, но здесь речь идет о принципиальном, о поэтическом методе.

Я, как и тов. Федоров, озабочен сохранением исторической и художественной правды в произведениях, поэтому к замеченным им неточностям добавлю, что создателями Василия Блаженного были Барма и Постник, или постник Барма, согласно новым исследованиям, а не «семь мастеров», что зодчим вообще не выкалывали глаза, что Моцарт никогда не отравлял прогрессивного композитора Сальери, что во времена Петра I не было мотоциклов и башенных кранов, что анчар не ядовит, что Гоген не был рыжим (и зря Сомерсет Моэм окрасил его в рыжину), что рыжим не был и Маяковский, несмотря на его заявления об этом, что Колумб не был евреем, что зайцы не разговаривают по-человечьи, а тем более ямбом, что Гамлет, принц Датский, не убивал Полония...

Но вряд ли все эти авторы так уж не знали фактов, не читали учебников по истории. Вопрос не так прост, как кажется тов. Федорову. В учебнике по литературе говорится, что художественный образ имеет свои законы. Авторы сознательно изменяют некоторые факты, чтобы отразить суть явления, дух его, достичь правды художественной, а стало быть, и исторической. Есть законы фантастической достоверности. Надо не только знать общеизвестные факты, но и уметь читать поэтическое произведение.

И зря, не поняв поэму «Мастера», тов. Федоров пытается опереться на такого крупнейшего авторитета по истории архитектуры, как Н. Н. Воронин, цитируя его труды о храме Василия Блаженного. Ведь именно Н. Н. Воронин в свое время в «Комсомольской правде» по-доброму отозвался о «Мастерах», цитируя именно строки о цветастости храма. Может, и Н. Н. Воронин не знает истории архитектуры?

Нет, истин исследователь, он просто понимает законы искусства. Советую тов. Федорову чаще читать Н. Н. Воронина.

Все примеры автор реплики берет из моих вещей, написанных и опубликованных в 1959 г., исторические факты, приводимые им, общедоступны, и как-то непродуктивно было тратить 12 лет на их поиски.

В № 10 журнала «Дружба народов» печатается моя новая поэма «Авось!», обращенная к истории. Чтобы не утруждать тов. Федорова новыми двенадцатилетними исследованиями, скажу сам, что у Девы Марии вряд ли был роман с русским дипломатом, что унитаз не был изобретен нашими соотечественниками, а наряды 1806 года не назывались «макси». Впрочем, кто знает?

В заключение поражаю тов. Федорова и с сожалением признаюсь, что я не Гойя, а Евтушенко, по проверенным данным, не египетская пирамида.

ЛЮБЛЮ ЛОРКУ

Люблю Лорку. Люблю его имя — легкое, летящее как лодка, как галерка — гудящее, чуткое, как лунная фольга радиолокатора, пахнущее горько и пронзительно, как кожа апельсина...

Лорка!

Он был бродягой, актером, фантазером и живописцем. Де Фалла говорил, что дар музыканта в нем — не менее поэтического.

Я никогда не видел Лорки. Я опоздал родиться. Я встречаюсь с ним ежедневно.

Когда я вижу две начищенные до блеска луны — одну в реке, а другую на небе, мне хочется крикнуть, как лорковскому мальчугану: «Полночь, ударь в тарелки!» Когда мне говорят «Кордова», я уже знаю ее — эти две туманные Кордовы, «Кордову архитектуры и Кордову кувшинок», перемешанные в вечерней воде. Я знаю его сердце, ранимое, прозрачное, «как шелк, колышемое от луча света и легкого звучания колокольчиков». И не знаю вещи, равной по психологической точности его «Неверной жене». Какая чистота, жемчужность чувства! Люблю слушать, как в его балладах

Цыгане и серафимы
Играют на аккордеонах...

Его убили 18 августа 1936 года.

Преступники пытаются объяснить это случайностью. Ах, эти «ошибки»! ...Пушкин — недоразумение? Лермонтов — случайность?!

Поэзия — всегда революция. Революцией были для ханжества неинквизиторских тюрем песни Лорки, который весь — внутренняя свобода, раскованность, темперамент.

Тюльпан на фоне бетонного каземата кажется крамолой, восстанием.

Маркс писал, что поэты нуждаются в большой ласке. О какой ласке может идти речь, когда обнаженное сердце поэта обдирается о колючую проволоку? Когда я думаю о трагическом, гибельном пути поэта, я вспоминаю Элюара, отравленного газом во время Первой мировой войны. Фигура задыхающегося поэта символична. Как тут петь, когда дышать нечем!

Хрипло, гневно звучал голос Лорки:

Это не ад, это улица.
 Это не смерть, это фруктовая лавка.
 Я вижу необозримые миры
 в сломанной лапе котенка,
 раздавленного вашим блестящим авто.

Страстен, метафоричен был Лорка!

Как мерный звон колоколов
 Шаги тяжелые волов...
 С рожденья их душа дряхла,
 Полна презрения к ярмам,
 И вспоминает два крыла,
 Что прежде били по бокам.

Метафора — мотор формы. XX век — век превращений, метаморфоз. Что такое сегодняшняя сосна? Перлон? Плексиглас ракеты? Мой мохнатый силовый джемпер по ночам бредит пихтами. Ему снится хвойное шуршание его мохнатых предков.

Лорка — это ассоциации. В его стихах ночное небо «сияет, как круп кобылицы черной». Ветер срезает голову, высушившуюся из окна, как нож гильотины.

Предметы рождаются, аukaются. Это — как у Пикассо. Хотя бы в его рисунках к Элюару, например. Абрис женского лица переходит в овал голубки. Брови расцветают пальмовой ветвью. А это что? Волосы? Или голубиные крылья?

Мне пришлось видеть и живопись Лорки. В ней, как и в его балладах, сквозит цыгано-испанская грация и изысканность.

В поэзии его живопись бьет через край. Лорка любит локальный цвет. Как пронзителен его зеленый в «Сомнамбулическом романсе».

Люблю тебя в зелень одетой.
И ветер зелен. И листья.
Корабль на зеленом море.
И конь на горе лесистой.
И зелены волосы, тело,
Глаза серебра прохладней...
О дайте, дайте подняться
К зеленой лунной ограде!

Как тонко и точно написан лунный свет зеленым, ну «изумрудкой», скажем!

А в «Убийстве Антоньито эль Камборьо» доминирует красный. Тяжелым золотом налиты «Четыре желтые баллады». Но наиболее страшна и сильна гамма лорковского черного в «Романсе об испанской жандармерии».

Черные кони жандармов
железом подкованы черным.
На черных плащах сияют
чернильные пятна воска.

«Черный, черный», — навязчиво повторяет поэт. «Черный!» В глазах черно от этих жандармов. Цвет становится символом.

Жандармерия черная скачет,
усеяв свой путь кострами,
на которых поэзия гибнет,
стройная и нагая.
Роза из рода Камборьо
стонет, упав у порога,
отрезанные груди
пред ней лежат на подносе.
Другие девушки мчатся,
и плещут их черные косы
в воздухе, где расцветают
выстрелы — черные розы.

Поэзия — прежде всего чудо, чудо чувства, чудо звука и чудо того «чуть-чуть», без которого искусство немислимо. Оно необъяснимо. Люди, лишённые этого внутреннего музыкального слуха, не понимали Лорки. О, эти унылые уши околотитературных евнухов... В стихах есть та особенность, что они, как увеличительное стекло, усиливают чувства слушателя. Если нечего усиливать, поэзия бессильна!

Как прозой объяснить колдовство этих строк:

Пускай узнают сеньоры
о том, что я умер, мама,
пусть с Юга летят на Север
синие телеграммы!

Тоскую по Лорке.

Тоскую по музыке его, пропахшей лимоном и чуть горчащей.

И еще об одной встрече с Лоркой мне хочется рассказать. В Чикаго полтора миллиона поляков.

Случилось, что я читал там свою «Сирень» — балладу о неприкаянной, влюбленной, оставившей родину, отправившейся путешествовать сирени.

Комнатку освещает лунный экран телевизора. Звук выключен. Он вместо лампы, этот лиловатый экран с немymi плавающими тенями.

Свет озаряет женскую фигурку на тахте. Она — полька. Она сидит, поджав ноги. Ее родители эмигрировали перед войной в Аргентину. Она тревожна и смятенна. Освещенная со спины лиловым сиянием, она кажется сама сиренью с поникшими трепетными плечами, лиловыми локонами, серыми туманными зрачками, сама кажется сиренью — потерянной, мерцающей.

Я, сам того не понимая, читаю и про нее, про ее судьбу.

Чем живет она? Что творится у нее на душе? Где соломинка, за которую она хватается в этой пустоте, в этом чужом мире?

Вместо ответа она закидывает голову. Она читает, вернее не читает, а полупоет какие-то стихи. Она преображается. Голосок ее прозрачен — он утренний и радостный какой-то.

«Это — Лорка», — отвечает она на мой недоуменный взгляд.

«Ларк?» — переспрашиваю я, не разобрав. («Ларк» — жаворонок по-английски.)

«Да, да! Ларк! — хохочет она. — Это моя единственная радость. Не знаю, как бы я была без него... Ларк... Лорка...»
...Его убили 18 августа 1936 года.

Уроки Лорки — не только в его песнях и жизни. Гибель его — тоже урок. Убийство искусства продолжается.

Содержание

Автограф вгорого

Надпись на этом томе —	7	Экспромт Вл. Войновичу —	34
Автореквием —	8	Ничего иного —	35
Постскриптум —	10	«Зачитываюсь Махамбетом...» —	36
«Можно и не быть поэтом...» —	11	Летучий «Варяг» —	37
«Все мы Неба узники. Кто-то в нас		Заздравная песня —	38
играет?...» —	12	Пустыня —	39
Тема —	14	Ши-ша —	40
Бульвар Гранси. 1904 —	16	«В миг отлива микроскопично...» —	43
«Нам, продавшим в себе человека...» —	17	«С тобой мы вечность целую лежим...» —	44
Одной женщине —	18	Темакамет —	45
Явления с начинкой —	20	«Озеро всегда над нами...» —	46
Лето олигарха —	22	Повторный ангел —	47
Вторичные люди —	24	Введение в видеодраму —	48
25-й кадр —	26	«Устраивали Ватерлоо...» —	52
«Перед стеклом...» —	30	Песенка Елизаветы —	53
Облака —	32	Двое —	54
Юбилей «Юноны и Авось» —	33	На берегу —	55

Ледяное одиночество — 56
«Пострашнее мышеловок...» — 57
 Тень — 58
 «Я заболел Тобюю...» — 59
В Нью-Йоркском ресторане — 60
 Косово — 61
 Измерение — 62
 Песнь Пенсильванская — 64
«Неужто это будет все забыто...» — 66
«Давай от Краснопресненской...» — 67
 «Над тобой молитву...» — 68
 Демонстрация языка — 69
 Песенка княжны Дуняши — 70
 Анти-анти — 71
 Вдребезги — 72
 Ю. П. Любимову — 73
 Щ — 74
«Тема русских и американов...» — 75
 Каин — 76
 Второй (Видеодрам) — 80

Хроника приключений крестиков и ноликов

 Пролог — 115
 Страсть крестика — 118
 Крестик в Америке — 121
 Доклад — 134
 Полтергейстики — 136
 Родословная крестиков — 142
 Приснись, ресничка — 147
 Крестоноги — 153
 Устричный бал — 156
 Крестик в аду — 166

Орлы и орды

 Мать — 173
 Прощание с микрофоном — 174
 «Поглядишь, как несметно...» — 176

1982 — 177
Римские праздники — 179
Польское — 182
В эмигрантском ресторане — 183
Восемнадцатилетняя — 186
«Если б тебя не было...» — 188
«Ни в паству не гождь, ни в пастухи...» — 189
«Тихо-тихо. Слышно точно...» — 190

Масличная гора — 191
Молитва спринтера — 192
Время поэта — 193
Предсмертная песнь Резанова — 194
«Читаю ль гягомтину обычную...» — 196
Уроки польского — 197
За звуковым порогом — 198
«белый котенок в макушке сосны...» — 199
«Отзовись!..» — 200
Стихи из тайника — 201
«Оправдываться — не обязательно...» — 202
«Всходы страшных семян...» — 203

О — 217

Кентавры

Кредо — 279
Пять капель неба — 280
Баллада о двух — 283
«Помощь явная — тщеславная...» — 285
Мадам де Пробир — 286
Тюльпаны на полюсе — 287
Дозорный перед полем Куликовым — 288
Сентябрь — 290
«Бесконечными дни нам казались...» — 291
Изумрудный юмор — 292

- Я пел хоралы и хиты
- Романс из оперы «Юнона и Авось» — 295
- Магросы — 296
- Кончита — 297
- Свадебная песнь — 297
- Ресторан — 298
- «Ну, что ты стесняешься...» — 299
- Реттайм — 299
- Миллион роз — 300
- «Будто дверью ошибся...» — 301
- Голос — 302
- Песня на «бис» — 303
- «Две школы — женская, мужская...» 304
- Над омутом — 305
- Кузнечик — 306
- «Пасечник нашего лета...» — 307
- Мосточек — 308
- В. Б. — 309
- «Лежат велосипеды...» — 310
- Величальная открытка В. Бокову — 311
- Новые Неновые — 312
- «таша говорю я на...» — 313
- «Зеки шьют кресла Аэрофлоту...» — 314
- Литургия лет — 315
- «Прости меня, Юстина, дайны...» — 317
- Портрет Хуциева — 318
- «Я шел асфальгом. Серый день...» — 319
- «Нельзя в ту же реку стаять дважды...» — 20
- Певец — 321
- Отпевание Яскі — 322
- Яблоки с бритвами — 323
- Прощание с Венецией — 324
- За речкой Птичь — 325
- Русский новейшина — 326
- «Опять, Ираклий Луарсабович...» — 327
- «Люб мне Маяковский — Командор...» — 328
- Классицисту — 329
- Бриллиантовая легенда — 330
- Чары Чаплина — 332
- «Тенистый парк. Твои плеча...» — 333

- «С ясеней, вне спасенья...» — 334
«Льнешь ли лживой зверью...» — 335
«Я так считаю. А кто не смыслит...» — 336
Поэтарх (Поэма) — 337

Структура гармонии

- Благовещизм поэта — 347
Минута немолчания — 365
Из стенограммы выступления
на VIII съезде — 371
Три бабочки и небесный муравей — 375
Летучий муравей поэзии — 377
Геометридка, или Нимфа Набокова — 389
Ответ критику Адольфу Урбану — 396
Реплика на реплику — 404
Люблю Лорку — 406

Андрей Андреевич Вознесенский

ПЯТЬ С ПЛЮСОМ

Собрание сочинений. Том пятый +

Редактор Е.В. Толкачева
Художественный редактор Т.Н. Костерина
Технолог С.С. Басипова
Оператор компьютерной верстки Е.В. Абрамова
Компьютерная верстка обложки
и блока иллюстраций В.М. Драновский
Корректоры Н.В. Семенова, С.В. Цыганова

Подписано в печать 07.02.2003. Формат 60 × 84/16.
Тираж 5000 экз. Заказ № 2955.

Издательство «Вагриус»

129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1

E-mail — vagrius@vagrius.com

Информация об издательстве в сети Интернет:

<http://www.vagrius.ru>

**Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственном ордена Октябрьской
Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском
предприятии «Первая Образцовая типография» Министерства
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций.
115054, Москва, Валовая, 28.**

ISBN 5-264-00859-0



9 785264 008597 >

